КУЛЬТУРА И НАУКА



Макиавелли



Никколо КАППОНИ

ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНЫ




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Макиавелли уже давно считают личностью, преодолевшей время и пространство: первым политологом, первым философом Нового времени и так далее. Согласно этим же критериям он вполне мог завоевать и титул первого современного драматурга, став первым, кто на личном примере доказал отличие теории от практики и кто первым одурачил не одно поколение толкователей. В поисках «истинного» Макиавелли многие авторы пытались разобраться в его личности и его трудах, и в результате совершенно запутались, выдавая его то за империалиста, то за атеиста, неоязычника или убежденного христианина, то за свободолюбивого республиканца, то за наставника деспотов, гения военного искусства, кабинетного стратега, реалиста, идеалиста и тайного основателя современной политологии. Он и в самом деле был личностью неоднозначной, но прославился в первую очередь «Государем» — сочинением, написанным с определенной целью: снискать расположение Медичи, правителей Флоренции. Ведь необходимо помнить, что Макиавелли был истинным флорентийцем: любил прекословить, провоцировать, выделяться, прибегая к искрометному юмору. А противоречия? Делайте выводы сами!

- Никколо Каппони
  -
  - Предисловие
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Эпилог
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98





Никколо Каппони Макиавелли

Замечания о терминах

Для ясности: на протяжении всей книги я использовал термины «республика» и «республиканский» для обозначения конституционного строя Флоренции и его последующих форм, возникавших после 1494 года. Однако формально Флоренция стала республикой еще раньше и оставалась таковой до 1737 года, даже когда неизменными потомственными правителями города (с 1532 года) стали Медичи.

О времяисчислении

В XVI веке итальянцы пользовались системой времяисчисления, основанной не на обращении Земли, а на продолжительности светового дня. Например, два часа утра означает второй час после заката. Кроме того, на различные даты выпадало в те времена и начало нового года. Календарный год в Италии чаще всего начинался 25 декабря (от Рождества Христова) или 25 марта (от Благовещения Господня), и до 1750 года во Флоренции пользовались второй разновидностью календаря. Для удобства я привел даты в соответствие с современным календарным годом, начинающимся с 1 января.

О денежных единицах и ценах

Общепринятой денежной единицей Флоренции являлся флорин (fiorino) и другие более мелкие монеты, известные еще со времен Карла Великого: лира, сольдо и динар (1 лира = 20 сольдо; 1 сольдо = 12 динаров). В эпоху Макиавелли обычный «большой флорин» (fiorino largo) равнялся 6 или 7 лирам, а примерно с 1515 года стоимость флорина окончательно зафиксировалась на 7 лирах. Венецианский дукат, игравший в те времена роль международного валютного стандарта, примерно равнялся «большому флорину». Кроме этого существовал еще золотой флорин (fiorino largo d'oro), который в 1520 году

составлял 7 1/2 лиры и, подобно лире и «запечатанному флорину» (fiorino di suggello), также использовался в качестве денежной единицы. «Запечатанный флорин» составлял 4 лиры, а в письме 1505 года Тотто Макиавелли упоминает о 3 «запечатанных флоринах», равнявшихся 2 золотым дукатам.

В среднем тогдашний чернорабочий зарабатывал около 9 сольдо в день, а квалифицированный работник получал вдвое больше. Год составлял примерно 260 рабочих дней, и многочисленные выходные (не считая воскресений) постоянно сбивали трудовой ритм. Прожиточный минимум менялся в зависимости от наличия определенных товаров. Например, в голодные годы цены на продовольствие подскакивали, а в урожайные — падали. Но до 1525 года, когда появились первые признаки стабильной инфляции, взрослый человек тратил на еду около 1,5–2 сольдо в день, а годовые расходы на товары первой необходимости достигали 65 лир на человека.

Конечно, были и те, кто тратил гораздо больше, и однажды Макиавелли признался, что спустил 14 сольдо на ужин с телятиной на четверых в доме одного из друзей. Никколо и вправду был весьма склонен жить не по средствам. Многих людей непомерные траты подстерегали на каждом шагу и могли даже разорить, особенно вследствие длительной болезни. Друг и коллега Макиавелли, Бьяджо Буонаккорси, рассказывал, что на врачебный уход за захворавшей женой (незадолго до ее кончины) он отдавал в день почти целый флорин. Разорительным для кошелька было и выдать дочь замуж, равно как и постричь ее в монахини. Даже бедные монастыри просили солидные денежные взносы, и в таких случаях сумма нередко достигала 100 лир. Возможно, поэт XIII века Чекко Анджольери был прав, назвав флорины «лучшими в своем роде».

Предисловие

Всякий прибывший во Флоренцию на поезде, вероятно, решит не брать такси, а насладиться пешей прогулкой. Пройтись по Виа Панцани мимо готического доминиканского монастыря Санта-Мария Новелла, затем по Виа Черретани до кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Если же наш воображаемый гость решит затем свернуть на север, то наткнется на старый дворец Медичи на Виа Ларга (ныне Виа Кавор) и, вероятно, даже заглянет туда, чтобы полюбоваться величием некогда могущественного рода, запечатленного на фресках Беноццо Гаццоли.

Но гости обычно идут дальше по многолюдной Виа Кальцайоли, сплошь погруженной в XIX век, когда большую часть исторического центра Флоренции заполонили «церквушки пьемонтских пастухов», в сравнении с которыми варвары былых времен обладали куда более изящным и благородным художественным и историческим вкусом. Даже площадь Синьории, расположенная в конце вышеупомянутой улицы, не избежала подобного обывательского отношения: здешняя громада, подражающая архитектурным сооружениям XV века, затмевает прекрасные памятники Средневековья и Возрождения.

Еще хуже дело обстоит на Виа Пор Санта-Мария, где разрушительные последствия Второй мировой войны усугубились послевоенной реконструкцией. Лишь несколько древних башен все еще напоминают об атмосфере ушедших эпох. Мост Понте Веккьо в конце улицы сохранился «благодаря» солдатам вермахта, которые — в соответствии с безупречным, хотя и извращенным планом — заблокировали переправу, взорвав не мост, а дома на берегах реки. И все же, какой бы трагедией ни казалось уничтожение Понте, его можно было восстановить, равно как и другие мосты через Арно, хотя ради его спасения навсегда были утрачены стократ более драгоценные архитектурные жемчужины. «Флоренция прихорошилась с изяществом дамы, которую за чаепитием застигла бомба», — писала поэтесса Кристина Кампо. Но женское бесстрастие не в силах скрыть шрамы, оставленные шрапнелью.

На противоположном берегу, уже на Виа Гвиччардини, пройдем мимо бывшего монастыря Санта-Феличита, где хранится один из величайших шедевров всех времен: «Снятие с креста» кисти художника Якопо Пантормо. Полотно во многом сохранило первозданный вид, несмотря на толпы зевак, выгружающиеся из людских аквариумов на колесах. Через несколько метров мы

увидим мемориальную доску, которая редко удостаивается внимания прохожих и на которой высечено, что в этом доме некогда жил один из провозвестников объединенной Италии, первый, кто теоретически обосновал необходимость воинской повинности во имя свободы государства. Неудивительно, что на доске указан 1869 год, когда во всем западном мире вошло в моду определенное отношение к этому человеку. Можно спорить, разделял ли он столь сентиментальную риторику, но наверняка ни за что бы не узнал этих стен, потому что его настоящий дом, равно как и большинство других зданий на Виа Гвиччардини, стерли с лица земли немецкие снаряды 4 августа 1944 года.

Как и сама Флоренция, некогда живший здесь Никколо Макиавелли был уничтожен, восстановлен, подправлен и отретуширован, немало претерпев от разрушительной силы времени и человеческой небрежности. И даже прах его, словно вторя судьбе родного города, обратился в нечто едва узнаваемое.

В своей книге «Военная революция: военные новшества и величие Запада» известный историк Джеффри Паркер ссылается на инженера, написавшего в 1722 году трактат, в котором тот раскритиковал около 118 оборонительных сооружений, предложенных семьюдесятью авторами, представив собственный вариант (119-й по счету). По-видимому, схожая судьба постигла и Макиавелли. Любой автор, берущийся за его жизнеописание, вынужден дать письменную интерпретацию его жизни и творчества, и за несколько веков Никколо стал объектом самых неоднозначных толкований. С самого начала Макиавелли превратился в излюбленную мишень критиков, которые считают его личностью, преодолевшей время и пространство: первым политологом, первым философом Нового времени и так далее. Согласно этим же критериям он вполне мог завоевать и титул первого современного драматурга, став первым, кто на личном примере доказал отличие теории от практики и кто первым одурачил не одно поколение толкователей.

В поисках «истинного» Макиавелли многие авторы пытались разобраться в его личности и его трудах, и в результате Никколо превратился в нечто совершенно аморфное: империалиста, протолибертарианца, атеиста, неоязычника, убежденного христианина, свободолюбивого республиканца, наставника деспотов, гения военного искусства, кабинетного стратега, реалиста, идеалиста и тайного основателя современной политологии. Поэтому довольно забавно было обнаружить, что многие современники Макиавелли не усматривали в его идеях никакой практической пользы, а его самого считали сумасбродом и фантазером. Называя Никколо избитым и довольно нелепым

эпитетом «современный», люди демонстрируют не только пренебрежение ко всякой хронологической точности, но и определенную бестактность, чего отнюдь не скажешь о его современниках.

Никколо и в самом деле был личностью неоднозначной, и попытки дать ему четкую характеристику напоминают поедание хот-дога: кусаешь с одной стороны, а начинка вылезает с другой. Более того, любому, кто попытается отыскать хоть подобие связности в его мыслях и поступках, придется учесть, что взгляды Макиавелли, как и у многих из нас, со временем менялись или подстраивались под обстоятельства. Кроме того, необходимо помнить, что Никколо обладал всеми чертами типичного флорентийца того (и даже нынешнего) времени: любил прекословить, провоцировать, выделяться (bella figura), прибегая к искрометному юмору.

Конечно, он обладал всеми перечисленными качествами в превосходной степени, и эта его чудаковатость не раз доставляла Никколо массу хлопот. К примеру, лишь в старости, пережив множество неприятностей, Макиавелли понял, что значит вести себя «корректно». При этом усматривается некая ирония в том, что среди широкой публики Никколо прославился именно «Государем» — сочинением, написанным в определенное время и с определенной целью: снискать расположение Медичи, правителей Флоренции. Более того, негативные отзывы заставили бы Макиавелли прибегнуть к любым отговоркам, лишь бы скрыть свои истинные намерения.

По этой причине я питаю определенную слабость к Никколо и восхищаюсь не столько глубиной его мысли, сколько личными качествами. К тому же мне близко его чувство юмора, каким бы шокирующим оно ни казалось тем, кто с рождения не прожил во Флоренции. Этот город и вправду стал одним из персонажей моей книги, и не столько его искусство и культура, сколько особый дух и восприятие мира, которые пронизывали — и пронизывают до сих пор — это место, понять и оценить которое способны лишь немногие. В жизни я не только встречал множество Макиавелли, Франческо Гвиччардини, Франческо Веттори и других персонажей этой книги, но и не раз видел примеры гражданского поведения — или скорее наоборот — подобного тому, которое описывали Никколо и его современники.

Эта книга писалась в уединении, проникнутом духом самого Макиавелли, и старина Ник с дьявольской ухмылкой[1] заглядывал в мою рукопись. Размышляя в одиночестве над документами, которые когда-то написал или надиктовал Никколо, я стал понимать его образ мыслей (насколько возможно,

конечно, с учетом вышесказанного). Что же касается вторичных источников, я не только испытал удовольствие, но и немало почерпнул, ознакомившись с большей частью той необъятной литературы, которая посвящена Никколо, хотя некоторые работы, при всей убедительности, оказались для меня во многом бесполезны. Но, по сути, их подход предполагает, что любой исторический документ, пусть и анонимный, независимо от его важности, обычно низводится до краткого примечания, тогда как некая неопубликованная записка без даты, содержащая salute e bad («приветствия и поцелуи»), но написанная рукой Макиавелли, неизменно снабжается целой научной статьей.

И это не всегда плохо, особенно если учесть, что множество документов было утрачено еще при жизни Никколо. Время от времени исследователи наталкиваются на неизвестные ранее свидетельства, которые позволяют лучше понимать значение событий, мыслей и записей, связанных с Макиавелли. Иногда жажда новых открытий приводит к фиаско. Несколько лет назад один авторитетный ученый опубликовал книгу, в которой на основании скрупулезных архивных исследований утверждал, что в конце 1480-х годов, а также в лучшие годы последующего десятилетия Никколо Макиавелли занимался банковским делом в Риме. Книга удостоилась нескольких одобрительных отзывов, но затем другой авторитетный ученый, наделенный к тому же критическим умом и характерным флорентийским озорством, написал статью, в которой доказал, что упомянутый Макиавелли не тот самый знаменитый Никколо, а всего лишь его кузен и тезка.

Хотя я и предпочитаю в работе полагаться только на самого себя, тем не менее есть несколько человек, которых я хотел бы поблагодарить за помощь. Профессор Уильям Коннелл оказался для меня весьма приятным и полезным собеседником; профессор Хамфри Баттерс первым предупредил меня о ловушках, в которые я непременно угодил бы на своем пути; доктор Брук Эттл постоянно напоминал мне смотреть на лес, а не на деревья; покойный и незабвенный профессор Джоаккино Гаргалло ди Кастель Лентини проявлял воистину безудержную страсть к истории; доктор Мэри Дэвидсон всегда была для меня неисчерпаемым источником знаний; Роберт Пиджен из Da Capo Press отнесся ко мне с терпением и пониманием; Рене Капуто, также из Da Capo Press, явил чудеса выдержки, достойные библейского Иова, столкнувшись с моей привычкой вносить множество правок в самый последний момент; доктор Марко Манетти, как никто иной, помог мне понять Макиавелли. Граф Пьеро Гвиччардини любезно позволил мне ознакомиться с

бумагами его предка Франческо. Неизменную помощь оказывали работники Государственного архива Флоренции, библиотеки Риккардиана и библиотеки Национального центра Флоренции.

Огромную благодарность хочу выразить моей семье, дочерям Франческе и Людовике, и особенно моей жене Марии за ее любовь и познания в истории Италии XV века. И наконец, я хотел бы вспомнить моего прапрапра… дедушку Никколо Макиавелли и поблагодарить его не только за незримое присутствие, но и за то, что благодаря ему (не стану вдаваться в подробности) моя семья получила право отправлять мессу, когда и как того пожелает. Уверен, от самой этой мысли старина Ник, где бы он ни обитал, катается по полу от смеха.

Флоренция, 28 марта 2010 года.

Вечером 10 декабря 1513 года некто шел по дороге, ведущей к небольшому загородному дому в Сант-Андреа в Перкуссине, что в шести милях от Флоренции. Громко шумели в таверне неподалеку, где прежде бывший секретарь Флорентийской республики Никколо Макиавелли часами просиживал, играя с местными жителями в карты и нарды. Он захаживал в таверну почти каждый день с прошлой весны, когда добровольно покинул Флоренцию и обосновался в политически куда более спокойном селении Сант-Андреа. Играть в карты с селянами было весело, к тому же это занятие помогало ему забыть печали, даже когда игра (что бывало нередко) заканчивалась горячими спорами по пустякам, когда крики спорщиков, как рассказывают, долетали до самого Сан-Кашано, что в трех милях оттуда.

Подходя к дому, Макиавелли обвел взором проступивший в тусклых лучах заката далекий силуэт огромного купола флорентийского собора — одного из архитектурных шедевров всех времен. Немногим более года назад Никколо, будучи одним из влиятельных политиков Флоренции, искусно и находчиво решал важнейшие задачи, стоявшие перед республикой. Возвращение Медичи положило конец его карьере, и богиня Фортуна от него отвернулась. Некогда высокопоставленный Макиавелли сначала лишился должности и попал под подозрение новых властей из-за связи с предыдущим правителем, а затем впутался в заговор против Медичи, был арестован и подвергнут пыткам.

Никколо еще не забыл пережитое на дыбе (strappado) и потому не решался возвращаться во Флоренцию, пока все не уляжется. Однажды он вернется и непременно отыщет бывших коллег по республиканскому правительству, хотя это и опасно, поскольку правящее семейство всегда усматривало за подобными

встречами заговор против себя. К счастью и вопреки вынужденному изгнанию, Макиавелли все же научился следить за происходящим во Флоренции, узнавая новости от курьеров и путешественников, ежедневно проезжавших через Сант-Андреа по дороге на юг. В подходящий момент он вернется во Флоренцию, но прежде завершит одно дело, которое, как он надеялся, поможет ему завоевать благосклонность Медичи.

Никколо вошел в дом и направился в свои покои. Одежда его запылилась и перепачкалась: весь день он гулял по полям и сидел в таверне на засаленных скамьях. В таких одеждах не пристало встречаться с теми, кто ежевечерне принимал его, как подобает принимать человека его положения и ума. Аккуратно облачившись в судейскую мантию, Никколо уселся за письменный стол. Ему не было одиноко, ибо в здесь, в этой же комнате, он постоянно ощущал присутствие великих мужей Античности. Никколо часто представлял себе, как беседует с ними, внимая их учтивым ответам на его многочисленные вопросы. Они неизменно подпитывали вдохновение Никколо, пока он сочинял трактат, который собирался посвятить брату папы римского Льва X, Джулиано де Медичи. Окинув взглядом разбросанные по столу записи, он взялся за перо. Древние обладали несравненной мудростью, но и современными авторами не стоило пренебрегать. Что ж, великий дядюшка этого церковника наверняка знал, как устроено государство, жаль вот только, что его родственник доставлял людям так много хлопот. Письма, которыми Никколо годами обменивался со своим другом Франческо Веттори, можно было сократить и вставить в сочинение, и он изо всех сил надеялся, что ему удастся использовать близкое знакомство Веттори с Медичи. Что же до личного опыта, то он мог послужить заветным кладезем в работе над книгой, которая укажет избранному читателю на то, сколь неразумно было пренебрегать столь ценным человеком, коим является ее автор.

Обмакнув перо в чернильницу, Никколо принялся заполнять чистый лист словами. Теперь ему потребуется всего шесть недель, чтобы закончить рукопись «Государя», а затем представить ее новым правителям Флоренции.

Глава 1
ЗАВИСТЛИВЫЙ, НАДМЕННЫЙ, ЖАДНЫЙ

Слепыми их прозвали изначала;
Завистливый, надменный, жадный люд…

Данте Алигьери о флорентийцах

Никколо Макиавелли появился на свет 3 мая 1469 года, став наследником прославленной, хотя и отнюдь не влиятельной семьи и первенцем сера[2] Бернардо и донны Бартоломеа де Нелли. Макиавелли, чей род, как говорили, восходил к правителям Монтеспертоли, именовался в честь некоего предка Киовелло, что значит «гвоздь», хотя в начале XIV века они также звались Анджолини. На гербе Анджолини, равно как и на гербе исконных Макиавелли, был изображен простой синий крест на белом фоне; позднее к кресту добавились четыре гвоздя — mali clavelli, то есть «гибельные гвозди» страстей Христовых.

Семья Макиавелли с незапамятных времен была связана с руководством Флоренции и подарила городу нескольких выдающихся политиков. Бонинсенья Анджолини будут помнить благодаря романисту Франко Саккетти не только как «мудрого и знаменитого горожанина», но и из-за забавного случая, не раз упомянутого Саккетти. Писатель повествует о том, как во время одного из публичных выступлений Бонинсенья то и дело мерещились на стене разные комические фигуры; и далее Саккетти напоминает читателю о том, как важно сохранять сосредоточенность. И вправду были занятия, которым флорентийцы предавались со всей страстью.

Первейшим из них было превозношение себя и своего семейства в глазах других. Абсолютно все, будь то стяжательство, женитьба или меценатство, служило подъему авторитета, собственного либо семейного.

Главный изъян рода Макиавелли, несмотря на его выдающихся представителей, заключался в его малочисленности. Хуже того, к XV веку род оттеснили на периферию флорентийской политики. Связь между властью и крупными семействами была для всех очевидна, поскольку брак означал союз и, следовательно, увеличивал вероятность того, что удастся

стабильно извлекать выгоду из занимаемых постов. Во Флоренции многочисленные родственные связи могли стать преимуществом, потому что позволяли создать обширную сеть влияния, однако не менее важную роль играли и другие факторы. Семейные кланы, соседствующие с Макиавелли, такие как Гвиччардини, Ридольфи, Питти, тоже не отличались многочисленностью, что, однако, возмещалось их политическим могуществом. Зажиточность, умение налаживать личные связи и вовремя перебегать на нужную сторону не только почитались, но и служили залогом высокого положения в обществе, в отличие от жизни в изгнании, а иногда и безвременной кончины.

К сожалению, большинство выходцев из рода Макиавелли не имели ни богатства, ни достаточной власти, чтобы породниться с какой-либо аристократической семьей. Характерным примером была и матушка нашего Никколо. Семейство Нелли до самого исчезновения хвастало несколькими priori delle arti (приорами, или членами Синьории[3]). Более того, подобно всем флорентийским семействам скромного достатка, Макиавелли веками неизменно страдали от превратностей политического климата в городе. Джироламо Макиавелли впоследствии прославится, став героем Флорентийской республики: в 1494 году он помешал Козимо де Медичи злоупотребить властью, за что был изгнан и позже безвременно скончался (причем запомнился он даже лучше, чем Джиандоне, которого в середине XIV века за подкуп нотариуса выслали как обыкновенного преступника, заочно приговорив к смертной казни). Другая и более состоятельная ветвь рода, по-видимому, тяготела к клану Медичи, и в результате добилась более высокого положения в обществе и политического влияния. И хотя одному из Макиавелли впоследствии суждено было оказаться в числе тех, кто в 1532 году окончательно уничтожит Флорентийскую республику, все остальные представители рода будут противостоять Медичи и страдать от последствий своих поступков. Личные предпочтения определенным образом влияли на выбор политических союзников, но и сами союзники следовали правилу, общему для всех флорентийских кланов: никогда не собирать всех родственников под одни знамена. В мире, где выживание зависело не только от биологических факторов, каждый флорентиец считал крайне важным сохранить уверенность в том, что кто-то из семьи мог объединиться с вероятным победителем.

Недостаток политической прозорливости в худшем случае приводил к гибели, заточению, ссылке и разорению, а в лучшем — безвестности и лишению «славы и выгоды» (honore et utile),

которыми всякий уважающий себя флорентиец восхищался и которых жаждал. Больше всего люди желали, если не сказать вожделели, славы. «Жизнь без славы подобна смерти», — писал Пьеро ди Джованни Каппони своему покровителю Лоренцо де Медичи. Люди так стремились попасть на государственную службу, что иногда без колебаний преступали границы патроната. Так, Пьеро Веспуччи напомнит величественной Лукреции Торнабуони, что, позволив невестке, знаменитой Симонетте Каттанео, вступить в отношения с ее сыном Джулиано де Медичи, взамен он ничего не получил. То, что Пьеро писал ей из тюрьмы, куда был брошен по подозрению в причастности к заговору Пацци (закончившиеся смертью Джулиано), свидетельствует об опасностях, которые угрожали патронам, не выполнявшим своих обещаний. Сам Никколо Макиавелли подчеркнет всеобщую любовь флорентийцев к государственной службе, вложив в уста мессера[4] Нича — одного из персонажей своей пьесы «Мандрагора» (La Mandragola) — следующие слова: «В этом городе мы презираем всякого, кто не рад государственному назначению».

Приписав подобную фразу глупому и надменному доктору права, Никколо намекал на своих знакомых. Его отец некогда был законоведом, хоть и не слишком преуспевающим, и пусть мы не вправе считать сера Бернардо прообразом мессера Нича, в характерах обоих все же присутствует некоторое сходство. Судя по дневнику (libro di ricordi), отец Макиавелли представляется человеком твердым, несколько приземленным и скуповатым, тревожившимся о финансах ничуть не менее, чем о чести и достоинстве. Что касается последнего, то известен один анекдотичный случай, причем с изрядной долей непотребства, которое обнаруживается в последующих пьесах его сына. Однажды мессер Бернардо рассердился, узнав, что его служанка понесла от одного из кузенов, который вступил с ней в порочную связь, проникнув в его дом через узкое чердачное окошко.

Но больше всего отца Никколо злило то, что зачавшая девушка была родом не из Муджелло, чьи уроженки высокой репутацией не отличались, а оказалась под его опекой по воле родителей, бедных, но благородных жителей Пистойи.[5] Впоследствии виновник происшествия все уладил, подыскав своей пассии славного жениха и снабдив ее приличествующим случаю приданым, но за столь продолжительное прелюбодеяние Бернардо утратил к нему всякое уважение. Можно предположить, что после этого эпизода отец Никколо стал посмешищем в глазах соседей, ведь, как гласит флорентийская поговорка, «лучше пропахнуть дерьмом, чем остаться в дураках» (E meglio puzzar di

merda che di bischero).

Нередко бедность подменяет легковерие, как сказано в приведенной выше поговорке, и сильнее всего скромность (хоть и относительную) отцовского бюджета ощутит на себе Никколо. «Я родился бедным и познал тяготы нужды прежде, чем радость жизни», — напишет он позже, во времена опалы, своему другу Франческо Веттори. Конечно, как говорят во Флоренции, «нищета и святость: подели поровну и снова подели» (Miseria e santita: meta della meta), и пусть мессер Бернардо в золоте не купался, но все же жил богаче, чем могло показаться со слов сына. Из налоговых ведомостей на имущество (Catasto) за 1427 год известно, что Никколо ди Буонинсенья, отец сера Бернардо, владел поместьем стоимостью 1086 флоринов и налогооблагаемым капиталом в размере 463 флорина и потому считался одним из двухсот богатейших горожан своего района.

Сам Бернардо задекларировал в 1498 году апартаменты во Флоренции и несколько загородных домов с прилегающими земельными участками (poderi), которые приносили ежегодный доход в размере 110 больших флоринов (florini larghi). И все же было бы неверно считать, что кроме указанной собственности данная ветвь Макиавелли больше ничем не владела. В городе, где правительство нередко компенсировало дефицит ликвидности с помощью принудительных займов, уклонение от уплаты налогов было обычным делом. В пьесе «Мандрагора» вышеупомянутый мессер Нича по-разному говорит о своем достатке, ссылаясь на то, что, прознай люди про его истинные доходы, ему бы тут же предъявили громадный счет.

Позже наш Никколо будет жаловаться, что после вычета налогов загородная собственность отца приносит всего 50 флоринов, что сопоставимо с годовым заработком квалифицированного рабочего. Тем не менее не следует принимать эти цифры за номинальную стоимость имущества, поскольку от обычных флорентийцев Макиавелли бескорыстием не отличался и в те времена нередко пытался добиться возмещения налогов. Конечно, мессер Бернардо мог почувствовать себя нищим, сравнив свой достаток с состоянием в 20 тысяч флоринов, накопленных его соседом Пьеро Гвиччардини, в чем, однако, виноват лишь он сам, указав в предыдущей ведомости, что «доходного имущества не имеет».

Однако отец Никколо пусть и не нажил большого состояния, но среди людей своего круга прослыл уважаемым законоведом. В 1480 году канцлер флорентийского государства Бартоломео Скала написал диалог о сущности права, главным персонажем которого сделал сера Бернардо. В тексте этого сочинения есть его

весьма любопытный портрет: он изображен платоником, одаренным феноменально памятью и глубокими познаниями в римском праве. Затем Скала представляет своего собеседника человеком консервативных взглядов, убежденным в цельности и непреложности закона, тогда как сам канцлер ратует за то, что юриспруденция меняется в зависимости от времени, места и обстоятельств. В конце концов, несмотря на множество цитат из классических авторов, отец Никколо выходит из ученого диспута побежденным, но нам уже ясно, от кого сын унаследовал страстную любовь к мудрости древних.

Если учесть, что старший Макиавелли был умен и водил дружбу с некоторыми влиятельными фигурами из правительства, остается лишь гадать, почему он ни разу не попытался сделать карьеру политика или хотя бы занять какую-нибудь прибыльную должность. Столь же озадаченные современники сера Бернардо не могли найти разумного объяснения (кроме якобы внебрачного происхождения) тому, что Макиавелли никак не удавалось усидеть ни на одном государственном посту — в те времена бастарды лишались флорентийского гражданства. Это утверждение давным-давно опровергнуто, но причины, по которым мессер Бернардо отошел от политики, так и остаются загадкой. Несмотря на то что постоянные долги и обязательства перед кредиторами не мешали ему занимать различные посты, со временем он стал получать достаточный доход, чтобы избавиться и от этих затруднений. Кроме того, стоило серу Бернардо только пожелать, как все его проблемы были бы с легкостью решены, поскольку Медичи склонили на свою сторону немало людей, погасив их долги и налоговые обязательства.

Не имея противоположных свидетельств, можно предположить, что отец Никколо не интересовался политикой, и, вероятно, беспрекословное подчинение букве закона не позволяло ему пользоваться своими знакомствами. Более того, судя по его дневникам, старший Макиавелли почти не интересовался происходящим вокруг, если оно не касалось его лично. Мы находим упоминание о войне 1478–1479 годов лишь в связи с тем, что он согласился пустить к себе в дом во Флоренции родственницу одного из постояльцев: тот боялся, что женщина попадет в лапы враждебно настроенным солдатам, которые в то время проходили через Сант-Андреа в Перкуссине. Мессер Бернардо, верный своей скаредной натуре, настоял на том, чтобы гостья оплатила питание, а за предоставленный ей ночлег помогла по хозяйству.

Законовед прекрасно понимал, какое место занимает в обществе, и никогда не уступал людям более низкого ранга.

Однажды при покупке баранины его обсчитал мясник, и тогда отец Никколо неотступно преследовал его, пока не получил причитавшееся. Как и случай с забеременевшей служанкой, этот эпизод не лишен комизма, хотя у старшего Макиавелли он неизменно вызывал чувство досады, о чем тот писал в дневнике. Можно представить, с каким негодованием он часами простаивал подле мясной лавки, подкарауливая должника, и, чтобы убить время, даже заглянул к ближайшему брадобрею. Когда же мясника удалось выловить, спорщики сошлись в словесном поединке, причем роль импровизированного судьи досталась неграмотному крестьянину, которому в итоге было отказано в праве закупаться в мясной лавке, поскольку он принял сторону сера Бернардо. В конце концов, чтобы вернуть деньги, законоведу пришлось призвать на помощь (за умеренную плату) третейского судью, а когда дело дошло до наличности, старший Макиавелли явил хватку бойцовского пса.

Справедливости ради следует сказать, что мессер Бернардо понес громадные, но неизбежные расходы: собирал приданое дочерям и оплачивал обучение сыновей. Несмотря на скромные доходы, он позаботится о том, чтобы, по крайней мере, его старший отпрыск получил подобающее образование. В своем дневнике он редко упоминал о детях, но в 1476 году записал, что Никколо — которому тогда было семь лет — изучал основы латинской грамматики, сперва под наставничеством некоего «маэстро Маттео», а затем, в том же году, под началом «сера Баттисты ди Филиппо да Поппи». Оба наставника происходили из духовенства. В следующей записи, датированной 1479 годом, сказано, что старший сын изучает счет, а в 1481 году мессер Бернардо пишет, что второй его сын, Тотто, пошел в школу, а Никколо уже переводит с латыни под присмотром сера Паоло Сассо да Ронсильоне.

Все это было сопряжено с немалыми затратами. В частности, учителю математики мессер Бернардо платил 1 большой флорин, то есть чуть менее одного процента от годового дохода. Однако, судя по тому, что позднее Никколо расскажет историку Паоло Джовио, он совершенствовал свои знания латинского во время обучения во флорентийской канцелярии под началом Марчелло Виргилио Адриани, преемника Бартоломо Скалы на посту канцлера Флоренции. Образование сыновей Макиавелли соответствовало обычной практике. Как подчеркивал в своих диалогах «О семье» (I libri della famiglia) гуманист Леон Баттиста Альберти, прежде всего, следует изучать Цицерона, Тита Ливия и Гая Саллюстия Криспа и не ради познаний в римской истории, но «дабы вместе с благородством проникнуться безупречной

красноречивостью латыни».

Выходцы из небогатой семьи, Никколо и Тотто учились вместе с другими детьми, так как частные преподаватели были отцу не по карману. Их сестры, Примавера и Маргарита, видимо, не получили столь же достойного образования, хотя из этого отнюдь не следует, что мессер Бернардо был женоненавистником. В богатых семействах мальчики и девочки обучались наравне. Однако главная трудность состояла в том, чтобы найти благовоспитанного преподавателя. Один гуманист сетовал на то, что многие наставники были людьми жестокими и склонными к содомии, и указывал на то, как важно самим родителям стать первыми и главными учителями своим чадам.

Большую часть знаний Никколо почерпнул из домашней библиотеки, ведь его отец был заядлым книгочеем. Он мог похвастаться изданиями Тита Ливия и Амвросия Феодосия Макробия[6] и, возможно, другими трактатами, как литературными, так и юридическими. К тому же старший Макиавелли заимствовал у друзей труды Аристотеля, Плиния Младшего, Птолемея, Марка Юстина, Флавио Бьондо,[7] не говоря уже о Библии. Его старший сын унаследует отцовскую тягу к знаниям, и еще в молодости Никколо однажды перепишет от руки поэму Лукреция Кара «О природе вещей» (De Rerum Natura). Поистине Макиавелли всегда считал себя, прежде всего, писателем и лишь затем политическим мыслителем. В зрелые годы он объяснял своему сыну Гвидо, как важно изучать музыку и гуманитарные дисциплины, «которым я обязан всем своим скромным благородством». Еще раньше, в сонете, посвященном Джулиано де Медичи и написанном в тюрьме, Никколо называл себя поэтом, а в 1517 году сетовал Луиджи Аламанни на то, что знаменитый рифмоплет Лудовико Ариосто не указал его имени среди поэтов, упомянутых в «Неистовом Орландо» (OrlandoFurioso), «отбросив меня, словно я какой-нибудь болван».

Но несмотря на то, что образованием Никколо был обязан отцу, он презирал его скупость настолько, что в одном из сонетов (написанном еще до 1500 года) осудил сера Бернардо, сказав, что тот покупает «гусей и уток, но не ест», тогда как сын его изнемогает от голода. Кроме того, сумма, потраченная отцом на свадьбу дочери Примаверы в 1483 году, взятой в жены Джованни ди Франческо Верначчи, оказалась гораздо скромнее того, на что раскошеливались другие флорентийцы ради своих чад. Как бы то ни было, все эти мероприятия были для старшего Макиавелли в финансовом отношении весьма обременительными.

Возможно, Никколо недолюбливал страсть старшего Макиавелли к ученым диспутам вместо того, чтобы посвятить

себя отысканию способов, как побольше заработать во благо семейства. Похоже, эту черту унаследовали и его потомки. По крайней мере, она время от времени давала о себе знать. В частности, известен один анекдотичный случай, в котором фигурирует каноник по имени Никколо ди Бернардо ди Никколо Макиавелли — внук нашего Никколо. Когда монах Санта-Кроче посетовал на то, что, дескать, некие люди сваливают покойников в фамильный склеп Макиавелли, Никколо с горькой усмешкой ответил: «Сие происходит с нашего дозволения, поскольку отец мой был большим охотником до разговоров, и чем больше народу соберется, тем ему приятней». Услышав такое, бедный монах онемел. Слова Никколо отдают флорентийским цинизмом, особенно если учесть, что непрошеные «гости» при жизни, вероятно, были простолюдинами и образованностью не отличались. Похоже, каноник был весь в деда, обладавшего поразительным умением смущать людей парой-тройкой дерзостей, нередко себе же в ущерб.

Можно сказать, что озлобленность пропитывала Флоренцию, и не только по причине, которую верно обрисовал писатель Джованни Папини, заметив, что флорентийцы радуются чужим несчастьям. Подобное отношение к людям коренится во всеобщей зависти и недоверии. В 1421 году это сформулировал Джино Каппони Старший, изложив в одной из записок сыну Нери целый перечень предостережений: не жалуй никому своего покровительства, если того не требуют обстоятельства; блюди осторожность как в делах с согражданами, так и с иноземцами; невежд, распутников и простолюдинов держи на коротком поводке, а иначе расплачивайся за последствия. Конечно, едва ли подобное мироощущение способствовало гармоничным взаимоотношениям. Так в конце XVIII века великий герцог Тосканы Петер Леопольд Габсбург-Лотарингский с горечью признает, что во Флоренции невозможно ничего добиться, потому что жители вечно заняты дрязгами. К тому же, добавлял он в гневе, флорентийцы попросту не умеют признавать чужую правоту. В будущем подобное отношение к окружающим станет помехой любой политической реформе, которая требовала некоей слаженности и могла (пусть даже теоретически) пойти на благо Флоренции.

В сущности, Флоренция процветает лишь под властью жесткого правителя, и это верно до сих пор. В год, когда Никколо Макиавелли появился на свет, государством фактически правил узкий круг олигархов во главе с представителями могущественной ветви Медичи, и все это скрывалось за внешними атрибутами так называемых демократических

институтов. Едва ли на такую власть кто-нибудь мог решиться посягнуть. В 1466 году, за три года до рождения Никколо, несколько высокопоставленных горожан, многие из которых ранее поддерживали Медичи или пользовались их покровительством, сговорились захватить власть, но их замысел провалился из-за невезения, несвоевременных действий и предательства некоторых заговорщиков. В результате Медичи не только упрочили позиции во Флоренции, но и стали изыскивать возможности усилить свое влияние и за пределами города. В июне 1469 года, месяц спустя после рождения нашего Никколо, Лоренцо ди Пьеро де Медичи сочетался браком с Кларице Орсини, наследницей могущественного и воинственного римского рода, и тем самым не только обзавелся связями в папской курии, но и получил доступ к реальной военной силе.

В 1466 году заговорщиками, видимо, руководило желание вернуть конституционное правление, существовавшее до 1434 года, когда к власти пришли Медичи, и отличавшееся тем, что в управлении государством участвовало больше олигархов. Со временем, виртуозно используя различные политические и военные предлоги и накрепко привязав к себе подчиненных деньгами своего банка, Медичи сумели сосредоточить власть внутри узкого круга элиты. До 1434 года результаты голосования периодически проверялись, что обусловило политическую пригодность кандидатов, доказав которую можно было участвовать в жеребьевке и рассчитывать на некую должность. Считалось, что выборы по жребию не допускают к власти демагогов. К тому же существовали определенные ограничения (divieti), которые не допускали к власти горожан, занимавших государственные посты ранее, их ближайших родственников, а также людей разорившихся и задолжавших налоги. В любом случае чиновник занимал должность недолго — от двух до шести месяцев, — что не только обеспечивало сменяемость кадров, но и препятствовало узурпации власти. Чтобы уравновесить недостаток политической преемственности, периодически собирались временные совещательные комитеты (consulte e pratiche), а судя по именам их участников, нетрудно понять, кто на самом деле правил Флоренцией.

Сколь престижным ни было участие в таком комитете, все надежды флорентийцы возлагали на три высших органа городского управления (Tre Maggiori): Совет Двенадцати Добрых Мужей (Dodici Buonomini), Совет Шестнадцати Знаменосцев (Gonfalonieri di Compagnia) и Приорат (Priori delle Arti). Первые два органа — двенадцать старейшин и шестнадцать гонфалоньеров[8] — образовывали Совет Синьории. В Синьорию,

важнейший совещательный орган Флоренции, наделенный высшей исполнительной властью, входили восемь приоров (представителей ремесленных цехов) и ее руководитель — Гонфалоньер справедливости (Gonfaloniere di Guistizia). Чтобы обезопасить государство и допустить к жеребьевке лишь самых достойных, в конце XIV века была учреждена должность выборщиков (accoppiatori) — они должны были наполнять мешки табличками с именами тех, кто прошел общую проверку. Принимать новые законы имели право только два традиционных законодательных совета, в которых участвовали различные слои населения.

Однако во время политического переворота после прихода к власти Медичи «избранные» были уполномочены не только отбирать кандидатуры, которым каждые два месяца предстояло избираться в Синьорию, но и включать и исключать из жеребьевки горожан независимо от результатов проверки. Для проведения столь радикальной конституционной реформы клика Медичи воспользовалась испытанной системой: был созван парламент (общее собрание всего мужского населении, наделенного минимальными выборными правами) для получения санкции на созыв бальи (balia), временной чрезвычайной комиссии, имевшей право изменить конституцию. В конце XIV века, с целью ужесточения контроля над городом, правящий режим вновь насильно созовет бальи, которые в свою очередь утвердят два законодательных органа: Совет Ста (Cento) и Совет Семидесяти (Settanta),[9] которые почти полностью состояли из приспешников Медичи. В итоге попасть в правительство становилось все труднее и труднее. Хотя подобная система не только не была закрытой, но и не удовлетворяла честолюбие всех желающих (заговор 1466 года спланировали члены Совета Ста, тогда как в заговоре Пацци 1478 года участвовало немало тех, кому Медичи когда-то отказали или оскорбили), она все же позволяла успешно злоупотреблять властью.

В дневниках сера Бернардо мы не найдем комментариев, касающихся флорентийской истории и политики, однако в трактате его сына «История Флоренции» (IstoriFiorentine) упоминаются некоторые эпизоды, которые вполне могли повлиять на мировоззрение Никколо. Он мог присутствовать на казни Франческо де Пацци в апреле 1478 года, где пристально наблюдал за окружающими и молча вздыхал. Никколо почти наверняка видел, как толпа молодежи проволокла по улицам Флоренции тело Джакопо де Пацци, отца Франческо, а затем сбросила в реку Арно (что с таким восторгом и восхищением описал в «Ромоле» Джордж Элиот — человек, не имевшей

собственной семьи). Нет никаких свидетельств того, что сам Никколо участвовал в надругательстве над покойным, но образ окоченевшего тела Джакопо, которое со стуком волокут по мостовой, заставлял Макиавелли размышлять о том, что он называл «ярчайшим примером превратностей судьбы, когда человек с высот богатства и благополучия оказался так позорно низвергнут в бездну величайшего злосчастья». Если учесть, что родственник сера Бернардо, Джироламо, неверно выбравший союзников, был изгнан и брошен в темницу, а затем безвременно скончался, Макиавелли-старший имел все основания держаться подальше от политических баталий.

По соседству с Макиавелли проживало множество богатых и влиятельных людей. Напротив их дома расположился особняк состоятельного семейства Гвиччардини, покровителей местной приходской церкви (а также монастыря для выходцев из аристократии) Санта-Феличита. Никколо был старше отпрысков Пьеро Гвиччардини, и впоследствии дружба с Луиджи и в особенности с историком и политиком Франческо принесла ему немалую пользу. Еще при жизни Никколо семейство Гвиччардини расширило свои владения на этой улице: они приобрели несколько домов Беницци — небольшого, но вымирающего рода, состоявшего в близком родстве с Макиавелли.

Дальше по Виа деи Барди располагалось величественное палаццо Джульельмо Каппони, владельца лечебницы Сан-Джакомо делль Альтопачио и преданного сторонника Медичи. Лечебница являлась бенефицием[10] семьи Каппони, которое успешно выправило его незавидное финансовое положение. Позже в комедии «Клиция» (Clizia) Макиавелли выразит свое восхищение этим образцом предприимчивости. Далее, неподалеку от Понте Санта-Тринита, проживали члены влиятельного и довольно замкнутого семейства Каппони, а также те, кого называли банкирами (di banco) за накопленные ими в банках средства. Рядом жили их недавние партнеры Веттори, а сын Пьеро Веттори, Франческо, был на пять лет моложе нашего Никколо и впоследствии сыграл важную роль в его жизни. Пьеро Веттори, Пьеро Гвиччардини и мессер Бернардо Макиавелли владели собственностью в одном и том же районе в предместьях Флоренции, и, вероятно, поэтому их дети, невзирая на разницу в возрасте и происхождении, сдружились. На Виа Маджио, сразу за домом Макиавелли, жили Ридольфи, настолько преданные Медичи, что один из них впоследствии женился на дочери Лоренцо де Медичи. Дальше по той же улице находились дома Корсини, семейства не совсем аристократического — хотя и повлиятельнее Макиавелли, — один из потомков которого займет

важное место в жизни Никколо.

По некоторым предположениям, соседские дети ходили в одну и ту же школу сера Паоло Сассо, и впоследствии Никколо вступит в переписку и в различные дискуссии со многими отпрысками упомянутых семей. В любом случае все они были воспитаны в одних и тех же гуманистических традициях, чем объясняется и принадлежность их к одной и той же языковой и культурной общности. Кроме совместного обучения в школе, свою роль наверняка сыграло и близкое соседство: дети с раннего возраста постоянно виделись друг с другом. Кроме того, на улице все мальчишки играли наравне, и Макиавелли, хоть и водил дружбу с детьми богатых и влиятельных родителей, к людям более низкого происхождения всегда проявлял сдержанную симпатию.

Кроме редких записей в дневнике отца, иных сведений о детских и юношеских годах Никколо немного. Однако позднее Макиавелли сам напишет о том, как «велико значение хороших и дурных мнений, усвоенных человеком в первые годы жизни, ибо в будущем они сделаются неизменными правилами его поведения». Несомненно, Никколо с ранних лет слышал много хвалебных отзывов о книгах, особенно от сера Бернардо, благодаря которому — несмотря на различия характеров — пронес через всю жизнь любовь к книгам, впитав многие социально-культурные особенности эпохи, которые затем стали главными мотивами его творчества.

Глава 2
Больше чем преступление

Это больше, чем преступление, это ошибка.

Жозеф Фуше у министр полиции времен Наполеона о казни герцога Энгиенского

Утром 23 мая 1498 года глазам флорентийцев предстало необычное зрелище: под рев пламени, источая зловоние горящей плоти, на костре пылало снятое с виселицы тело политика-утописта и религиозного реформатора Фра Джироламо Савонаролы. Смерть монаха ознаменовала окончание одного из наиболее бурных периодов в истории Флоренции — за эти три с половиной года жизнь многих людей перевернулась с ног на голову.

Влияние Фра Джироламо на политическую и общественную жизнь Флоренции трудно переоценить, а последствия его деяний (хоть и не избежавшие перемен) ощущаются до сих пор. Впервые этот уроженец Феррары прибыл во Флоренцию в 1482 году, став приором доминиканского монастыря Святого Марка, и увидел город, погруженный в атмосферу некоего полуязыческого, пронизанного пороком гуманизма. Сам оставаясь гуманистом, Савонарола попытался изменить происходящее: взялся читать пламенные проповеди, в которых провозвещал страшную кару, которая обрушится на «новый Рим». Однако особого успеха не добился, к тому же скрипучий голос и отчетливый иностранный акцент Фра Джироламо никого не взволновали. Затем Савонаролу направили в Болонью, откуда он вернулся во Флоренцию в 1490 году, став свидетелем немалых изменений: изобилию и роскоши 1480-х годов положила конец экономическая нестабильность.

Даже банк Медичи — один из оплотов их могущества — оказался на грани разорения после долгих лет бездарного руководства. Кроме того, росло число недовольных своенравием Лоренцо де Медичи. Многим не нравилось, что он вел себя как хозяин Флоренции, сосредоточив властные полномочия в узком кругу приближенных. И теперь, когда Савонарола (к великому недовольству Лоренцо) принимался яростно изобличать коррупцию и тиранию, проповеди монаха задевали людей за живое. Более того, Медичи считал обитель Святого Марка едва ли

не своей собственностью в немалой степени потому, что его семья некогда оказывала монастырю значительную финансовую помощь. Тем не менее «лис с облезлым хвостом», как презрительно называл Савонаролу Лоренцо, посетит его на смертном одре в 1492 году, хотя в то время его проповеди становились все более зловещими: он предрекал, что в город явится новый Кир и огнем и мечом покарает грешников.

Пророчеству суждено было сбыться в сентябре 1494 года, когда в Италию вторгся французский король Карл VIII Валуа с целью захвата Неаполитанского королевства, и добился этого в ходе стремительной кампании, ошеломившей его современников, а уже к концу октября достиг и границ Флоренции. Безуспешно пытаясь удержать на расстоянии грозных французов, грабивших флорентийские земли, преемник Лоренцо, молодой Пьеро де Медичи, спешно отправился в королевский лагерь, добившись, однако, лишь подписания унизительного мирного договора, сдачи нескольких ключевых крепостей и уплаты огромной контрибуции. Пьеро не имел законных полномочий заключать подобное соглашение, тем более без санкции Синьории. Вернувшись во Флоренцию, он увидел, что в городе зреет бунт: позорная капитуляция пробудила в жителях праведный гнев. Поняв, что дело плохо, Пьеро счел благоразумным покинуть город и 9 ноября вместе с братьями Джованни и Джулиано бежал, оставив дворец Медичи на разграбление толпе.

17 ноября Карл VIII вошел во Флоренцию и при этом совершил тактическую ошибку, расквартировав войска в черте города. Хотя флорентийцы в большинстве своем воспринимали французов как освободителей, очень скоро между горожанами и солдатами разгорелся конфликт. «Многие сделались врагами своим французским постояльцам», — как позже в пьесе «Клиция» будет вспоминать Макиавелли. На дипломатическом фронте творилась полная неразбериха. Пиза — главный флорентийский порт — взбунтовалась и сдалась на милость короля, который использовал город как пешку в непростых переговорах с властями Флоренции. Однако все это, а также непомерные денежные притязания не могли скрыть боязни короля оказаться взаперти в этом городе. В любом случае он намеревался двигаться дальше — в Неаполь. После разгоряченной перепалки с флорентийскими послами он уступил, снизив размеры контрибуции, пообещал по завершении кампании вернуть Пизу Флоренции и до конца месяца покинуть город. Но впоследствии слово не сдержал.

Между тем политическая и государственная обстановка во Флоренции переворачивалась с ног на голову. После бегства Медичи парламент учредил балью, которой надлежало

пересмотреть конституцию. Предложенные изменения, причем весьма незначительные — по сути, означавшие возврат к конституции до 1434 года, упразднение Совета Ста, Совета Семидесяти и прочих нововведений Медичи, — вызвали бурное негодование, поскольку многие сочли их лишь попыткой бывших олигархов вернуть себе власть. Многочисленная оппозиция вынудила балью принять более радикальные изменения, в результате чего были упразднены не только законодательные органы Медичи, но и ряд других, издавна существовавших политических институтов, а также учрежден Большой Совет (Gran Consiglio), состоявший из представителей самых разных слоев общества.

Подобные беспрецедентные изменения возымели для Флоренции драматические последствия, причем не столько потому, что вновь созданный орган получил право избрания должностных лиц и был наделен высшими законодательными полномочиями, сколько из-за своего состава. Любой гражданин, чей отец, дед или прадед занимал государственную должность (их называли seduto) или же был избран (veduto), но затем отстранен от должности вследствие тех или иных ограничений (divieto), получил наследственное право заседать в Tre Maggiori — всего таких набралось около трех тысяч человек. Однако с конца XIV века шесть из восьми приоров, как и Гонфалоньер справедливости, происходили из одной из семи больших гильдий Флоренции, тогда как из четырнадцати малых гильдий — только двое.[11] К тому же были семьи, члены которых в течение XV века неизменно занимали высшие посты в городе, тогда как те, кто не входил в число приближенных к Медичи, хотя и состоял в большой гильдии, побеждали на выборах лишь изредка.

Теперь представители средних слоев приблизились к тем, кто прежде имел больше политических свобод. Таким образом, влиятельные члены Большого Совета фактически создавали разнородную аристократию. Причем все члены Совета понимали, что государственный орган, постоянно находящийся у власти, невозможно запугать или шантажировать и тем самым повлиять на него, разве что с величайшим трудом и лишь при исключительных обстоятельствах. Видные семейства, привыкшие монопольно распоряжаться властью, вдруг, к своему ужасу, обнаружили, что положение дел изменилось. Тем не менее поначалу Большой Совет устраивал всех, поскольку совмещал идею многопартийного правительства (govemo largo) с включениями представителей аристократии.

Вдохновителями новой конституции стали Венеция и Джироламо Савонарола. В XV веке Венеция служила истинным

примером республики, и не только для Флоренции. Гуманисты, такие как Поджио-Браччолини, считали ее эталоном аристократического государства, но именно это и вызывало недоверие флорентийцев, явно не жаловавших всего, что отдавало патрицианством. И все же факт того, что Медичи удавалось манипулировать политикой в городе, ясно показал ограниченность прежней конституции. Венецианская республика, обладавшая хорошо отлаженной системой сдержек и противовесов, казалась не самым худшим вариантом, не позволявшим феодализму вновь утвердиться де-факто, а создание Совета Восьмидесяти (Ottanta), в общих чертах повторявшего венецианский Сенат, стало очередным шагом в этом направлении. Однако Венеция столетиями разрабатывала свою конституцию методом проб и ошибок, и в любом случае Совет Восьмидесяти обладал куда меньшими полномочиями, чем Сенат. Основное препятствие состояло в том, что жители двух республик сильно отличались по характеру. Как лаконично утверждала одна поговорка тех времен: «Венецианцы — это хорошие бочарные клепки, а флорентийцы — плохие». Конституция Венеции предполагала всеобщее политическое единство и сотрудничество, которых флорентийцам, по-видимому, недоставало.

Какую роль в заимствовании венецианской конституции сыграл Савонарола, вопрос спорный, но при тогдашнем его влиянии одобрительные слова в адрес новой политической структуры Флоренции имели огромное значение. Новое государство, возникшее после правления Медичи, он считал одной из ступеней на пути духовного и нравственного возрождения Флоренции, и неотъемлемой составляющей политики, конечно же, стала религия. Пока Пьеро де Медичи находился в городе, Савонарола ограничивался проповедями о покаянии и реформировании церкви, предрекая грядущую кару, которая постигнет всю Италию. Благодаря французскому вторжению, когда казалось, что его предсказания начали сбываться, и поддержке новой конституции монах снискал доверие широких масс населения — особенно после того, как его личное обращение к Карлу VIII помогло избежать больших людских и финансовых потерь. После бегства Медичи Савонарола сменил тон высказываний со зловещего на восторженный, тем самым живо воплотив в себе принцип политического реализма, который нередко постулировал Козимо де Медичи: «С четками в руках государства не удержишь». Теперь он видел Флоренцию не только новым Римом, но и новым Иерусалимом, призванным Богом свершить христианское возрождение Италии, чтобы затем пожинать и мирские плоды возвращения на путь истинный.

Учитывая тяжелый экономический кризис, который Флоренция переживала с 1492 года, подобное высказывание и вправду звучало весьма привлекательно.

Макиавелли побывал на нескольких проповедях Савонаролы, но, в отличие от некоторых сограждан, отнесся к риторике монаха скептически. В пространном письме Риккардо Беки — священнику и флорентийскому послу в Риме — от 9 марта 1498 года Никколо кратко пересказал две подобные речи. Савонарола подвергся пламенной критике (а затем и был предан настоящему пламени) как со стороны папы, чей распутный образ жизни осуждал, так и со стороны политических противников в самой Флоренции. Монах с высокой трибуны называл обоих тиранами, но однажды, узнав, что Синьория написала понтифику от его имени, тут же сменил тон. Макиавелли оставил ироничный комментарий: «Так он следит за переменами и окрашивает свои небылицы соответственно».

Никколо ходил слушать Савонаролу по просьбе Бекки и не без злорадства обращал внимание церковника и своего друга по переписке на то, как монах, комментируя отрывок из Исхода, бранил египтян и их жрецов. Однако высказывания Макиавелли в письме можно отнести и к духовенству в целом, особенно если учесть, что о папе римском он отзывался как о «самом порочном человеке из всех». Можно предположить, что Никколо хотел тем самым завоевать расположение Бекки, недолюбливавшего Савонаролу, но, вполне вероятно, его скептическое отношение к монаху определили политические события начиная с 1494 года.

Три года Савонарола пытался навязать Флоренции свою политическую программу. Вместе со своими ярыми сторонниками, прозванными «монашествующими» (frateschi) и окрещенными недругами «плаксами» (piagnoni), он разжигал пыл в сердцах необузданных молодых бунтарей и устраивал процессии, а также «костры тщеславия» — публичные сожжения вещей (от картин до женских украшений), считавшихся губительными для людской морали. Поборники Савонаролы убедили Большой Совет и Синьорию (преодолев мощное сопротивление) одобрить его политическую программу, в том числе учредить общественный ссудный банк (Monte di Pieta), объявить амнистию всем последователям Медичи, заключить союз с Францией и вернуть Пизу.

Некоторые с изрядной долей сомнения относились к соглашению с Карлом VIII, поскольку король так и не вернул Пизу, но флорентийские купцы и банкиры во Франции, опасаясь негативных последствий для своего дела, рьяно поддерживали монашествующих. Чтобы воспрепятствовать использованию

смертной казни в качестве политического инструмента, Большой Совет также одобрил закон, наделявший общее собрание горожан правом обжаловать смертные приговоры. Вскоре это нововведение было опробовано на практике.

Не заставили себя ждать и противники Савонаролы и его последователей, причем появлялись они не только по причине разногласий на религиозной почве. В конце февраля 1495 года Карл VIII вошел в Неаполь, но его успех заставил Венецию, папу римского, Милан, Испанию и императора Священной Римской империи заключить союз, названный Венецианской Лигой (или Священным Союзом). Опасаясь застрять на юге Италии, Карл отступил на север, оставив новые владения под охраной крупного войска. Солдаты Лиги сошлись в схватке с французами в Форново 6 июля 1495 года, и хотя Карл вместе с войсками сумел ускользнуть почти без потерь (вероятно, самой крупной потерей стала его любовная переписка, которую захватившие, прочитав, с восторгом предали огласке), стало очевидным, что власть Валуа над Неаполем была и оставалась призрачной, если не сказать больше.

Несмотря на первоначальные успехи французов на поле брани, в середине 1496 года они были все же изгнаны из Неаполитанского королевства, а их флорентийские союзники остались без поддержки. Карл VIII изначально решил не возвращать Пизу, а впоследствии, когда он изменил мнение, его приказ о реституции так и остался невыполненным. И теперь отказ Флоренции вступить в Венецианскую Лигу позволил некоторым ее членам провозгласить себя защитниками осажденной Пизы. Венеция и Милан вывели войска из города в 1498 году, однако полная неспособность флорентийцев к ратным подвигам обрекла их еще на одиннадцать лет войны, после которых Пиза была вновь захвачена и в течение которых Макиавелли стал тем, кем мы его знаем.

Череда поражений Флоренции ослабила позиции Савонаролы и углубила недовольство многих горожан политическим устройством, за которое он так ратовал. Большой Совет раздражал многих из тех, кто считал его угрозой своему высокому положению, и неприязнь к этому государственному органу стала традиционной во многих старинных и влиятельных семьях, обнаруживавших все большее сходство с аристократами, или оптиматами (ottimati), в противоположность пополанам[12] (popolani).

Однако было бы неверно усматривать различие между этими двумя прослойками исключительно в социальной плоскости, поскольку необходимость, личные пристрастия и убеждения

вынуждали людей заключать весьма необычные союзы. Некоторые аристократы, такие как Паоло Антонио Содерини, Франческо Валори, Джанбаттиста Ридольфи, были пополанами, потому что горячо поддерживали Савонаролу. Однако не все последователи монаха одобряли его идею многопартийного правительства. Точно так же в силу личных и добрососедских связей или же по сугубо приватным причинам некоторые семейства и отдельные выходцы из пополанов объединялись с людьми более высокого ранга. Противники Савонаролы — «бешеные» (arrabbiati) — также происходили из самых разных прослоек, и, что еще сильнее осложняло положение, некоторые «плаксы» совместно с «бешеными» выступали за союз с Францией или, видя нерасторопность и разрозненность Большого Совета, даже замышляли вернуть к власти Медичи.

Летом 1497 года подобный заговор был раскрыт: арестовали пятерых влиятельных горожан, а самым известным из них был Бернардо дель Неро, который еще прошлой весной служил Гонфалоньером справедливости. Похоже, дель Неро всегда выступал за закрытое правительство (govemo stretto) в духе отца Пьеро, но изначально прочил в правители Лоренцо и Джованни ди Пьерфранческо, кузенов изгнанных Медичи. Тем временем Пьеро де Медичи не сидел сложа руки и, вдохновленный политическими разногласиями во Флоренции и при поддержке Венеции и Милана, неоднократно пытался захватить власть в городе.

В апреле предыдущего года Пьеро прибыл в Сиену и оттуда повел небольшую армию к стенам Флоренции, надеясь тем самым спровоцировать жителей на выгодный для себя мятеж. Но ничего не вышло — его сторонники в городе сочли благоразумным затаиться, а изгнанный Медичи регулярно получал сведения от своих союзников о событиях во Флоренции, поскольку те лишь ждали удобного случая, чтобы помочь ему вернуться на трон. Бернардо дель Неро был причастен к делам Пьеро и его кузена Лоренцо Торнабуони, что выяснилось в августе, когда Лоренцо арестовали вместе с Джанноццо Пуччи, Никколо Ридольфи, Джованни Камбии. Состоялось разбирательство (praticä) с участием примерно двухсот горожан, на котором решилась участь обвиняемых: несмотря на опасения многих, им вынесли смертный приговор, который затем одобрил уголовный суд, возглавляемый Комиссией Восьми по охране государства (Otto di Guardia).

Родственники осужденных воспользовались своим законным правом и апеллировали к Большому Совету, тем самым поставив правительство в неловкое положение. Синьория раскололась: одни считали, что нужно соблюдать закон, другие утверждали,

что с учетом той угрозы, какую эти люди представляют для республики, в праве на помилование им следует отказать. В конце концов, победили радикально настроенные «плаксы» под предводительством Франческо Валори (имевшего с дель Неро личные счеты), которые пригрозили членам Синьории физической расправой. Большая часть правительства проголосовала за смертную казнь, и той же ночью пятерых обезглавили.

Позже отец Франческо Гвиччардини, в то время входивший в состав Синьории, вспоминал, что отказ предоставить подсудимым законные права подорвал репутацию города. Однако Макиавелли утверждал, что наибольший моральный ущерб понес Савонарола, потому что многие верили, что именно монах решительно настоял на казни, тем самым нарушив закон об апелляции, который сам же помогал утвердить. Вопрос о том, насколько сильно было влияние Савонаролы, до сих пор остается спорным, но все же ответственность за «судебное убийство» заговорщиков многие склонны возлагать на него. Как бы то ни было, последователи монаха показали полную неспособность подняться над ограниченным фанатизмом, и, как позднее напишет об этом Макиавелли, «на город, преисполненный духом мщения, словно упала черная тень». Худшего начала новой эры свободы и справедливости быть не могло.

Савонароле не суждено было долго продержаться у власти. Его нападки на папу Александра VI якобы привели к тому, что его отлучили от церкви и запретили проповедовать. Сам монах считал подобные меры безосновательными, но под давлением правительства согласился больше не читать проповедей. Меньше всего его пророчествам верили те, кого теперь все чаще раздражало самодовольство его сторонников. Немало молодежи из хороших семей открыто бросили вызов Савонароле, объединившись в группу под названием Compagnacci, то есть «дружки». Они не только вели распутный образ жизни, но и стали возмутителями спокойствия, в частности срывали религиозные процессии. Вовсе не протестуя против религии, «дружки» все же проявляли характерную для флорентийцев дерзость, примером которой был и Макиавелли. Но что гораздо важнее, безнаказанность, которой они пользовались, свидетельствовала о новом повороте в городской политике, причем настолько важном, что даже ярый сторонник монаха Паоло Антонио Содерини (следуя давней флорентийской традиции загодя готовить пути к отступлению) заставил своего сына Томмазо вступить в ряды «дружков», «чтобы он был с ними в ладу, если дела пойдут плохо». Впоследствии окажется, что Содерини обладал

необычайным даром предвидения.

В 1498 году, нарушив все запреты, Савонарола проповедовал в течение последних двух недель Великого поста, чем вызвал презрение Макиавелли. И не он один осуждал монаха. Некоторые даже называли Савонаролу тираном, но были и такие, кто выжидал удобного случая, чтобы его низвергнуть. Крах Савонаролы, как ни парадоксально, совпал бы с его триумфом. Поскольку сам он и его последователи утверждали, что проповедующий истину может пройти сквозь пламя и благодатью Божьей остаться невредимым, один монах-францисканец из монастыря Санта-Кроче, враг Савонаролы, бросил им вызов, предложив пройти испытание огнем. В назначенный день францисканцы и доминиканцы собрались на нынешней площади Синьории, однако прибывшие из Санта-Кроче тут же затеяли спор о том, что должно быть надето на испытуемых, причем некоторые заявляли, что сторонники Савонаролы специально надели сутаны, чтобы скрыть признаки «разного рода колдовства». Затем, увидев, что доминиканцы собираются войти в огонь с гостией[13] в руках, францисканцы отказались участвовать, заявив, что сжигание благословенного Тела Христова равносильно святотатству. Савонарола спешно объявил с амвона о своей победе, но этот случай отвратил от него многих сторонников и ободрил врагов. Вечером 8 апреля толпа, ведомая «дружками», пошла на штурм монастыря Сан-Марко, и в разгоревшейся схватке Савонарола и двое его других монахов были схвачены стражей Синьории, посланной для наведения порядка. В ту же ночь на глазах Франческо Валори враги обыскали его дом и убили жену, а затем зарубили его самого. Паоло Антонио Содерини сумел избежать подобной участи благодаря связям своего сына с «дружками», вновь доказав, что главное достоинство храбрости — благоразумие.

В последующие дни Большой Совет снял с правительственных постов всех «плакс», заменив их «бешеными», а затем созвал комитет из двадцати горожан, которым предстояло судить Савонаролу и его сторонников. Монахов пытали, не считаясь с их духовным саном, чтобы выбить признание в истинных или мнимых преступлениях, потому что папа Александр VI потребовал от Флоренции прислать Савонаролу в Рим для суда. Опасаясь, что установленная каноном процедура позволит Савонароле вырваться на свободу, его враги отказались исполнить требование понтифика. Впоследствии компромисс был найден: монахи предстали перед судом в присутствии двух специально присланных папских делегатов. Вечером 23 мая суд спешно вынес смертный приговор, и на следующий день

осужденных повесили, а тела сожгли. «Хвала Господу, теперь можно предаться содомии!» — ликующе прокричал после казни один из «бешеных» у входа во дворец правительства. И в очередной раз подтвердилось, невзирая на все попытки утверждать обратное, что основы Флорентийской республики были скреплены противоречиями и разногласиями.

Франческо Гвиччардини позже отдал должное достоинствам Савонаролы, однако цинично заметил, что, будь монах хорошим человеком, его следовало бы считать великим пророком, ибо в противном случае он велик вдвойне, потому как сумел одурачить всех и ни разу не попасться. Сам Макиавелли, несмотря на критику Савонаролы, высказанную в письме Бекки, позднее отмечал, что «такой человек заслуживает почтения», хотя, по его мнению, монах заблуждался в своих пророческих видениях. Действительно, этот «честолюбивый и набожный» человек погубил самого себя и едва ли не всю Флоренцию. Кроме того, Никколо считал монаха «лукавым», но не лицемером, в отличие от «брата Альберто» (предложившего Александру VI вызвать Савонаролу в Рим, а затем бросить в тюрьму) или коварного, льстивого подлеца Фра Тимотео из «Мандрагоры», о котором один из героев пьесы говорит: «Печально, когда те, кому надлежит быть примером, поступают так». Любопытно, что фразу, которая больше всего напоминает известное изречение «Цель оправдывает средства», можно обнаружить в одной из реплик Фра Тимотео: «В любых делах важней всего итог». Учитывая негативный портрет Тимотео, можно поставить под сомнение расхожее мнение о том, что Макиавелли рассматривал политику вне всякой связи с моралью.

Немало томов написано об отношении Макиавелли к религии, а его работы подвергались всевозможным интерпретациям. Едва ли можно сомневаться в его антиклерикализме, однако эта черта была характерна для большинства его сограждан. Сборники рассказов Джованни Боккаччо и Франко Саккетти пестрят забавными историями о служителях церкви; а в начале XV века Джино Каппони предостерегал сына: «Никогда не связывайся со святошами, ибо это отбросы общества; не впутывайся в дела церкви, если только не потребуется причаститься святых таинств и участвовать в богослужении». Также он писал, что церковный раскол пошел на пользу Флоренции и ее независимости, хотя содействовать распрям не следует, ибо это оскверняет душу, все же «пусть человеческая природа возьмет свое». Франческо Гвиччардини позже скажет, что он всегда желал лишить церковь светской власти, и если бы не выгода, которую он извлекал на службе двум

понтификам, он «полюбил бы Мартина Лютера больше себя самого, и не ради избавления от запретов, навязанных христианскими религиями, как сие обычно толкуют, но чтобы узреть, как эту шайку мерзавцев поставят на подобающее место и церковь станет либо непорочной, либо безвластной».

Во многих трудах Макиавелли вторил этим воззрениям и был вовсе не одинок в этом. Не будем забывать, что до 1870 года папству принадлежала значительная часть Италии и потому многие итальянцы считали церковь всего лишь очередным монархом, хотя и своеобразным, и относились к ней соответственно. Флоренция, граничившая с папскими территориями, сталкивалась с этой проблемой чаще других областей Италии, а попытки нескольких пап влиять на политическую жизнь города, определять или даже перекраивать ее неизменно вызывали возмущение вплоть до XVIII века. Действительно, неприязнь к церкви присуща флорентийцам и по сей день, причем даже среди столичного духовенства.[14]

И вновь, чтобы разобраться в религиозных чувствах Макиавелли, необходимо обозреть весьма специфическую среду, его окружавшую. Его неприязнь к Савонароле проистекала из того, что флорентийцы последовали за монахом, хотя отнюдь «не походили на невежд или дикарей». Савонарола это понимал. В своих проповедях он постоянно касался вопросов, весьма важных для тогдашних гуманистов, таких как человеческое достоинство, мир и согласие, стремление избавиться от бремени вины и греха. Он также уважительно отзывался о творчестве, считая человеческий разум высшим авторитетом, хотя и верил, что его способности раскрываются благодаря божественной благодати. И что важнее всего, Савонарола приписывал Флоренции некую эсхатологическую роль, связывая ее с политической мифологией города. К несчастью, он не учел одного, а именно того, что флорентийцы — отчаянные полемисты и едкие критики — относились с подозрением к любому, кто пытался им что-либо навязать.

Не то чтобы флорентийцы не верили в Бога; напротив — религия была неотъемлемой частью их повседневной жизни, впрочем, как и жизни любого другой народа той эпохи. Коллективные и личные пожертвования, поклонение реликвиям и чудотворным образам, религиозные процессии, обряды и таинства были обычным явлением. Однако флорентийцы с большим недоверием относились (и до сих пор относятся) к религии, которая навязывала им правила поведения. Кроме того, житейские ситуации зачастую вступали в противоречие с истинно христианским мировоззрением, и набожные флорентийцы не

брезговали и жестокостью, если того требовали обстоятельства. Так, прибыв в Прато с поручением подавить восстание против Медичи, их приспешник и, между прочим, монах рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского, Джорджио Джинори принялся без суда вешать людей за их прегрешения. Когда один из приговоренных попросил дать ему время помолиться, Джинори и слушать его не стал, бросив несчастному: «Вперед! После помолишься».

Хотя флорентийцы в этом отношении не отличались от других итальянцев, сложившаяся в городе гуманистическая среда, в которой особое значение уделялось древним трактатам, породила своеобразное смешение различных культов и верований. Например, люди верили, что языческий колдун и философ Гермес Трисмегист — ровесник Моисея, а в мире, где авторитет Античности был весьма высок, его труды по значимости приравнивались к Библии. Согласно тем же критериям сочинения Вергилия, Цицерона и других римских авторов считались ничуть не менее важными, чем четыре Евангелия. Воспитанный на античной культуре, Макиавелли во многом относился к религии в точности так же и, как мы помним, даже переписал поэму Лукреция Кара «О природе вещей».

Многое говорит в пользу того, что Никколо можно считать скептиком эпохи Возрождения. Его друг Луиджи Гвиччардини, брат Франческо, описывал его как «человека, который с трудом верит тому, чему надлежит верить, равно как и тому, что достойно осмеяния». Тем не менее его сдержанное отношение к традиционной религии разделяли многие, в том числе философы, священнослужители и даже сам понтифик. «Господь даровал нам папство, так насладимся же им», — сказал Лев X своему брату Джулиано де Медичи на следующий день после своего избрания на папский престол. К тому же, явно из любви к Древнему Риму, Макиавелли сравнивал верования римлян с христианством:

> «Античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы, — полководцев и правителей республик. Наша же религия прославляет людей скорее смиренных и созерцательных, нежели деятельных. Она почитает высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим; тогда как религия античная почитала высшее благо в величии духа, в силе тела и во всем том, что делает людей чрезвычайно сильными. А если наша религия и требует от нас силы, то лишь для того у чтобы мы были в состоянии терпеть, а не для того, чтобы мы

совершали мужественные деяния. Такой образ жизни сделал, по-моему, мир слабым и отдал его во власть негодяям: они могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том, как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них расплатиться. И если теперь кажется, что весь мир обабился, а небо разоружилось, то причина этому, несомненно, *подлая трусость тех, кто истолковывал нашу религию у имея в виду праздность, а не доблесть*.[15] Если бы они приняли во внимание то, что религия наша допускает прославление и защиту отечества, то увидели бы, что она требует от нас, чтобы мы любили и почитали родину и готовили себя к тому, чтобы быть способными встать на ее защиту».

В оригинале (по-итальянски) этот отрывок весьма неоднозначен, поскольку сначала Никколо описывает христианство как бесхребетное, но затем указывает на его могущество, и все же Макиавелли нельзя называть знатоком теологии. Более того, записывая этот отрывок из «Размышлений», он раздумывал над собственным опытом, не говоря уже о том, что он хотел угодить друзьям из садов Ручеллаи.[16] Кроме того, указывая на праздность (ozio) и гражданскую доблесть (virtu) в понимании римлян, Макиавелли выразил не столько негативное отношение к христианству, сколько желание увидеть христианство более мужественным. Так или иначе, он считал, что свободной воли — не обязательно в христианском понимании — достаточно, чтобы преодолеть превратности судьбы.

С самого рождения Макиавелли воспитывался в христианских традициях, но благодаря своему закоренелому скептицизму он нередко пренебрегал догматами церкви. Однажды его другу Франческо Веттори пришлось напомнить Никколо о том, что в праздничные дни необходимо ходить на мессу. Как мы еще увидим, Макиавелли был равнодушен не только к религиозным обрядам, хотя иногда те, кто нарушал церковные предписания повергали его в смущение. Несмотря на то что во многих его трудах религия — в соответствии с древнеримской традицией — неразрывно связана с гражданским долгом, в одном отрывке из «Истории Флоренции», где описывается визит во Флоренцию герцога Миланского Галеаццо Мария Сфорца в 1471 году, Никколо выходит за рамки подобных классических примеров:

«Тогда-то наш город стал свидетелем того, чего еще никогда не видел. Было время поста, когда церковь предписывает отказ от мясной пищи, однако герцогский

> двор, не чтя ни церкви, ни самого Бога, питался исключительно мясом. Среди многочисленных зрелищ, дававшихся в честь этого государя [герцога Миланского], в церкви Санто-Спирито было устроено представление сошествия Святого Духа на апостолов. Так как для подобных торжеств всегда приходится зажигать очень много светильников, вспыхнул пожар, церковь сгорела, и многие подумали, что это было насланием Божьим на нас».

Можно предположить, что Макиавелли стремился произвести впечатление на своих церковных наставников (в конце концов, он писал «Историю Флоренции» по заказу папы Климента VII), однако мы можем и заключить, что при всем цинизме, антиклерикализме и богохульстве Никколо отличался консервативностью в том, что касалось надлежащего поведения в определенных обстоятельствах: во время Великого поста он попросту не ел мяса. В его сатирическом сочинении «Правила общества любителей наслаждений» (Capitoli peruna Compagnia di Piacere) приведен отрывок, в котором членам некоего вымышленного братства приписывается обвинение в оскорблении величества (Laesae Majestatis), состоявшее в том, что «во время мессы они беспрестанно не оглядывались и не старались быть как можно незаметнее». Этот отрывок свидетельствует о неприязни Макиавелли ко множеству благонравных лицемеров, населявших Флоренцию, — возможно, включая и членов одного из религиозных братств, к которому он сам принадлежал. Не менее консервативным Никколо становился (подобно всякому флорентийцу), когда дело касалось семейных ценностей, несмотря на свое пристрастие к волокитству. Сыну Гвидо Макиавелли постоянно подчеркивал важность житейских принципов. «Не горюйте и тратьте меньше, чем могли бы», — напишет он, завершив письмо словами: «Храни вас Бог».

Храни вас Бог! Возможно, этой заключительной фразой Никколо всего лишь отдал дань тогдашней эпистолярной традиции, однако это плохо сочетается с нашим представлением о дерзком Макиавелли, который, по словам Джовио и других, умер «безбожником». Аламанно Сальвиати, который его терпеть не мог, однажды написал Никколо: «Не берусь утверждать, что в вашей душе нет веры, ее скорее осталось немного». А его внук Джулиано де Риччи однажды заметил, что «во всех сочинениях Никколо был чрезвычайно несдержан, причем не только в нападках на мирян и церковников, но и в своей привычке объяснять все естественными или случайными причинами». И все

же Риччи жил в совершенно иной религиозной и интеллектуальной среде. Также любопытно отметить, что в поздней переписке Макиавелли все чаще упоминается Бог. Возможно, он решил, что возраст и политическая неразбериха на родине и за рубежом требовали более активного участия высших сил, превосходящих обычную фортуну. Даже оставаясь скептиком, с религиозной точки зрения Макиавелли оказывается человеком весьма противоречивым, признававшим ценности как метафизические, так и земные, и подобно своим согражданам, обладавшим дерзким нравом.[17] И Никколо, как истинный флорентиец, никогда не отказывал себе в удовольствии поучаствовать в споре, колко пошутить или поразить добропорядочных буржуа.

Глава 3
Искусство войны и политики

Когда кардинал Руанский заявил мне, что итальянцы несведущи в военных делах, я ответил, что французы ничего не смыслят в делах государственных, ибо в противном случае они не допустили бы подобного возвышения Церкви.

Никколо Макиавелли, о своем визите во Францию во время правления Людовика XII

Важно лишь не наносить тяжких обид кому-либо из слуг или приближенных.

Никколо Макиавелли. Государь

Нет ничего случайного в том, что 28 мая 1498 года, менее недели спустя после казни Савонаролы, Совет Восьмидесяти выдвинул на пост во флорентийской канцелярии кандидатуру Никколо Макиавелли; равно как и в том, что спустя три дня Большой Совет, как и полагается, утвердил его назначение на должность. По тогдашним меркам Никколо был еще слишком молод; в феврале предыдущего года он уже подавал прошение на более низкие должности в том же учреждении, но получил отказ, потому что был ярым противником Савонаролы. Теперь же, когда всех «плакс» изгнали, открылся путь к более влиятельному и доходному посту.

И все же, несмотря на добрые рекомендации, то, что Макиавелли избрали из других кандидатов, до сих пор не совсем объяснимо. Не существует неоспоримых доказательств того, что до своего избрания он имел надежные связи в канцелярии, хотя его отец Бернардо, по-видимому, был близким другом канцлера Бартоломео Скала. Также известно, что сам Никколо совершенствовал свой латинский под руководством преемника Скала, Марчелло Виргилио ди Адриано Берти (более известного под именем Марчелло Виргилио Адриани). Вполне вероятно, что

наставник поддержал кандидатуру Макиавелли своим авторитетом, к тому же положительную роль сыграло то, что среди родственников Никколо был мученик Джироламо Макиавелли, пострадавший от режима Медичи. Кроме того, вероятно, сильнее всего сказалась отстраненность сера Бернардо от политических интриг Флоренции, а это означало, что его сын был меньше других подвержен зависти, не питал злобы и, следовательно, не нажил много врагов (если таковые и были), способных помешать его назначению.

Возможно, нет ничего удивительного в том, что в своих сочинениях Макиавелли подчеркивал роль, которую играло Провидение в жизни людей, особенно если учесть, как часто «Госпожа удача» была к нему благосклонна: этот выходец из не самой влиятельной семьи вдруг возглавил Вторую канцелярию Флоренции, удостоился годового жалованья в 128 золотых флоринов, а также привилегий, которые по закону или в силу полномочий даруются всякой постоянной службой. Благодаря работе Никколо заслужил почет (honore)j что никак не удавалось его отцу, и обрел возможность играть ключевую роль в управлении флорентийской государственной машиной. Прежде постоянное, хотя и неформальное главенство Медичи предполагало, что почти все политические полномочия сосредоточились в руках этого клана. Начавшаяся с 1494 года эпоха народного правительства и возникновение коллегиальной власти замедлили политический процесс, спешная смена руководства лишь усугубила ситуацию. В этих обстоятельствах флорентийской канцелярии, состоявшей из закоренелых бюрократов, неминуемо пришлось бы взять на себя управление общественными делами.

Не раз, формально подчиняясь другим чиновникам, в силу характера и внешних обстоятельств Макиавелли действовал по собственному усмотрению. Теоретически Первая канцелярия Флорентийской республики ведала иностранными делами, а Вторая канцелярия — делами внутренними и городским ополчением. Но на практике подобное разграничение оказывалось весьма условным, и зачастую дела решал тот, у кого было больше шансов добиться успеха за счет связей, влияния или способностей. Кроме того, пятнадцатилетняя война в Пизе означала, что значение Второй канцелярии неизбежно возрастет, равно как и влияние военной Комиссии Десяти (Died di Balia), которую обычно называли просто «Десятка», органа, уполномоченного представлять Флоренцию в вооруженных конфликтах. Избрав Макиавелли секретарем Десятки 14 июля 1498 года, скаредные флорентийцы одним выстрелом убили двух

зайцев: Никколо занял новый пост, сохранив за собой прежний, в результате чего ни численность служащих, ни объем расходов не изменились. Очевидно, теперь Никколо оказался в подчинении десяти дополнительных начальников, но, поскольку члены Десятки сменялись каждые полгода, на деле львиная доля хлопот выпадала канцелярии. К тому же Большой Совет мог упразднить Десятку, как не раз бывало, и всю работу на местах возложить на Макиавелли и его подчиненных.

Военные дела одной только бумажной работой не ограничивались, и в последующие годы Никколо проведет немало времени в разъездах, исполняя обязанности посла. В марте 1499 года он отправился в первую дипломатическую поездку: Совет Десяти поручил ему договориться с Якопо IV д'Аппиано, правителем Пьомбино. Флоренция столкнулась с рядом чрезвычайных ситуаций, таких как вторжение Венеции в Казентино на северо-востоке Тосканы, и так и не сумела вернуть себе Пизу. В отличие от большинства итальянцев из других областей, прижимистые флорентийцы никогда не стремились обеспечить себе постоянную армию, а оказавшись в опасности, были вынуждены прибегнуть к услугам тех, кто подвернулся под руку — зачастую не самых лучших солдат и полководцев, которые, так или иначе, особой преданностью Флоренции не отличались. Аппиано возмущался тем, что один из его соперников, Ринуччо да Марчано, отхватив от флорентийских нанимателей больше людей и денег, требовал к себе соответствующего отношения. Улещаниями и посулами прислать в его распоряжение еще сорок солдат Макиавелли сумел усмирить гнев военачальника. В итоге первая дипломатическая миссия Никколо оказалась удачной, и, пусть всего-навсего следуя наставлениям Десятки, он все же приобрел репутацию человека талантливого и надежного.

Необходимость усмирить Аппиано никоим образом не была связана с первостепенными военными задачами. Флоренцию окружало множество мелких независимых городов-государств, автономий, часть из которых занимали ключевые стратегические позиции, а их правители вели непрерывные войны, как по собственной воле, так и навязанные извне. Пьомбино, принадлежавший Аппиано и расположенный на тосканском побережье, был одним из таких городов. Кроме того, ситуацию осложняло то, что сестра Джакопо, Семирамида, была супругой Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи. Эта ветвь клана Медичи разорвала всякие отношения с родственниками со стороны Пьеро, однако извечно подозрительные флорентийцы догадывались, что от кровных уз не так-то легко избавиться. Лоренцо и его брат

Джованни, считавшиеся пополанами, то есть «выходцами из народа», все же оставались настоящими аристократами (ottimati), и, по мнению некоторых, в случае повторного прихода к власти Медичи они вполне могли заменить Пьеро в кресле правителя. Кроме того, Джованни стал третьим супругом одной грозной дамы, к которой со следующей дипломатической миссией и направлялся Никколо.

Вероятно, Катарина Сфорца, графиня Форли, явно не обладала всеми мыслимыми достоинствами, что, однако, с лихвой восполнялось ее изяществом, красотой, хитростью и твердостью духа. Незаконнорожденная дочь Галеаццо Мария Сфорца, герцога Миланского, Катерина в ранней юности вышла замуж за трусоватого и подлого Джироламо Риарио, племянника папы Сикста IV и правителя Форли в Романьи. Когда нескольких разгневанных дворян зарезали Риарио, Катарина сумела укрыться в близлежащей крепости Ривальдино. После того как заговорщики пригрозили убить ее детей, если она не сдастся, Катарина забралась на крепостную стену и, задрав юбки, заявила, что у нее осталась «формочка»,[18] чтобы налепить еще. После убийства второго мужа она, как утверждают, жестоко расправилась с семьями виновных. Судя по обилию афродизиаков в ее книге рецептов, Катарина обладала неуемным сексуальным аппетитом и в третий раз вышла замуж (к удивлению многих) за статного Джованни ди Пьерфранческо де Медичи. Вскоре супруг умер, однако прежде пара успела зачать сына, который унаследовал отцовское имя и материнский характер.

Хотя формальным правителем Форли считался Оттавиано Риарио — сын Катарины от Джироламо Риарио, — не было ни малейших сомнений в том, кто обладал реальной властью. Двумя годами ранее Оттавиано был нанят Флоренцией в качестве одного из предводителей отряда наемников, или кондотьеров (condottieri), за жалованье в 15 тысяч флоринов, но затем отказался продлить контракт, сославшись на то, что флорентийцы ему не заплатили. И теперь, как мы увидим далее, когда война стояла на пороге, Катарина была заинтересована в том, чтобы возобновить контракт. Флорентийцы оказались в затруднительном положении: с одной стороны, они не хотели сердить Катарину, а с другой — платить Оттавиано более 10 тысяч флоринов. Форли располагался на северо-восточной границе флорентийских земель, и если бы никто из рода Риарио не оставил потомка мужского пола, город мог с легкостью попасть в руки Медичи. К тому же Флоренция воевала с Пизой, посему нуждалась в солдатах и надеялась набрать не менее пятисот хороших пехотинцев во владениях графини, поскольку

романьольцы были известны своей воинственностью. Флорентийцы также рассчитывали, что Форли поможет им пополнить запасы пороха. Итак, 13 июля 1499 года Макиавелли верхом отправился в Романью.

Даже сегодня путь из Флоренции в Форли при хорошей погоде занимает два с половиной часа, причем ехать приходится под гору по очень извилистой дороге. Никколо добрался до места за три дня и первым делом оценил житейские условия в пограничном флорентийском городке Кастрокаро. В соответствии с полученными инструкциями он доложил об обстановке внутри аванпоста, а также сообщил о местных междоусобицах. Марчелло Виргилио Адриани отдал ему особые распоряжения, что свидетельствует о том, что канцлер до сих пор считал необходимым опекать своего ученика, несмотря на присущие тому ум и проницательность. Действительно, строгие наставления Адриани позволяли Никколо разве что подбирать «слова и выражения, которые наилучшим образом отвечают ситуации». Власти Флоренции были наслышаны о дерзком нраве графини.

Макиавелли встретился с Катариной 17 июля, но переговоры с самого начала проходили с трудом. Графиня (не без оснований) указала на то, что флорентийцы печально известны дурным отношением к подчиненным и что ранее получила более выгодное предложение от миланцев. Как бы она не преувеличивала, в действительности герцог Миланский Людовико Сфорца испытывал острую нехватку солдат.

Французский король Карл VIII умер в 1498 году, а его наследник Людовик XII вновь заявил о своих притязаниях на Неаполь, равно как и о наследственных правах на Милан. Ни для кого не было секретом, что целью грядущей военной кампании Людовика станет Ломбардия, поскольку для этого король открыто заключил союз с Венецией.

Монарх сумел также склонить на свою сторону папу Александра VI: развратный понтифик согласился расторгнуть брак Людовика — на том основании, что он был заключен с нарушением правил, — за что его сын Чезаре Борджиа получил герцогство Валентинуа и руку знатной француженки. Кроме того, Людовик возобновил договор о перемирии с Испанией и заключил сделку с Филибертом Савойским, владения которого лежали на пути к миланским границам. Осознавая угрозу для себя, Людовико Сфорца принялся лихорадочно набирать рекрутов, а Катарина, приходившаяся ему племянницей, располагала неплохими резервами. Несомненно, сложившаяся ситуация играла ей на руку, потому что теперь к ней обратились

сразу двое просителей, причем оба крайне нуждались в ее помощи.

Макиавелли попытался убедить графиню принять условия Флоренции, но она — подчеркнув, что это дело «семейной чести», — заметила, что флорентийцы не отличались особой щедростью по отношению к ее сыну, в сравнении с другими кондотьерами. После недели изнурительных переговоров, глядя, как ежедневно в Милан отправляются все новые солдаты, Никколо поднял ставку до 12 тысяч дукатов. Катерина вроде бы согласилась, и Макиавелли пришлось написать конфиденциальную депешу Десятке, в которой он сообщил, что сделка состоялась. Но вдруг графиня передумала, потребовав, чтобы Флоренция гарантировала оказание военной помощи на случай, если венецианцы замахнутся на ее земли, а затем добавила: «Чем больше обсуждений, тем лучше для дела».

Никколо не был уполномочен оговаривать подобные требования, более того, «речами и жестами» выказывал свое недовольство по поводу попыток графини поставить его перед фактом. Его миссия, разумеется, завершилась провалом, хотя на родине его усилия оценили весьма высоко, а присланные им депеши заслуживали всяческой похвалы. Вернувшись во Флоренцию, Никколо не мог удержаться от соблазна вставить в свой доклад колкое замечание о том, что трений с Катариной можно было бы избежать, выполни республика обязательства в отношении ее сына. Макиавелли, безусловно, был прав, но в то же время, по-видимому, он еще не постиг всей замысловатости политического и финансового положения Флоренции. Так Никколо впервые проявил свою неизменную склонность ставить теорию превыше практики.

Так или иначе, доклад Макиавелли мог считаться внутренним документом канцелярии, если учесть, что с мая предыдущего года полномочия Десятки принадлежали постоянным сотрудникам канцелярии. Война с Пизой не имела успеха, а флорентийцы все больше злились по поводу высоких налогов, ведь им приходилось расплачиваться за вооруженное противостояние, которое, как видно, ни к чему не приводило. Горожане требовали захватить Пизу: с одной стороны, флорентийцы хотели перейти к решительным действиям, с другой — отказывались за них платить. Десятка всегда являлась оплотом оптиматов, и вскоре по городу поползли слухи, будто войну задумала знать, чтобы затем разорить город и подорвать народную власть. В итоге, когда в мае 1499 года подошли сроки переизбрания в Десятку, Большой Совет решил попросту не переизбирать ее, и бремя урегулирования конфликта легло на

плечи ежемесячно избираемой Синьории. В этих обстоятельствах обеим канцеляриям неизбежно пришлось бы выполнять большую часть рутинной работы, что предоставляло такому молодому и амбициозному человеку, как Макиавелли, редкую возможность самочинно заручиться политической поддержкой в правительстве.

С предыдущего года главнокомандующим сил флорентийцев был назначен кондотьер Паоло Вителли, наследник воинственного рода из города Читта-ди-Кастелло, расположенного по другую сторону юго-восточной границы флорентийских земель. Вителли начал с того, что проявил неуемное рвение, захватив ряд вражеских крепостей вокруг Пизы (после взятия Бути он приказал отрубить руки плененным канонирам) и отбил атаку венецианцев в Казентино. Однако эти успешные сражения отвлекли его от осады Пизы — как и планировали венецианцы, — что позволило осажденному городу пополнить запасы и подтянуть подкрепление. При таких условиях флорентийцы никогда не сумели бы отвоевать Пизу, если бы Венеция не заключила соглашение с Францией, союзником Флоренции, против Милана.

Устранив угрозу с фронта, со стороны Казентино, Вителли возобновил осаду, захватил вражеские цитадели и подверг город интенсивному артобстрелу, неустанно требуя все больше и больше денег для своих солдат. 10 августа войска Вителли попытались ворваться в город через брешь, пробитую флорентийскими орудиями, но были отброшены, хотя и не защитниками города. Нападающие во всеуслышание заявили, что подвергнут захваченный город разграблению, на что Флоренция наложила строжайший запрет, потому ей не нужен был опустошенный город с разъяренными жителями. С трудом Паоло и его брат Вителоццо сумели отменить приказ об атаке — им даже пришлось поколотить некоторых солдат, — что также вызвало возмущение многих рвущихся в бой молодых флорентийцев, которые записались добровольцами перед самой войной. Пока Вителли, вопреки приказам продолжать атаки, не сдвинулся с места, пизанцы спешно заделали бреши и выставили новый гарнизон, а 1 сентября осаждавшие свернули лагерь.

Бездействие Вителли объяснялось отчасти боевой обстановкой, которая расходилась с политическими целями Флоренции, отчасти тем, что финансовое бремя его контракта (condotta) Флоренция разделила с Францией. Стоило Людовику XII начать подготовку к вторжению в Милан, как он тут же вынудил Флоренцию открыто присоединиться к нему. Понимая, что республика не захочет подчиниться, король тайно прекратил

выплату жалованья солдатам Вителли, а самого Паоло заставил повременить с осадой Пизы.

К тому же флорентийцы сильно усомнились в преданности Вителли, и действительно, во время кампании в Казентино Пьеро де Медичи — который затем примкнул к наступавшим византийцам — за 40 тысяч дукатов предложил ему сменить хозяев. Хотя неопровержимых доказательств тому, что Вителли заключал с кем-либо предательское соглашение, не было, само по себе бездействие полководца подтвердило наихудшие опасения. Однако последующие шаги правительства были продиктованы скорее политическим прагматизмом, нежели жаждой мести: Вителли оказался идеальной мишенью для народного гнева, вызванного поражением под Пизой. И если власть и вынашивала заговор против Паоло, то ответственным за его осуществление — если не за сам замысел — можно считать фактического главу Десятки — Никколо ди мессер Бернардо Макиавелли.

10 сентября Никколо написал необычное письмо флорентийским представителям в армии Вителли, в котором среди прочего приказывал укрепить деревню Каскина и выслать жителей во Флоренцию, а также недоплачивать солдатам, которые участвуют в боевых действиях. Если представители и заподозрили, что дело нечисто, они непременно в этом убедились, узнав, что два других представителя, Браччио Мартелли и Антонио Каниджани, были посланы «привести эту армию в порядок и определить расходы». И все же они должны были усомниться в этих инструкциях, поскольку 16 августа Никколо, как глашатаю государственной воли, пришлось напомнить им о «необходимости поступить так», ибо «мы не можем рисковать нашей безопасностью и репутацией». 19 августа Макиавелли вновь повторил распоряжения правительства, но в этот раз изложил их политическим языком:

«Вам остается лишь одно — действовать согласно всеобщему стремлению возродить репутацию города и уничтожить его врагов, ибо иные силы — особенно Христианнейший Король [Франции], от которого зависит судьба Италии, — уважают нас за умение сдерживать как собственных солдат, так и наших врагов. Так мы можем самостоятельно управиться со своими делами, ни в коей мере не уронив достоинства среди иных итальянских государств».

Как и любой другой флорентиец, больше всего Макиавелли страшился остаться в дураках, а молодая Флорентийская республика едва ли могла позволить себе превратиться в международное посмешище, особенно во внешней политике. Несмотря на беспрестанные требования, Флоренция отказалась

открыто помогать Людовику XII, опасаясь тем самым разгневать герцога Миланского и его союзников, чьи территории граничили с ее владениями. К июлю французская армия пересекла границы миланских земель, захватив по пути все крепости, а покинутый всеми друзьями и союзниками герцог Людовико Сфорца мог оказать сопротивление сугубо символическое. Еще до падения Милана 6 сентября стало ясно, что победа французов — дело времени. К тому же обстановка осложнялась тем, что теперь Чезаре Борджиа получил в свое распоряжение французскую армию и мог претворить в жизнь свои захватнические планы. Учитывая все это, а также поражение под Пизой, возможностей восстановить трещавший по швам престиж у Флоренции осталось немного.

В депешах правительственных секретарей флорентийским представителям все чаще проступали нотки тревоги, если не сказать отчаяния. «Завершите все необходимое как можно скорее», — читаем мы в послании от 25 сентября, вероятнее всего, продиктованном самим Макиавелли. В конце концов, 28 сентября, решив, что бегство многих оставшихся без жалованья солдат достаточно ослабило полководца, представители под неким предлогом вызвали Паоло Вителли в Каскину, где тут же арестовали и, связанным, доставили во Флоренцию. Узнав о случившемся, его брат Вителоццо сумел обмануть посланников и укрылся за стенами Пизы. Флоренции предстояло дорого заплатить за этот грубый просчет.

Во Флоренции Паоло жестоко пытали, выбивая признание в предательстве, однако Вителли, несмотря на муки, не вымолвил ни слова. И теперь перед властями города встала сложнейшая задача: не получив доказательств и признания, нужно было что-то делать с прославленным кондотьером, который вряд ли забудет нанесенную ему обиду, окажись он на свободе. Позднее из политической дилеммы, с которой столкнулась республика, Макиавелли выведет одну из своих теорий, согласно которой «людей нужно баловать либо уничтожать». Большинство сограждан с ним согласились бы, а один флорентиец довольно грубовато это подтвердил: «Я считаю, что нам следует отказаться от честности, так как дел государственных она не решает».

В сущности, от вины или невиновности Вителли ничего не зависело: после ареста политически целесообразнее было бы его казнить. Кроме того, многие флорентийцы весьма обрадовались бы, узнав, что Вителли виновен, причем даже его отказ сознаваться в чем-либо расценили бы как доказательство в пользу обвинения. Следует добавить и то, что братья Вителли имели прочные личные связи в городе Пистойе, где в тот момент

бушевала гражданская война. Тот факт, что Флоренция никак не могла разрешить пистойский кризис, вынуждал ее демонстрировать силу и устранять потенциальную угрозу своей безопасности. Из-за политической близорукости Флоренции Паоло Вителли стал козлом отпущения, который устраивал всех. Вечером 1 октября весть о том, что его обезглавили, была встречена жителями города с ликованием. Вероятно, флорентийцы решили поиграть политическими мускулами вслед за венецианцами, казнившими в 1432 году главного своего полководца графа Карманьольского. Возможно, такой вариант действий предложил сам Макиавелли, поскольку мог прочесть о нем в историческом труде Флавио Бьондо, экземпляр которого принадлежал мессеру Бернардо. К несчастью, в отличие от Венеции, заслуживавшей доверие и уважение, Флоренция казнью графа лишь запятнала собственную репутацию. Именно Венеция прославилась жестоким, но справедливым нравом, особенно в отношении наемников, и потому многие жаждали служить под ее знаменами. Флоренция же прослыла скверной и скупой, а после казни Вителли — еще и вероломной. Действия правительства в отношении кондотьера не добавили республике уважения, породив лишь широкую волну критики.

Через несколько дней после казни Паоло в руки Макиавелли попало перехваченное письмо одного из чиновников Лукки, и Никколо решил, что должен дать на него язвительный ответ и тем самым уберечь репутацию Флоренции. Однако его саркастичный отклик источал враждебность, выходившую за все разумные рамки политических словопрений, что заставляет предположить, что Макиавелли таким способом сводил с кем-то личные счеты. Он во всеуслышание обвинил чиновника в клевете, злонамеренности, глупости и невежестве, властям города косвенно пригрозил санкциями, если они не прекратят распространять крамолу, а затем поупражнялся в логической эквилибристике, оправдывая казнь Вителли тем, что независимо от истинного обвинения — в измене или некомпетентности — кондотьер заслуживал «нескончаемой кары».

При всей напыщенности Никколо наверняка понимал, что Флоренция была не в том положении, чтобы навязывать свою волю кому бы то ни было, и что судебная расправа с Вителли, вероятно, все же была ошибкой. Действительно, несколько лет спустя Макиавелли назовет ее флорентийской «местью» Паоло за его неудачи. Тем не менее если бы за всем этим (как могло показаться) стоял Никколо, то он совершил свою первую из целой вереницы политических ошибок.

Надежды Флоренции на то, что казнь Вителли поможет

восстановить доверие французов, окончательно рухнули. В конце сентября Людовик XII принял предложение папы передать часть армии в распоряжение сына понтифика для дальнейшего захвата Романьи, что входило в планы Чезаре Борджиа, герцога Валентинуа, намеревавшегося создать в центре Италии собственное государство. На том основании, что правители Римини, Пезаро, Имолы, Фаэнцы, Форли, Урбино и Камерино — папские вассалы — задолжали налоги, Александр VI издал буллу, которая предписывала конфисковать их феоды. Людовик сумел ограничить действие папского распоряжения теми, кто недавно поддержал герцога Миланского; в итоге Чезаре примирился с требованием монарха, так как ни он сам, ни король не хотели насторожить венецианцев.

В середине ноября Чезаре начал завоевательный поход: он вторгся во владения Катарины Сфорца, один за другим захватывая города. Покорить цитадель в Форли оказалось не так просто: строптивая Катарина продержалась до середины января 1500 года, а затем сдалась французам, обсудив условия сдачи. Что касается Флоренции, то захват Форли оказался для нее тяжким ударом, и не только потому, что ранее город стал ее протекторатом, когда Катарину тщетно просили вступить в антимиланскую лигу. Оставшись без армии, не говоря уже о полководцах, Флоренция не могла оказать ей никакой помощи, и теперь у нее появился могущественный и агрессивный сосед, который при первой же возможности готов был воспользоваться незащищенностью города. Но к счастью для республики, попытка герцога Миланского вернуть себе власть означала, что Чезаре больше не мог рассчитывать на поддержку французов и был вынужден отказаться от захватнической политики — хотя бы на время.

Усилий Людовико Сфорца хватило ненадолго. Преданный швейцарскими войсками, несчастный герцог угодил в плен к Людовику XII и спустя восемь лет скончался во французской тюрьме. Тем временем флорентийцы подписали договор о взаимопомощи с королем, согласно которому Людовик XII обещал предоставить 600 тяжелых кавалеристов и 6 тысяч пехотинцев для захвата Пизы. Флоренция в свою очередь согласилась ежемесячно выплачивать по 240 тысяч дукатов в течение трех месяцев — эта крупная сумма считалась необходимой статьей расходов ради того, чтобы вынудить пизанцев сложить оружие. В мае французские наемники, швейцарцы и гасконцы, во главе с Жаном де Бомоном, двинулись маршем из Пьяченцы, но теперь шли медленно, оставляя за собой опустошенные земли. К концу июня они достигли Пизы и принялись возводить осадные

укрепления и устанавливать орудия.

Страх перед «французской яростью» вынудил пизанцев искать мира, и Бомон с радостью принял капитуляцию города на определенных условиях, но флорентийцы были против, заподозрив, что Людовик XII тайно решил присвоить себе город. Спустя годы — когда постфактум можно было все хорошенько обдумать — Макиавелли резко осудил это решение Флоренции. 29 июня орудийные залпы разрушили участок крепостной стены шириной в сто футов, но на следующий день, ворвавшись в брешь, французы обнаружили, что за стеной жители возвели земляной вал, ощетинившийся орудийными стволами. При виде новых укреплений солдаты Бомона отказались продолжать осаду, а выяснив, что Флоренция беззащитна, решили этим воспользоваться. Полководец не сумел сохранить дисциплину, и необузданные французские наемники угнали обозы с продовольствием. К армии постоянно примыкали бродячие «солдаты удачи» и при поддержке офицеров Бомона требовали выплатить им жалованье.

Флорентийскими представителями были назначены Лука дельи Альбицци и Джованбаттиста Ридольфи, и вскоре к ним присоединился Макиавелли. Никколо лично убедился в том, что французские наемники неуправляемы, однако был восхищен воинскими качествами швейцарцев. Впоследствии он вспоминал, что швейцарцы служили примером доблести для всей армии, сравнивал их с древнеримскими воинами, высокомерно заявляя, что всеми своими победами король Франции обязан им и только им. Подобно большинству его современников, Макиавелли восхищался Античностью и неизменно искал аналогии между своим временем и Древним Римом, хотя и во многом идеализированным. Действительно, многие его современники нередко рассматривали и трактовали происходящее в сравнении с событиями классической древности.

Никколо верил, что воинское искусство швейцарцев объяснялось тем, что они были «единственным народом, которые ныне живет подобно древним, как в делах религиозных, так и в военных». Тем не менее швейцарцы были далеки от римского идеала, поскольку их государство представляло собой «союз» земель, не имеющий столицы, и такое конфедеративное устройство позволяло им наниматься на службу к различным хозяевам, подобно античным этолийцам. Именно во время Пизанской войны Макиавелли начнет выстраивать свою концепцию военного и политического руководства, которая едва не превратится у него в навязчивую идею.

В начале июля 4 тысячи швейцарских наемников должны

были получить месячное жалованье по три дуката каждый, но к тому моменту 2 тысячи гасконцев, которым задержали плату уже на две недели, потребовали немедленного погашения долга и увеличения жалованья с двух с половиной до трех дукатов. Флорентийские представители не были уполномочены удовлетворить такое требование, и в результате все гасконцы собрались и покинули лагерь. В сложившейся ситуации Ридольфи, сославшись на болезнь, уехал во Флоренцию, а Макиавелли и Альбицци остались улаживать дела в обстановке, которая с каждым часом становилась все опаснее.

9 июля несколько солдат, неофициально зачисленных в армию, пришли к Альбицци и начали угрожать, требуя, чтобы им заплатили трехмесячное жалованье. Едва ошарашенный флорентиец попросил два дня на поиски средств, как его схватили, а Макиавелли сообщили, что Альбицци отпустят, только когда появятся деньги. Никколо тут же послал Синьории отчаянное прошение от имени представителей, но Лука, опасаясь за свою жизнь, решил не ждать официального ответа и, чтобы себя выкупить, подписал долговое обязательство на 1300 дукатов. Флорентийцы снялись с лагеря, и вскоре обрадованные пизанцы заняли несколько ключевых позиций в окрестностях города и захватили артиллерию на сумму в 3 тысячи дукатов.

Для Флоренции этот эпизод стал унизительным поражением, в результате чего Большой Совет решил вновь избрать Десятку, чтобы наконец завершить войну. Однако недоверие Совета привело к тому, что Десятка получила право нанимать ограниченное число солдат на короткий срок и лишь с одобрения других органов республики. Более того, Десятка не могла заключать союзы без согласия Синьории, Большого Совета и остальных органов. Так флорентийцы в свойственной им манере хотели, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Осада Пизы завершилась позорным провалом, но этим беды Флоренции не исчерпывались. Узнав о деяниях своих войск, Людовик XII буквально рассвирепел, ибо это означало позор для него. 27 июля он направил республике оправдательное письмо. Но 18 июля флорентийская Синьория, не дожидаясь письма, решила отправить ко двору короля двух чрезвычайных послов. Ими стали Франческо делла Каза, занявший место Альбицци на посту полномочного представителя, и Никколо Макиавелли, причем участие второго не подлежало сомнению, поскольку он оказался свидетелем событий, ставших предметом разбирательства. Кроме того, лишившись руководителей, ответственных за политические решения, Никколо на посту секретаря Десятки фактически обрел право решать все военные

вопросы во Флоренции. Послам было велено как можно скорее прибыть к Людовику XII и представить ему собственное видение фактов, пока кто-то еще не переиначил их на свой лад.

Спустя восемь дней делла Каза и Макиавелли добрались до Лиона, где их встретил Лоренцо Ленци, вместе с Франческо Гвальтеротти служивший послом во Франции. К тому моменту Гвальтеротти уже отбыл в Италию, а Ленци категорически отказался сопровождать послов к королю, едко заметив, обращаясь к Синьории, что теперь-то появились люди, «способные уладить любое важное дело». Однако посол был доволен тем, что искать выход из щекотливого положения придется не ему, сказав: «Я жажду этого не меньше, чем обитатели Лимба[19] — пришествия Христа». Единственное, в чем он согласился помочь, — это в том, что в двух словах поведал о французском дворе и среди прочего порекомендовал заручиться поддержкой кардинала Руанского (Жоржа д'Амбуаза, архиепископа Руана), а также предупредил поменьше осуждать поведение Бомона.

Получив советы, послы приступили к поискам подобающих нарядов и сопровождения для встречи с венценосной особой. К несчастью, даже по столь важному поводу республика проявила присущую ей финансовую недальновидность, обеспечив своих послов лишь скудным суточным содержанием. При этом Макиавелли выдали меньше средств, чем его коллеге, и даже их удержали из жалованья. Кроме того, власти Флоренции предоставили им аванс в размере 80 флоринов, но к тому моменту деньги эти иссякли. Тем временем король покинул Лион, опасаясь вспышки чумы, что вынудило флорентийцев отправиться вслед за ним. Они нагнали королевский кортеж только к 6 августа в Невере, но их надеждам получить сатисфакцию за случившееся у стен Пизы не суждено было сбыться. Ни короля, ни его министров, ни кардинала дела минувшие ничуть не интересовали. По их словам, в произошедшем были отчасти виноваты сами флорентийцы, а затем они заявили, что теперь ради уважения окружающих осаду Пизы необходимо возобновить. Флорентийские послы прекрасно понимали, что король намеревался вынудить республику заплатить французским солдатам, и в итоге аудиенция закончилась ничем.

То же самое они услышали четыре дня спустя во время встречи с кардиналом Руанским, и настырность флорентийцев все сильнее раздражала короля. Ни Макиавелли, ни делла Каза не говорили по-французски, что придавало их миссия несколько комичный оттенок. Но французский монарх знал, что может себе позволить некоторую дерзость, четко сознавая, насколько

республика зависит от его благосклонности. Никколо опишет эту ситуацию довольно резко:

> «Ослепленные своим могуществом, они [французы] ничего не видят, кроме сиюминутной выгоды, и убеждены, что их уважения заслуживают лишь те, кто владеет большей армией или тугим кошельком. И сие весьма губительно для Вашей Светлости [Синьории], поскольку они верят, что [Флоренция] не имеет ни того ни другого. Они считают Вас ничтожным и беспомощным, а недисциплинированность и лживость собственной армии выставляют следствием Вашего скверного руководства».

И Макиавелли, и делла Каза понимали, что положение их незавидное, так как им приходилось общаться лицом к лицу с пребывавшим в постоянном гневе монархом, причем ни один из послов не обладал полномочиями, которые позволили бы ему урегулировать ситуацию. Никколо то и дело докучал власти прошениями прислать кого-нибудь, кто обладал бы большим дипломатическим авторитетом. Однако исполнить его просьбу оказалось не так просто, поскольку все, кого во Флоренции избирали на должность, отвечали отказом. «Меня отпугивают сложность ситуации и количество необходимых усилий», — в личном письме Никколо признавался Лука дельи Альбицци.

Но власти хотя бы удовлетворили требование Макиавелли выслать больше денег. Однако средства, предназначенные для административных расходов, долго не прибывали. Никколо подумывал о том, чтобы через подкуп обзавестись союзниками среди французской знати, но на взятки, конечно же, не осталось ни гроша. Оба посла были настолько подавлены, что однажды даже пригрозили вернуться в Италию без санкции правительства. И что еще хуже, делла Каза заболел и был вынужден отбыть в Париж на лечение, и Макиавелли пришлось заботиться о себе самому.

Следующие два месяца Никколо не раз встречался с Людовиком и кардиналом Руанским, в результате чего сблизился с последним, беседуя с ним на латыни. Чаще всего они обсуждали прибытие нового посла из Флоренции, который должен был доставить ответ республики по поводу оплаты французской армии. Но Макиавелли понял, что французы начинают терять терпение, когда однажды — в ответ на заверения Макиавелли в том, что дипломат непременно прибудет, — кардинал остроумно заметил: «До его приезда мы не доживем, но прежде увидим, как умирают другие».

Намек кардинала был предельно ясен: прибыли вести о том, что Чезаре Борджиа готовится выступить с армией против правителей Романьи, и без французской протекции Флоренция может оказаться отданной на милость амбициозного герцога. К счастью, страх перед Борджиа заставил флорентийцев поспешить и подыскать долгожданного посла, и едва Макиавелли доложил об этом при дворе, королевский посланник отправился к Борджиа с предупреждением, чтобы тот ничего не предпринимал против Флоренции. И что еще лучше, республика решила уступить требованиям Людовика, пообещав заплатить 10 тысяч дукатов, из которых долг перед солдатами погасят немедленно, а остальную сумму доставят в рассрочку. Король остался недоволен тем, что не вся сумма будет уплачена сразу, но понимал, что ни к чему было резать курицу, несущую золотые яйца.

Во время бесед с кардиналом Руанским Макиавелли начал догадываться о том, что французы не очень-то и заинтересованы в успехе Борджиа, хотя честолюбивый кардинал жаждал стать понтификом при поддержке солдат Чезаре. Никколо пытался предупредить его о том, как Борджиа и венецианцы пытались расстроить планы французов в отношении Италии, но в ответ кардинал заметил: «Король весьма предусмотрителен: при всем любопытстве он крайне недоверчив; он прислушивается ко всем, но верит лишь тому, что может проверить сам». Слова Макиавелли не нашли отклика, и он вздохнул с облегчением, когда флорентийских посол передал ему разрешение вернуться домой. Никколо прибыл во Флоренцию 14 января 1501 года с немалым багажом опыта и новых идей, которые ему суждено было передать потомкам.

Глава 4
Двое похорон и одна свадьба

И так Бельфагор, возвратившись в Ад, поведал обо всех несчастьях, что выпадают на долю всякого, кто решает жениться.

Никколо Макиавелли.

Сказка о Бельфагоре, Архидьяволе

В самой Флоренции в отсутствие Макиавелли произошло немало событий, и в 1500 году звезды и вправду не благоволили Никколо. Перед самым отъездом в Пизу вместе с французской армией он лишился отца, а пока был во Франции, умерла его сестра Примавера. Вторая новость особенно растревожила Макиавелли, поскольку сестра его ушла из жизни, не оставив завещания, и посему, как напишет его брат Тотто (с озабоченностью, присущей всякому добропорядочному флорентийцу), все ее имущество отошло «тем людям», то есть Верначчи, родственникам мужа. Никколо был по-своему заинтересован в финансовых делах сестры, потому что в 1497 году, когда она овдовела, мессер Бернардо назначил его одним из ответственных за ее приданое, который должен был «взыскать все платежи с Monte [delle Doti. (Фонда приданого)[20]».

Но еще больше Макиавелли беспокоило то, что сын Примаверы, Джованни, был тяжело болен. Хотя мальчик понемногу поправлялся, Тотто изо всех сил надеялся, что его племянник доживет до четырнадцатилетия «и с того момента по закону сможет написать завещание» (как и следовало ожидать от доброго малого, Джованни дожил до совершеннолетия). И Никколо, и Тотто слишком хорошо знали, какие ужасные ссоры вспыхивают по поводу наследства, и ради согласия в семье всячески старались не допустить распрей. Впрочем, именно поэтому осторожный мессер Бернардо загодя принял необходимые меры и распорядился всей своей собственностью — предположительно большая часть имущества отошла старшему сыну.

Примавера уже не раз становилась для своих родственников настоящей головной болью. В октябре 1479 года Бернардо

Макиавелли узнал, что его пятнадцатилетняя дочь — судя по всему, весьма своенравная особа — твердо решила выйти замуж за Франческо ди Джованни Верначчи, который был на восемь лет ее старше. Хотя «твердо решила» — это еще мягко сказано: отец Никколо начал беспокоиться за молодых людей и дал согласие только после того, как вызвал нотариуса и составил брачный контракт, а затем Франческо «вручил кольцо» будущей невесте. Макиавелли-старший позже скажет отцу Франческо, будто все произошло против его воли, хотя можно предположить, что он слукавил, чтобы успокоить Джованни Верначчи, который был весьма рассержен тем, что никто не испросил его согласия. В любом случае о сожительстве Примаверы и Франческо не могло быть и речи. Кроме того, еще не вышел срок, по истечении которого из фонда можно было изъять денежное приданое невесты.

Несколькими годами ранее Бернардо вложил достаточно денег в приданое дочери и всего заработал около 500 флоринов, которые можно было обналичить не раньше июня 1483 года, а до этого времени Примавера оставалась на содержании тестя. Джованни с презрением отнесся к приданому невесты, не шедшему ни в какое сравнение с суммой, доставшейся ему от жены старшего сына. Двадцатью годами ранее великосветская дама (gran dame) Алессандра Мачинжи Строцци насмешливо назвала приданое в тысячу флоринов подобающим «ремесленнику». Кроме того, фонд обычно выплачивал авансом только 20 процентов от всей суммы, а остальное — в виде облигаций — выдавалось лишь спустя годы, потому что поступить иначе не позволял огромный государственный долг Флоренции.

В брачном контракте мессер Бернардо согласился раскошелиться еще на 200 флоринов наличными, а также снабдить дочь вещевым приданым, хотя едва ли это успокоило Джованни Верначчи, который на самом деле считал брак своего сына Франческо с Примаверой мезальянсом. В течение последующих трех лет Джованни пытался выжать из мессера Бернардо еще денег, но всякий раз сталкивался с его упрямством: в ответ Макиавелли говорил, что подобные уступки его просто разорят. К тому же отец Никколо, вероятно, напоминал Верначчи о максиме гуманиста Леона Баттисты Альберти: «Приданое скромное, надежное и немедленно обращаемое в деньги следует предпочесть крупному, но ненадежному и приносящему доход лишь со временем». Оба отца наверняка были наслышаны о горестях многих мужей, оказавшихся в отчаянном положении из-за того, что не могли получить обещанное крупное приданое. Возможно, по этому Джованни Верначчи в конце концов уступил,

и, по словам мессера Бернардо, обе стороны «остались довольны».

При всей своей скупости отец Примаверы понимал, что обязан потратиться на наряды для дочери, и приобрел ей дорогой наряд и прочих вещей на 21 флорин, а также изображение Пресвятой Девы для спальни новобрачных. Чтобы не отстать от тестя и вопреки уговорам отца, Франческо Верначчи справил будущей супруге шикарное платье стоимостью 15 флоринов. Верначчи мог позволить себе платить наличными, тогда как серу Бернардо приходилось договариваться о рассрочках. Во Флоренции подобное расточительство встречалось на каждом шагу: показная роскошь (в данном случае в одежде) не только была призвана подчеркнуть общественное положение владельца, но и являлась своего рода публичным представлением.[21] Как писал историк Джулиан Киршнер: «Социокультурная логика заставляла флорентийских отцов и мужей независимо от пристрастий вкладывать значительные денежные суммы в красоту своих дочерей и жен». Подобное мотовство могло сказаться на материальном положении даже богатых горожан; и всякий раз, посылая старшего сына Никколо рассчитаться с купцом за купленную в рассрочку вещь, мессер Бернардо наверняка обливался горькими слезами.

Все увиденное произвело неизгладимое впечатление на молодого Макиавелли, и спустя годы он высмеет необходимость покрасоваться в коротком произведении «Сказка о Бельфагоре, Архидьяволе». Начинается сказка в преисподней, где Плутон замечает, как много мужских душ обвиняют во всех своих бедах жен. Адский парламент решает отправить на землю архидьявола Бельфагора, чтобы тот как следует во всем разобрался. Бельфагор, под личиной Родриго Кастильского, приезжает во Флоренцию с крупной суммой денег и кортежем бесов, переодетых в слуг. Затем он женится на женщине, названной обманчивым и в то же время зловещим именем Онеста Донати (по-итальянски Onesta Donati означает «Скромные Дары»; между прочим, Донати был старинным, но обедневшим флорентийским родом). Вскоре непомерные запросы супруги — «наряжаться по последней моде, которая так часто меняется в нашем городе» — ее расточительность и алчные родственники доводят несчастного Бельфагора до долгов и нищеты.

Из цепких лап кредиторов и судей Бельфагора вызволяет крестьянин Джанматтео, и в знак благодарности демон наделяет его способностью изгонять бесов из одержимых женщин. Бельфагор проникает в тела многих дам и вылетает по приказу Джанматтео, и вскоре слава экзорциста приносит крестьянину большое богатство. Однако когда Бельфагор отказывается выйти

из тела дочери французского короля, монарх грозит Джанматтео смертной казнью, и находчивый крестьянин все же исполняет задание, сообщив архидьяволу, что его разыскивает жена. Испугавшись того, что ему предстоит, Бельфагор бросается обратно в ад, где рассказывает о муках семейной жизни на Земле.

По мнению Макиавелли, главная трудность в жизни Бельфагора состоит в том, что он любит жену и «не может видеть ее опечаленной или несчастной». Представленное в сказке женоненавистничество было присуще не только самому Никколо или исключительно флорентийским мужчинам. Например, Алессандра Мачинжи предостерегала своего сына об опасностях, которые влечет за собой любовь к чужой жене, особенно если та не лишена ума, и говорила: «Женщина становится женщиной только рядом с настоящим мужчиной». Никколо соглашался с этим и, сравнивая фортуну с женщиной, утверждал: «Чтобы покорить, ее нужно подчинять и запугивать». Кроме того, Алессандра Мачинжи считала, что «общество доброй [женщины] смягчает как сердце мужчины, так и его тело», а Макиавелли добавлял, что мужчина, «в чьем доме нет женщины, живет подобно животному».

Тем не менее женитьба, приносившая немалые мучения, имела и практическую сторону: политические права передавались только к законнорожденным детям. К 1501 году Макиавелли достиг почтенного, по флорентийским меркам, возраста — ему исполнилось тридцать два года, он занимал должность, которая обеспечивала ему высокое положение в обществе и достойный заработок. И в августе того же года Никколо заключил брак с дамой из старинного и прославленного рода — Марието́ттой, дочерью Луиджи Корсини.

Их дом находился рядом, через две улицы к западу, и хотя семья Корсини была не самой влиятельной во Флоренции, она все же занимала более высокую ступень в общественной иерархии, чем ветвь Макиавелли, к которой принадлежал Никколо, и, на удивление, в течение двух следующих столетий займет еще более солидное положение. Свадьба, как оказалось, устраивала оба семейства. С одной стороны, родство с Корсини поднимало Никколо выше по социальной лестнице, а с другой — семья Марието́тты могла извлечь выгоду из политических связей Макиавелли. Корсини были известны своей лояльностью к Медичи, а в 1497 году за косвенную причастность к заговору дель Неро дяди Марието́тты, Роберто, навсегда лишились права занимать государственные посты.

Была ли партия Никколо выгодна самой Марието́тте — вопрос спорный. Безусловно, такое супружество имело и свои

недостатки. И прежде всего в том, что Макиавелли — по крайней мере, во время работы в канцелярии — нередко отсутствовал дома месяцами, а жене приходилось самой заниматься домашними делами, что без прислуги было бы весьма обременительно. Мариетта явно чувствовала себя покинутой, а Никколо ставил государственные интересы выше семейных и даже не постарался успеть домой к рождению одного из своих детей. Вдобавок ко всем домашним и материнским хлопотам бедной Мариетте приходилось обеспечивать еще и благополучие мужа, причем во всех смыслах, что, по-видимому, порой раздражало Макиавелли. В письме Мариетты от 24 ноября 1503 года говорится:

«Мой возлюбленный Никколо. Ты глумишься надо мной напрасно, ибо я расцвела бы еще сильнее, будь ты рядом со мной. Ты лучше других знаешь, как счастлива я была бы, если бы ты уехал оттуда [из Рима], особенно теперь, когда я узнала об эпидемии, что свирепствует в городе. Представь, как бы я обрадовалась, потому что не могу спать ни днем, ни ночью — этой радостью наделил меня наш ребенок. Умоляю, пиши чаще, потому что до сих пор я получила только три письма. И не удивляйся моему молчанию: я не сержусь, просто до сего дня я болела. Ребенок чувствует себя хорошо, и он похож на тебя: лицо бело как снег, волосы — точно черный бархат, и такой же косматый, как ты. По-моему, благодаря этому сходству он прекрасен. И непоседлив, словно ему исполнился год. Едва родившись, он открыл глаза и криком заглушил весь дом. Но дочь наша больна, и прошу, постарайся вернуться… Я вышлю тебе дублет,[22] две сорочки, два платка и полотенце, которое сейчас шью».

Возможно, Мариетта и вправду больше не сердилась, но в предыдущие месяцы она не раз негодовала на поведение супруга. Бьяджо Буонаккорси, друг Макиавелли и коллега по работе в канцелярии, нередко выслушивал ее гневные тирады. «Она говорит, что не станет писать, и без конца брюзжит, — писал он. — Она недовольна тем, что ты нарушил обещание не задерживаться дольше восьми дней».

Больше всего Мариетту нервировали если не длительные отлучки, то склонность Макиавелли к расточительству, особенно при покупке платья. По крайней мере один раз супруга просто взбесилась, узнав, что Никколо заказал себе плащ из очень дорогой ткани, который обошелся ему в целых пять дукатов. Правда, должности Макиавелли был предписан определенный внешний вид: Никколо в то время представлял республику при дворе Чезаре Борджиа. Вероятно, он полагал, что роскошный

наряд произведет большее впечатление. Однако при всем при том расходы оказывались непомерными, к тому же все знали о страсти Никколо к модным платьям, которые трудно сравнить с довольно скромной одеждой его юности. Буонаккорси однажды язвительно заметил, что лишь в качестве дипломатического одеяния Макиавелли мог заказать дублет из дорогих тканей; Мариетта явно не разделяла чувства юмора Бьяджо.

Кроме того, как выяснилось сразу же после свадьбы, ее супруг не проявил особой заинтересованности в том, чтобы обналичить приданое в фонде. 21 декабря 1502 года Буонаккорси напишет другу: «Она проклинает Бога; верит, что сгубила свое тело и собственность, и все ради тебя. Прошу, устрой так, чтобы она, подобно другим дамам, получила свое приданое, иначе она никогда не успокоится». В то время у Макиавелли имелись дела поважнее: он должен был следовать за Борджиа, пока тот завоевывал Романью; впоследствии этот путь увенчался драматическими событиями 1502 года в Сенигаллии,[23] когда в канун Нового года Борджиа приказал казнить нескольких офицеров по подозрению в измене. Но небрежность Никколо распространялась не только на жену и ее финансовые дела, столь же неаккуратен он был и в делах государственных, да и в общении с коллегами и друзьями. Действительно, небрежность, по-видимому, была едва ли не врожденной чертой его характера.

Мариетте, вероятно, до конца жизни приходилось взывать к Всевышнему покарать Никколо, поскольку он постоянно давал повод для подозрений, и не только в заурядном адюльтере, но и разнузданном волокитстве. Всю жизнь Никколо обращал внимание на окружавших его женщин и имел немало любовных связей, длительных романов, да и просто интрижек. В его переписке мы находим немало упоминаний о куртизанке по имени Лукреция, также прозванной La Riccia (Кудряшка), а позднее об известной певице по имени Барбера Раффакани Салютати. В объятиях первой Макиавелли обрел плотское утешение незадолго до отстранения его от власти, а позже — покой, которого ему так недоставало. Для второй Никколо напишет комедию «Клиция» (Clizia), а его чувства к ней, очевидно, одним только физическим влечением не ограничивались. Видимо, он даже доверил ей тайный шифр, с помощью которого переписывался с друзьями. Спустя несколько лет после смерти Макиавелли певица обратится к одному из его друзей с просьбой уладить давнюю ссору с одним из членов семьи Корсини. Возможно, Мариетта по чистой случайности оказалась родственницей тех «зануд», с которыми бранилась Барбера. Но нельзя исключать и того, что Корсини затаили на нее

злобу по причине явно скандального характера ее отношений с Никколо.

В силу изменчивости сексуальных пристрастий Макиавелли имел «тайные» интрижки (alia fuggiasca) с множеством женщин и (что характерно для итальянцев) без стеснения бахвалился ими, а иногда и посмеивался над собой: флорентийцам по нраву шутить как над собой, так и над другими, правда, они не особо жалуют тех, кто склонен насмехаться над ними. В широко известном ныне и явно непристойном послании Луиджи Гвиччардини Никколо поведал, как однажды связался с проституткой, чье уродство, обнаружившееся лишь после соития — не говоря уже о зловонном дыхании, — оказалось настолько непереносимым, что в результате его стошнило от отвращения. Причем описания настолько подробны и красноречивы, что остается лишь предполагать, имеем ли мы дело с реальным фактом или всего лишь с отрывком из литературного произведения (на что также указывают некоторые элементы текста, отсылающие к «Золотому ослу» Луция Апулея); особенно если учесть, что Никколо привел этот эпизод, предупреждая Луиджи об опасностях, подстерегающих всякого, кто не сдерживает своих сексуальных порывов.

Не стоит забывать, что в кругу друзей Макиавелли славился умением рассказывать забавные истории, зачастую с сексуальным подтекстом. В одном из писем Франческо Веттори он изобразит злоключения Джулиано Бранкаччи: он связался с юношей, который оказывал интимные слуги, и узнав, что тот родом из знатной семьи, попытался выдать себя за Филиппо Касавеччиа, приятеля Никколо. Макиавелли также добавил, что Касавеччиа ловко разоблачил обманщика, что «в эту Масленицу» рассмешило многих во Флоренции, а вопрос «вы Бранкаччи или Касавеччиа?» стал расхожей шуткой.

Некоторые выражения в письме породили гипотезу о том, что автор и адресат — одно и то же лицо. Никколо написал, что Бранкаччи «хотел скрыться в чаще» (vago di andare alia Macchia), а Il Macchia[24] — это прозвище Макиавелли. Другие ссылки в переписке Никколо могли означать, что он был подвержен «флорентийскому пороку», как называли тогда содомию. Франческо Веттори не раз намекал на то, что однажды подвергся домогательствам одного из своих учителей, предположив, что Макиавелли сам испытывал подобное, и с того момента в интимных делах не знал удержу:

«Некий отец утверждает, что растит своего сына в целомудрии, однако начинает с того, что приставляет к сыну учителя, который проводит с чадом весь день и волен делать с

ним, что пожелает, а также позволяет ему читать книги столь непристойные, что подняли бы и мертвеца. Мать заботится о сыне, и тот всегда опрятен, чист и потому привлекателен. Когда же юноша становится постарше, ему отводят целую комнату на первом этаже с отдельным входом и прочими удобствами, чтобы он мог поступать по собственному усмотрению, приглашать и приводить туда, кого захочет. Мы все так поступаем, но самую большую ошибку совершают люди добродетельные. Потому неудивительно, что наша молодежь являет признаки вырождения, ибо подобное поведение коренится лишь в наиболее дурном воспитании. Мы с тобой даже в почтенном возрасте остаемся, до некоторой степени, верны усвоенным в юности привычкам, и ничего мы не можем с этим поделать».

Хотя учителя действительно были печально известны тем, что совращали молодежь, но, возможно, дело заключалось еще и в том, что в городе, где незамужних девушек держали под замком, подростки нередко искали иной выход изнурявшей их сексуальной неудовлетворенности. Непредвиденная беременность могла запятнать честь семьи, пусть даже юная дама принадлежала к прислуге, а не к именитому роду. В связи с этим показателен случай, произошедший с прислугой сера Бернардо, а в пьесе «Мандрагора» Никколо сообщает нам о мерах предосторожности, которые предпринимали флорентийцы. С другой стороны, проститутки были молодым людям не по карману, и они вполне могли практиковать «дружеский секс» как одну из форм товарищеских отношений. Судя по письмам Веттори, можно легко решить, что мужеложство было любимым занятием мужского населения Флоренции. К тому же в другом послании Веттори описывал случай в Риме, в котором оказались замешаны все те же Джулиано Бранкаччи и Филиппо Касавеччиа, только на этот раз один пытался соблазнить дочь одного из соседей Веттори, а другой — ее младшего брата.

И все же до сих пор неясно, в какой степени сам Макиавелли интересовался представителями мужского пола, если даже, работая секретарем Десятки, он (по крайней мере, согласно одному анонимному доносу) занимался анальным сексом с Кудряшкой. Притом что содомия являлась уголовно наказуемой, некоторые друзья Макиавелли (в частности, Донато даль Карно) занимались ею открыто. До сих пор среди флорентийцев сексуальные отклонения остаются поводом для шуток.[25] Сам Никколо высмеивал эту привычку в письмах, а в пьесе «Мандрагора» один из женских персонажей сравнивает турецкий обычай сажать людей на кол с ночными забавами ее покойного мужа. Так, поигрывая словами, Макиавелли писал, что слишком

подавлен, чтобы встречаться с La Riccia (Кудряшкой), и подумывал, не подвигнет ли его столь печальный настрой попытать счастья с Il Riccio («мальчиком по вызову»), однако этот каламбур не стоит воспринимать буквально — это всего лишь один из типичных примеров флорентийского юмора.

Чтобы избежать двусмысленности, Веттори начал процитированное выше письмо с того, что упомянул отрывок из Вергилия, в котором говорится о безумной любви пастуха Кордирона к мальчику Алексиску, намекая на то, что Никколо сам был сражен подобной страстью. Вопреки расхожему представлению о Макиавелли как о человеке равнодушном, холодном и циничном, тот же Веттори ясно сказал выше: «Я видел тебя влюбленного… и знал, какая неуемная страсть руководит тобой». Однако несколькими месяцами ранее Франческо отвечал на письмо Макиавелли, в котором Никколо описывал, как влюбился в девушку — согласно Роберто Ридольфи, овдовевшую сестру одного из его загородных соседей. Но Веттори, видимо, существенной разницы не видел: на заявление Макиавелли о том, что встречу с таким «созданием» устроила сама «Фортуна», он ответил, что чувства Никколо продиктованы праздностью и лишь одно средство может его излечить — то самое, которое, несмотря на утверждения ученых и философов, ищут все мужчины, то есть «соитие». Отличие слов Fortuna («удача») и fottere («совокупляться») также свидетельствует о различном отношении этих двух мужчин и к женщинам, и к жизни в целом.

Удача и вправду сопутствовала Макиавелли всю жизнь, нередко под видом прекрасных спутниц: Кудряшки, остававшейся верной ему даже во времена невзгод (чем даже вызвала восхищение Веттори), Барберы Раффакани, любовницы и музы, вдохновившей Никколо на создание лучших произведений, и особенно многострадальной Мариетты. Макиавелли будет восхищаться преданностью жены, и в одном из последних писем из Имолы велит сыну Гвидо встретить супругу и добавит: «Я никогда так не хотел оказаться во Флоренции, как сейчас». С годами, несмотря на его частые сексуальные эскапады и благодаря ежедневным стараниям и сожительству и в горе, и в радости, их супружество, заключенное в угоду общественной условности, обернулось любовью и доверием. Что любопытно, как в первом завещании 1512 года, так и в последнем 1523 года опекуном своих детей — если на момент его смерти ни один из них не достигнет совершеннолетия — Никколо избрал жену, хотя был жив его брат Тотто и, кроме того, оставалось достаточно родственников мужского пола, подходивших для этой роль.[26]

В этой связи традиционный для завещаний термин

«возлюбленная супруга» (uxori sua dilectä) наделен более глубоким смыслом, нежели обычно. Если Фортуна выступала в образе женщины, то Макиавелли посчастливилось найти жену, которая вопреки его постулату из книги «Государь» в итоге сама его покорила и подчинила.

Глава 5
Избранник

Чезаре Борджиа считали жестоким, но жестокостью этой он усмирил Романью, восстановив мир и порядок. И если вдуматься, проявил тем самым больше милосердия, чем флорентийский народ, который, опасаясь обвинений в жестокости, позволил разрушить Пистойю.

Никколо Макиавелли о Чезаре Борджиа

«Слабость наших современников коренится в недостатке образования и невежестве, вследствие чего мудрость древних выглядит сегодня бесчеловечной и на практике неприменимой», — напишет Макиавелли в своих «Рассуждениях». Подобно всякому образованному человеку эпохи Возрождения, он был склонен искать ответы на злободневные вопросы в прошлом. Однако ему легко удавалось связать свое понимание прошлого с текущим опытом: в конце концов, Римская республика былых времен отыскала формулу искусного государственного управления методом проб и ошибок. Флорентийская республика, идеально сбалансированная, чтобы стать наследницей Рима, могла достичь величия, воспользовавшись уже проверенными методами. Хотя с 1501 по 1503 год вновь обретенная свобода Флоренции висела на волоске, впоследствии город преодолел один из тяжелейших в своей истории политических кризисов, и эти годы определят дальнейшее развитие политического мышления Никколо.

Внутренние и внешние угрозы, выпавшие на долю флорентийцев, были взаимосвязаны, и неудивительно, что Макиавелли — учитывая его должность — доведется выступить в роли спасителя своей страны. Не успел он вернуться из Франции, как ему пришлось заняться гражданской войной в Пистойе, давно назревшей, а с 1499 года нередко дававшей о себе знать жестокими погромами. Пистойя неизменно была для Флоренции источником неприятностей: город раздирали на части два враждующих семейства, Панчатики и Канчеллиери. Кроме того, многочисленные члены этих кланов и их сторонники

контролировали большинство коммун в прилегающей местности, что в случае необходимости позволяло им набирать из числа местных жителей целую армию вооруженных наемников и вводить ее в город. Веками политическую жизнь Пистойи обусловливала яростная вражда между Панчатики и Канчеллиери, и ради сохранения власти над городом Флоренция считала целесообразным поддерживать это противостояние.

До 1494 года режим Медичи склонялся к семье Панчатики, и образование Флорентийской республики, разумеется, обернуло ход политических событий в пользу Канчеллиери. Однако впоследствии ситуация осложнилась, ибо несколько влиятельных флорентийских семей заключили в Пистойе союзы и соглашения, весьма отличные от заключаемых в самой Флоренции. В частности, Канчеллиери могли рассчитывать на поддержку преданных сторонников Медичи, то есть паллески (pallesci),[27] тогда как их противники выступили за Панчатики. В результате политика Флоренции в отношении Пистойи — и прежде не отличавшаяся внятностью — станет нерешительной и двусмысленной.

Еще больше ситуацию осложняло поведение соседей. Клан Вителли из Читта-ди-Кастелло имел прочные родственные связи с Панчатики, а после казни Паоло Вителли его брат Вителоццо, как утверждают, вербовал изгнанных представителей рода Панчатики на войну с пизанцами и в 1501 году даже направил своих солдат против Канчеллиери. В действительности обе фракции вполне могли превратить Пистойю в прибежище врагов республики — худший сценарий трудно было и вообразить.

Ситуация накалилась до предела в августе 1500 года, когда Канчеллиери — благодаря умелому использованию артиллерии и силам подкрепления, присланного из Болоньи герцогом Джованни Бентивольо, — после недели ожесточенных боев удалось изгнать Панчатики из Пистойи. Однако до окончательной победы было еще далеко: засев в соседних крепостях, Панчатики энергично и небезуспешно сопротивлялись. После этих событий Флоренция пришла в полное замешательство: успехи Канчеллиери несомненно радовали правительство и в то же время тревожили, потому что победители не спешили выполнять требования республики. Поэтому в феврале флорентийцы решили послать в Пистойю четырех представителей, которые, однако, отказывались отправляться в путь без вооруженного эскорта, способного отогнать повстанцев. Очевидно, Макиавелли оказался в числе представителей, двое из них входили в состав Десятки, участие секретаря Комиссии Свободы и Мира (Died di Libertae Pace)[28] объяснялось тем, что Флоренции угрожала огромная

опасность из-за рубежа.

Несомненно, Чезаре Борджиа был человеком весьма одаренным, отважным и беспощадным. Второй сын кардинала Родриго Борджиа и почтенной Ванноццы де Каттанеи стал правой рукой отца, едва тот был избран понтификом Александром VI — Родриго открыто и беззастенчиво подкупил всех сговорчивых членов конклава, собравшегося после смерти папы Иннокентия VIII. И все папские интриги плелись лишь ради того, чтобы непрестанно усиливать влияние его семейства. Подобная деятельность требовала абсолютной беспринципности, и Чезаре с легкостью ее проявлял. Обман, предательство, подкуп и убийство только отражали его крайне прагматичный подход к политике, и все же некоторые подвиги Чезаре повергали его современников в шок, но скорее в силу их огромного успеха, нежели аморальности.

Примкнув к тогда еще победоносному Людовику XII, Чезаре заполучил в жены даму из французской королевской семьи и титул герцога Валентинуа (в Италии его называли II Valentino); но что более важно, теперь он мог использовать военные ресурсы Валуа. При моральной, финансовой и юридической поддержке отца и военной мощи французов он с 1499 и до конца 1500 года провел серию молниеносных кампаний. Борджиа подчинил непокорную Романью (формально входившую в папские владения, но на деле управляемую несколькими псевдонезависимыми сообществами), захватил Имолу, Пезаро, Равенну и Форли, где ему упорно сопротивлялась задиристая Катарина Сфорца, но затем сдалась и она.

Чезаре, точно рассчитав время, нанес удар, когда венецианцы, противившиеся его экспансионизму, поскольку сами вынашивали планы насчет Романьи, увязли в войне с Османской империей. Даже после того, как Чезаре получил из рук папы римского титул герцога Романьи, было очевидным, что им руководила неутолимая страсть к захвату новых и новых территорий (та же страсть, какую он испытывал к власти, деньгам и женщинам) и что в конечном счете он хотел править всей Центральной Италией. Неудивительно, что Флоренция с растущей тревогой наблюдала за успехами II Valentino, особенно если учесть, что благодаря своим завоеваниям Чезаре превращался в крайне опасного соседа молодой республики.

К концу 1500 года поползли слухи о том, что Борджиа якобы собирается вторгнуться в Тоскану, а его возможной целью может стать Пистойя. Флоренция боялась, что жители города «кинутся в объятия герцога», хотя никто не знал наверняка, какая из двух семей охотнее поддержит Чезаре. С одной стороны, было

известно, что Панчатики сговорились с поборниками Борджиа, Вителоццо Вителли и Ливеротто да Фермо одолеть Канчеллиери. Но, с другой стороны, они обвинили Канчеллиери в том, что те согласились помочь герцогу выбить Панчатики из их крепостей. Очевидно, необходимо было что-то предпринять, в противном случае конфликт в Пистойе мог привести к краху Флорентийской республики. В итоге во время гонфалоньерата Пьеро Содерини (в марте — апреле 1501 года) было принято решение поддержать возвращение Панчатики.

Последние охотно принимали помощь Содерини еще во времена предыдущего правительства, когда отец Пьеро, Томмазо, был преданным сторонником Медичи. Хотя некоторое время симпатии гонфалоньера были на стороне более популярной фракции. Действительно, «движимый состраданием», народ Флоренции стал на сторону Панчатики, тогда как многие представители богатых семейств, хоть и не самых «мудрых», поддержали их оппонентов. В апреле Синьория взялась за дело: во владениях Флоренции была набрана крупная армия наемников, которую вместе с флорентийскими представителями, уполномоченными исполнять решения правительства, направили в Пистойю. В результате две враждующие группировки заключили шаткое перемирие. Также была предпринята попытка реформировать городское управление, хотя Канчеллиери продолжали контролировать Пистойю, а Панчатики отсиживались в крепостях. И все же, вынудив главных лидеров Канчеллиери прибыть во Флоренцию, Содерини сумел пусть на время, но разрядить обстановку.

Ситуация в городе урегулировалась далеко не сразу. В мае Чезаре Борджиа, захватив Фаэнцу и казнив ее молодого правителя, совершил небольшой набег на земли Болоньи, а затем отправился в Тоскану. Предположительно он намеревался двинуться дальше и захватить Пьомбино, расположенный на побережье Тирренского моря. Введя в заблуждение малочисленные силы, которым было приказано задержать его наступление, Чезаре двинулся на юг, оставляя позади себя опустошенные земли. Его прибытие в Кампи, что в нескольких милях от Флоренции, посеяло в городе в панику, хотя кое-кому выходка герцога пришлась по душе. Несомненно, группа недовольных оптиматов (ottimati) во главе с несколькими ярыми сторонниками Канчеллиери намеревалась вынудить правительство созвать парламент и с помощью Борджиа установить олигархический режим.

Возможно, они рассчитывали на то, что их союзники из числа Канчеллиери распахнут городские врата перед Чезаре, но шаги,

предпринятые Содерини несколькими неделями ранее, в итоге лишили их и Борджиа необходимой политической поддержки. Чезаре заявил флорентийским послам, что вторгся на территорию республики по настоянию своих офицеров — Вителоццо Вителли и Паоло Орсини; причем первый жаждал отомстить за смерть брата, а второй пытался подготовить почву перед возвращением своего родственника Пьеро де Медичи. Играя заранее продуманную роль в пьесе Чезаре, Вителли убедил дипломатов в том, что сам хотел лишь получить сатисфакцию. Тех «немногих горожан», кто значился в его черном списке, не пришлось ни убивать, ни калечить. Орсини, напротив, настаивал на преимуществах, которые обретут флорентийцы, воспользовавшись его услугами в собственных интересах.

Послы не пришли в особый восторг, так как полагали, что кондотьеры лукавили только затем, чтобы посеять в городе «распри и разлад». Чезаре ожидал в Кампи вестей о смене режима во Флоренции, но прибывшая делегация сторонников Канчеллиери сообщила, что все пропало. Теперь, когда его планам не суждено было сбыться, Борджиа решил обратиться к более достижимым целям, но прежде — заставить флорентийцев подписать контракт, который на три года наделял его званием капитан-генерала, а также давал постоянное войско и годовое жалованье в размере 36 тысяч дукатов. Такие расходы Флоренцию бы просто разорили. Но флорентийцы в который раз пообещали Людовику XII выплатить все, что задолжали его армии после неудачной кампании против Пизы, и взамен просили, чтобы король приказал Чезаре отступить. Перед столь мощным нажимом Борджиа ничего не оставалось, как уступить, и он уехал, не получив, кроме никчемного контракта, ни единого гроша. В кои-то веки союз с Францией пригодился Флоренции.

«Обласкан небом и фортуной» — так Макиавелли описывал Борджиа в письме, написанном в середине мая и адресованном флорентийским послам в Пистойе. Видимо, в силу весьма тесных отношений с «госпожой удачей» Чезаре весьма заинтриговал Никколо, равно как и поверг в ужас его сограждан. Однако, кроме раздумий над везением Борджиа, Макиавелли хватало и иных забот. Как мы уже видели, он посетил Пистойю в феврале, а с июля по октябрь бывал там еще не менее трех раз. 125 писем секретаря Десятки свидетельствует о том, что Пистойе он уделял особое внимание. И хотя Никколо бывал в городе, оказавшемся на грани гражданской войны, в качестве подчиненного флорентийских послов, собранные им сведения во многом определили дальнейшие решения правительства.

Правда, его доклад De rebus Pistoriensibus («О положении дел

в Пистойе») не раскрывает многих мыслей Никколо, так как представляет собой скорее перечень фактов, нежели размышления о способах преодоления кризиса. Однако совершенно очевидно, что в политику Флоренции в отношении Пистойи он внес свою лепту. Письмо Десятки своим послам от 26 октября начинается словами: «Согласно тому, что сегодня утром доложил нам Никколо Макиавелли…», в нем также предписывалось пропустить в город «как можно больше Панчатики» и в то же время предпринять все возможное для усмирения сельских жителей. «Поскольку деревенщина никому не подчиняется», приказ означал введение войск в различные поселения. Еще сильнее взгляды Макиавелли повлияли на две краткие сводки (sommarii), составленные флорентийскими послами. По сути, они предлагали сформировать в Пистойе «народное» правительство, отстранить от власти наиболее влиятельные кланы и, заставив их сменить фамилии и гербы, положить конец распрям. Кроме того, по их мнению, город следовало освободить от всех налогов на десять лет в целях восстановления экономики.

Но эти предложения так и не были воплощены в жизнь, поскольку флорентийская власть предпочла действовать привычным методом и не пресекать раздоры. Правительство республики не имело ни материальных средств, ни политической воли для оказания давления на враждующие кланы Пистойи. Спустя пятнадцать лет Макиавелли, пользуясь примерами из классической Античности, прокомментировал ситуацию так:

«Избавить город от междоусобиц… можно тремя путями: убить зачинщиков, как поступали они [римляне]; изгнать их или склонить к перемирию и взять с них обещание более не бунтовать. Из трех путей последний — наиболее опасный, ненадежный и бесполезный. Лучшим примером такого положения является захват Пистойи… и первый путь был бы, несомненно, самым безопасным. Но поскольку подобные решения требуют могущества и дальновидности, слабая республика на такой шаг не способна. Действительно, лишь после длительной борьбы она решится пойти по второму пути».

Во времена смуты в Пистойе Макиавелли обдумывал еще одно оригинально решение. В обращении ко Второй канцелярии, составленном 26 октября 1501 года, он предлагал следующее: чтобы ослабить хватку Панчатики и Канселлиери, Флоренции следует завербовать по две тысячи мужчин от каждой фракции и отправить их на захват Пизы. Никколо, вероятно, уже размышлял над созданием будущего ополчения, но когда его проект увидел свет, речь о Пистойе уже не шла. Вместо этого Флоренция начала

искать ополченцев в других частях своих владений, и, что любопытно, те же области, что на время предоставили рекрутов, весной 1501 года помогли навести порядок в Пистойе.

Если флорентийцы полагали, что Борджиа они больше не увидят, то их ожидало настоящее потрясение. 3 сентября ему покорился Пьомбино, и теперь Чезаре угрожал Флоренции и с юга, и с севера. Более того, Борджиа контролировал ключевой морской путь из Чивитавеккиа в Геную и мог переправить свои войска в Пизу по морю. Но в это время Чезаре, по-видимому, сосредоточился на завершении захвата Романьи и следующей целью избрал город Камерино, расположенный в опасной близости от юго-восточной границы Флоренции. Для завершения намеченного он обратился к герцогу Урбинскому Гвидобальдо да Монтефельтро с просьбой о предоставлении ему солдат и артиллерии, причем сам Гвидобальдо был не в том положении, чтобы отказать.

Вероятно, герцог уступил в надежде, что тем самым убережет собственное государство от хищных лап Чезаре. Но он лишь принимал желаемое за действительное. Как напишет из Рима Агостино Веспуччи своему другу Никколо Макиавелли, Борджиа «послал Вителоццо совершить то, что вскоре благоразумно захочет сделать сам», к тому же Камерино опасался за свою участь, а Урбино был «на очереди». Почуяв неладное, флорентийцы заключили с Францией очередной оборонительный союз. Людовик XII согласился подписать соглашение вопреки своим опасениям, так как все еще ждал, что республика заплатит ему 50 тысяч дукатов за неудавшуюся осаду Пизы, однако монарх был обеспокоен тем, что в случае его отказа Флоренция может попытать счастья, обратившись к императору Максимилиану Габсбургскому. Если учесть, что в то время Максимилиан объединился с Испанией в борьбе за Неаполитанское королевство, Людовик стремился сохранить свободный путь в Южную Италию.

Тем временем Чезаре присоединился к походу французов на Неаполь, поручив завершить дела на севере страны своим офицерам. В мае 1502 года флорентийское правительство, прослышав о том, что Вителоццо Вителли сговорился с недовольными жителями Ареццо — средоточия сторонников Медичи, направило 5 мая Макиавелли разведать обстановку, наделив его полномочиями принимать любые меры, какие он сочтет нужными, для упрочнения власти Флоренции в регионе. Ездил туда Никколо или нет, доподлинно неизвестно, так же как до сих пор не сохранилось и не было обнаружено ни одного письма, где бы об этом упоминалось. Если Макиавелли и вправду

ездил в Ареццо, то он, должно быть, либо небрежно отнесся к своим обязанностям, либо недооценил назревшую опасность.

4 июня город взбунтовался и сразу же распахнул ворота перед войсками Борджиа под командованием Вителоццо. Большинство коммун Вальдикьяны — территории, растянувшейся на юго-восток от Ареццо до самых папских земель, — также восстали и сдались Вителли без боя. Когда вести об этих событиях дошли до Пистойи, в городе вновь начались столкновения. Флорентийские послы беспомощно наблюдали за тем, как по улицам прокатилась волна грабежей и жестоких убийств, тогда как пизанцы, воспользовавшись моментом, захватили несколько ключевых крепостей. Флорентийская республика оказалась на краю пропасти, и Борджиа оставалось лишь слегка подтолкнуть ее. Что примечательно, в Ареццо появился Пьеро де Медичи, очевидно предвкушавший свое неминуемое возвращение в родной город.

Однако Чезаре всех перехитрил: стремительным и дерзким маневром он захватил беззащитный Урбино — Гвидобальдо да Монтефельтро бежал из города в одной рубахе. Но прежде чем выступить в поход, он послал во Флоренцию депешу с требованием срочно направить к нему послов для обсуждения вопросов особой важности. Напуганная республика тут же выбрала для этой миссии Франческо Содерини, епископа Вольтерры, в сопровождении секретаря Десятки Никколо Макиавелли. Не осталось никаких документов, подтверждающих, что эти двое ранее встречались, но нескольких дней, проведенных вместе, хватило для возникновения между ними доверительных отношений, которым, возможно, в немалой степени способствовало сходство политических взглядов. В скором времени дружба с будущим кардиналом Франческо принесет Никколо немалые дивиденды. Флорентийские послы отбыли 22 июня и узнали о падении Урбино уже в Понтассьеве. В письмах Синьории, составленных Макиавелли и подписанных Содерини, послы не могли не отметить личные качества Борджиа, его «хитрость и проворство вкупе с величайшей удачливостью». Они прибыли в Урбино вечером, два дня спустя, и тут же были допущены к Чезаре.

Борджиа, будучи мастером разного рода инсценировок, принял гостей за закрытыми дверями в зале, тускло освещенном факелами. Проявив присущую ему надменность и коварство, он отчитал Содерини и Макиавелли за проступки Флоренции в отношении его — включая и невыплату республикой полагавшихся ему 36 тысяч дукатов и обещанных годом ранее в Кампи, — выкрикнув: «Ваш город ненавидит меня; он и вправду

держит меня за убийцу!» Затем Чезаре сказал: «Между нами не может быть компромисса, мы станем либо друзьями, либо врагами». Чтобы прояснить сказанное, Борджиа напомнил флорентийцам, что в прошлом году он с легкостью мог вернуть к власти Медичи или же установить во Флоренции собственную диктатуру, если бы того пожелал. Хоть он и воздержался от подобных шагов, все же ему не хотелось бы иметь ни малейших сомнений в доброжелательном к нему отношении республики, ибо его владения граничат с Флоренцией на большой протяженности.

В ответ на эту гневную тираду смущенные послы принялись защищать свое правительство и напомнили Борджиа о целях его армии в Вальдикьяне. С бесстрастным лицом Чезаре резонно возразил, что ничего не знал о произошедшем в Ареццо, не отрицая, что Вителли — на самом деле один из его людей, и выразил надежду, что его командир завершит порученное ему дело. Более того, флорентийцам не стоит дожидаться его благосклонности, поскольку они ее недостойны. Что же касается его поступков, и Бог, и люди его простят, хотя ему плевать на Божье прощение, ибо люди всегда прощают победителей, насмешливо добавил Чезаре. В этот момент послы решили пустить в дело свой козырь, а именно оборонительный союз с Францией. Никакого впечатления на Борджиа это не произвело, он остался непреклонным, сказав: «Я лучше вас знаю, что у короля на уме: он вас предаст». Двухчасовая аудиенция плодов не принесла, и послы удалились «в безрадостном настроении».

Несмотря на апломб, было ясно, что Борджиа встревожен вероятным вторжением Франции, которая вполне могла стать на защиту Флоренции. На следующий день к флорентийским послам явились двое помощников Чезаре, Джулио и Паоло Орсини. Угрозами и уговорами они попытались убедить их в том, что французский король намерен тянуть с отправкой подмоги как можно дольше и посему дал Борджиа карт-бланш, если только он будет действовать без промедления, а доказательство тому — самоуверенность герцога. Солдаты Чезаре способны преодолеть по сорок миль в сутки и застать Флоренцию врасплох. В любом случае, добавили они, если Людовик и решится выступить, армия Борджиа настолько многочисленна и хорошо оснащена артиллерией, что французы скорее предпочтут сражаться на их стороне, нежели противостоять им.

В тот же вечер Макиавелли и Содерини вновь провели переговоры с герцогом, который повторил свои прежние требования и предъявил ультиматум: республика в течение четырех дней должна дать ему ответ, в противном случае она

испытает на себе всю мощь его гнева.

Посоветовавшись, послы решили, что Содерини останется с неучтивым хозяином, а Макиавелли поспешит во Флоренцию за дальнейшими инструкциями. На самом деле они пытались протянуть время.

Между тем они отправили на родину письмо, обрисовав ситуацию и составив яркий портрет Борджиа:

«Этот государь прекрасен, величествен и столь воинственен, что всякое великое начинание для него пустяк. Он не унимается, если жаждет славы или новых завоеваний, равно как не знает ни усталости, ни страха. Люди узнают о его прибытии уже после того, как он прибыл. Солдаты любят его, и он собрал лучших в Италии, благодаря чему грозен и не ведает поражений, а также, следует добавить, снискал неизменную благосклонность Фортуны».

Прежде чем Макиавелли и Содерини отправились к Борджиа, республика в ответ на его угрозу уже приступила к укреплению оборонительных рубежей и с целью блокировать продвижение Вителли по долине Арно отправила к Ареццо войска под командованием решительного Антонио Джакомини. Правительством Флоренции был также послан дипломат к Людовику XII с просьбой о помощи. Король счел, что Борджиа зарвался и, опасаясь помех с его стороны в будущем, согласился выслать подкрепление и отдал приказ Чезаре покинуть Ареццо. И все же стоявшие лагерем близ Милана французские войска спешно выступили вопреки приказу Людовика, а некоторые флорентийцы в страхе бежали из города. Оставшиеся готовились к возможной осаде. Но что еще хуже, правительство никак не могло выбрать посла для отправки к французам в Милан. В конце концов, исполнить поручение вызвался Пьеро Содерини — в то время член Десятки — ив одиночку отправился на север Италии.

Флоренция старалась выиграть время, и постепенно развязная самоуверенность Борджиа все больше походила на наигранную. Франческо Содерини мог угодить в щекотливое положение в Урбино, но Чезаре постепенно пошел на уступки, пытаясь убедить епископа в том, что союз с ним и вправду выгоден флорентийцам. Вероятно, узнав от французских друзей об успешных переговорах республики с Людовиком И, Борджиа решил преуменьшить их важность и стремился убедить Содерини в том, что французских войск окажется слишком мало и тогда они сдадут Флоренцию на его милость или же, напротив, слишком много и в таком случае флорентийцы не смогут их прокормить. В письмах правительству Содерини сообщал, что герцог не требует ничего, кроме условий, принятых в Кампи.

Однако правительство не согласилось их выполнить, и епископ рассказывал, как Борджиа переменился в лице, узнав, что Флоренция ответила отказом. И теперь, когда Содерини сумел убедить французских командиров выступить на стороне Флоренции, республика обрела уверенность.

В самом городе полным ходом шли политические преобразования, начавшиеся в связи с наступлением Борджиа. Быстрые кадровые перестановки на многих должностях нарушали политическую стабильность. При правлении Медичи таких сложностей не возникало, потому что в государстве, которым официально управляло свободное правительство, реальная власть находилась в руках одного клана и его приспешников. В целом среди членов Большого Совета могло оказаться больше представителей разных слоев, чем в прежнем, и все же он не был способен выносить неотложные решения, а двухмесячный срок полномочий не гарантировал никакой политической преемственности. Ранее предлагались различные варианты конституционных реформ, в том числе создание нового органа, который вместо Большого Совета ведал бы финансовым законодательством, но ни одно предложение так и не было реализовано. В поисках образцов стабильной исполнительной власти флорентийцы вновь обратились к опыту Венецианской республики. В Венеции глава исполнительной власти, дож (doge), избирался пожизненно, хотя его власть ограничивалась системой государственных сдержек и противовесов.

К тому же идея о пожизненном Гонфалоньере Справедливости нравилась многим: для одних это стало бы первым шагом к созданию долгожданного закрытого правительства (governo stretto), а для других — сторонников многопартийности (governo largo) — благоприятной возможностью сохранить конституцию. Как бы то ни было, все ждали, что новый правитель вернет Пизу, найдет выход из финансового кризиса и сумеет дать отпор внешним врагам, таким как Борджиа. На совещании 2 июля 1502 года Пьетро Ардиньелли внес предложение об избрании несменяемого гонфалоньера. 26 августа Большой Совет одобрил это предложение без особых возражений, и уже вскоре был составлен список из 236 подходящих кандидатур. Своими действиями Борджиа все же склонил Флоренцию к смене правительства, но (и это вновь доказывает, что нужно знать меру своим желаниям) результат этого весьма отличался от того, который он себе представлял во время аудиенций с флорентийскими делегатами в Урбино.

Глава 6
Пустослов

Подлинная ненависть, которую Его Святейшество всегда питал к нему [Чезаре Борджиа] общеизвестна, и [Папа Юлий II] долго не мог забыть своего десятилетнего изгнания. Но герцогом руководит истая самоуверенность и вера в то, что слова других не столь бессодержательны, как его собственные.

Никколо Макиавелли, после избрания папы Юлия II

Долгожданные французские войска прибыли в Ареццо в конце июля 1502 года, и Вителоццо Вителли вопреки своему первоначальному бахвальству прервал поход и, по приказу Борджиа, отошел на папские земли. Самому Чезаре пришлось отправиться в Милан на встречу с Людовиком XII и отчитываться за свое поведение, свалив вину на Вителли. Последнему король приказал явиться лично, но кондотьер не приехал, сославшись на несуществующую болезнь. Его желчность и вправду превратилась в своего рода недуг: он никогда не забывал обид и глубоко презирал Чезаре за то, что тот бросил его на съедение волкам. Кроме того, амбиции Борджиа все больше нервировали не только Вителли, опасавшегося рано или поздно стать его жертвой, но и многих других мелких правителей Центральной Италии.

Освобождение Ареццо прибавило Макиавелли новых хлопот. Флорентийцы опасались, что Людовик не вернет им Ареццо и другие земли, пока республика не выплатит ему остальную часть долга за осаду Пизы. Словно подтверждая эти подозрения, Имбо, командующий силами французов в Ареццо, отнюдь не собирался в обозримом будущем возвращаться в город и всеми способами демонстрировал его жителям свою лояльность. Как и в случае с осадой Пизу в 1500 году, не было никаких гарантий того, что французский полководец в Ареццо исполнит распоряжение короля. Но на этот раз флорентийцы запротестовали, вынудив Людовика сменить Имбо на более надежного месье де Лангра. В середине августа Макиавелли побывал вместе с ним в Ареццо и

пробыл в городе несколько дней, а спустя месяц вновь задержался там еще почти на неделю. В это время куда более важные дела отвлекали внимание властей от зачинщиков, и, как 8 сентября Никколо напишет послу Пьеро Содерини, Флоренция убеждала французов оставить в регионе достаточно войск для охраны вновь обретенных республиканских владений. В конце сентября, согласившись оставить в городе 150 копий[29] (от 750 до тысячи всадников), Лангр отбыл.

Восстание в Ареццо послужит весьма продуктивным периодом для формирования политического мышления Макиавелли. Спустя год он напишет «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны» — колкое и пронизанное несколько грубоватой прагматикой произведение в форме докладной записки флорентийским властям. Вновь черпая вдохновение в излюбленных древних трактатах, Никколо на примерах из истории Древнего Рима сравнил то, как флорентийцы поступили с мятежниками. Полагая, что в любую эпоху люди неизменны и охвачены одними и теми же страстями, он утверждал, что в той или иной ситуации их действия уподобятся уже заранее предопределенному шаблону и потому к ним можно применять сходные меры.

Когда римлянам приходилось иметь дело с повстанцами, они проявляли милосердие, если это было выгодно, но обычно разрушали непокорные города, а жителей высылали в Рим или же ввозили столько иноземцев, что местное население оказывалось в меньшинстве. Макиавелли призывал флорентийцев последовать примеру народа, «который был владыкой мира, особенно по части того, как научить вас правлению», и предлагал проявить снисхождение к таким городам, как Кортона и Борго-Сансеполькро. И при этом считал, что было бы разумнее разрушить вечно бунтующий Ареццо и разогнать его жителей, поскольку «римляне находили, что надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истребить и что всякий иной путь грозит величайшими опасностями». За год до того, как записать эти слова, Никколо отправил флорентийским послам в Ареццо письмо, убеждая их схватить как можно больше мятежников, «сколько бы их ни было, даже если город опустеет», поскольку «лучше на двадцать больше, чем на одного меньше».

Во второй части сочинения Макиавелли резко меняет тему и углубляется в текущую политическую ситуацию. Необходимость в решительных действиях, пояснял он, связана не столько с вероятными угрозами из-за Альп, сколько с очевидными опасностями, притаившимися у самого порога: Чезаре Борджиа,

несомненно, стремился стать владыкой Тосканы и, если учесть, что папе римскому — отцу Борджиа — осталось недолго, он, скорее всего, при первой же возможности доверится судьбе и рискнет. Ведь герцог был не только бессовестным, лицемерным интриганом, каких поискать, но и — как однажды выразился кардинал Франческо Содерини — на пару с понтификом «не упускал ни единой возможности для извлечения наибольшей выгоды».

Заключение в записке отсутствует, но, судя по остальному тексту, можно сделать вывод, что в нем автор вновь повторил свое предложение покарать Ареццо во избежание того, чтобы город еще раз не стал плацдармом Борджиа для захвата всей Тосканы. В этом сочинении словно в капле воды отразился склад ума Никколо. Очевидно, его политические воззрения уже стали развиваться в определенном направлении, благодаря чему он в итоге и прославится. Он будет неизменно настаивать на одном: если Древний Рим, и в особенности Римская республика, разработал систему управления, позволившую ему завоевать мир, то все деяния римлян можно — и даже нужно — повторять. Конечно, не он один был одержим Античностью, однако, анализируя происходившее вокруг, Макиавелли в качестве доводов неизменно приводил исторические аналогии. И в одном он напоминал политологов — в любви к отвлеченным рассуждениям.

В этом сочинении Макиавелли рассуждал гораздо увереннее, нежели можно было ожидать от простого гражданского служащего, а временами даже несколько заносчиво. Например, он писал: «[Борджиа] и не думал опираться на своих итальянских друзей, так как венецианцев он ценил низко у а вас [флорентийцев] еще ниже». Но Никколо знал, что может позволить себе говорить со всей прямотой, равно как и отдавал себе отчет в том, что его слова явно задевали сограждан вследствие политических перемен, произошедших во Флоренции осенью предыдущего года. 22 сентября 1502 года на должность пожизненного Гонфалоньера Справедливости Большой Совет избрал Пьеро Содерини, и многие приветствовали это решение. Содерини пользовался доброй репутацией отчасти потому, что, занимая пост гонфалоньера в прошлый раз, положительно проявил себя. Его считали политиком умеренных взглядов, и, несмотря на свое аристократическое происхождение, гонфалоньер всегда поощрял дебаты в именно в коллегии (collegi), а не в закрытых совещательных комитетах (pratiche). Его дипломатические способности были известны всем, к тому же именно благодаря им французы тем летом и дали себя уговорить

выручить Флоренцию. Более того, он был бездетным и потому не мог основать династию.

Для Макиавелли избрание Содерини станет судьбоносным, ведь он не только работал с его братом Франческо, но и служил под началом самого Пьеро, когда тот входил в состав Десятки. Никколо одним из первых сообщил Содерини о его назначении, когда тот еще исполнял обязанности посла в Ареццо. В своем письме Макиавелли выразил пожелание, чтобы новый гонфалоньер поскорее исполнил то, чего ждала от него Флоренция. Со временем они сблизились, причем настолько, что враги Никколо окрестили его «любимчиком» (таппеггпо) Содерини. Очевидно, «госпожа удача» все еще благоволила Макиавелли, и в будущем превратности судьбы сведут Никколо и Пьеро еще ближе.

Не успел новый глава исполнительной власти вступить в должность, как уже стало ясно, что решить все проблемы Флоренции ему будет нелегко. Чезаре Борджиа, в обмен на поддержку французского похода на юг Италии, добился монаршего прощения, а также получил разрешение захватить Перуджу, Болонью и Читта-ди-Кастелло (Камерино уже сдался ему) и обуздать могущественный клан Орсини. Полученный карт-бланш усилил позиции Чезаре, хотя формально он действовал в качестве главнокомандующего папской армии и подавлял восстания в городах. Однако сами мятежники не сидели сложа руки, так как боялись, что — по выражению одного из них — «дракон пожрет и их». Так, 25 сентября они собрались в замке Маджоне, что неподалеку от Тразимене, для обсуждения оборонительного и наступательного союза против герцога Романьи.

Довольно скоро Борджиа узнал об этих приготовлениях и решил действовать на упреждение, объединившись с Венецией и Флоренцией.[30] После бесплодных споров о необходимости отправлять к Чезаре посла республика поручила Десятке подыскать для этой миссии особого человека. И вновь дело поручили Никколо Макиавелли: 5 октября он должен был отправиться в Имолу, где надлежало как можно скорее возродить миролюбивые отношения с герцогом, хотя флорентийцы уже отказались помогать заговорщикам. Макиавелли должен был убедить Чезаре обеспечить флорентийским купцам безопасный путь через его владения и, если дойдет до требований Борджиа, в ответ ничего не обещать.

Никколо отправился в дорогу уже на следующий день и, оставив позади слуг и багаж, чтобы двигаться быстрее, прибыл в Имолу 7 сентября. И тут же, не сменив «платье для верховой

езды», он попросил аудиенции у герцога, который принял его гораздо дружелюбнее, чем в июне прошлого года. После традиционного обмена любезностями Борджиа принялся ругать своих взбунтовавшихся союзников, обвинив их — в особенности Вителли и Орсини — в том, что год назад именно они спровоцировали его выступить против Флоренции, и тем самым возложил на них вину за недавние междоусобицы в Вальдикьяне. Явив неуемную гордыню, Чезаре презрительно отозвался о своих врагах, назвав их «сборищем недотеп», добавив, что король Франции и папа римский «развели под ним такой костер, что погасить его одними только ими [заговорщиками] не хватит». Еще Борджиа заявил, что будет рад стать союзником Флоренции, как только Орсини и Вителоццо уйдут со сцены, хотя, как заметил Макиавелли, ни о каких деталях возможного соглашения герцог так и не упомянул.

Гордыня Борджиа пришлась явно не к месту, когда спустя несколько дней в город просочились слухи о том, что во всех его владениях разразились бунты. Урбино и Камерино сдались бывшим правителям, а 17 октября армия Борджиа под командованием дона Уго де Сардоны и дона Мигеля де Кореллы[31] потерпела сокрушительное поражение под Фоссомброне от рук правителя Перуджи Джанпаоло Бальони. В Маджоне мятежники условились собрать 9 тысяч пехотинцев и 100 легких кавалеристов, а также «пустую» (то есть резервную) армию из 700 тяжело вооруженных всадников — Чезаре язвительно скажет, что «пустой» значит «несуществующий». Сам Борджиа, если верить Макиавелли, мог собрать около 100 тяжело вооруженных всадников и 8500 пехотинцев и даже отправил вербовщиков во все края, в том числе к швейцарцам и французам в Милан. Благодаря этим усилиям и несмотря на фиаско под Фоссомброне, к концу месяца Чезаре имел около 4500 пехотинцев и 240 тяжелых всадников и 450 легких кавалеристов, и с каждым днем прибывали новые солдаты. Армия собралась более чем внушительная, став наглядным свидетельством того, насколько быстро Борджиа умел мобилизовать силы в случае опасности.

Макиавелли с самого начала догадывался, что поддержка Франции и папы римского означала одно: с Борджиа еще не покончено. И 9 октября Никколо письменно известил Флоренцию о том, что было бы неразумно медлить с заключением союза с герцогом: «Ясно, что [герцог] пойдет на любое соглашение». В ответ флорентийцы написали, что, дескать, не могут ничего решить без санкции Людовика XII. Макиавелли лишь покачал головой, поняв, что возможность упущена, и продолжал наблюдать за тем, как дела Чезаре шли на лад. Никколо все же

предупредил правительство, заявив: «С каждым разом работать на этом поприще все труднее».

Находясь при дворе Борджиа, Макиавелли о многом задумался, в особенности о военном деле. Огромное впечатление произвел на него парад 6 тысяч рекрутов Борджиа, и он сообщил во Флоренцию, что герцог смог собрать такое войско на своих землях — с каждого дома по человеку, и каждый был «готов приступить к службе в двухдневный срок». Не исключено, что Чезаре намеренно организовал этот спектакль, чтобы поразить флорентийского посла, и Никколо, вне сомнения, был поражен. Хотя свойственное ему недоверие к наемным войскам едва ли не заставило Макиавелли признать правоту Чезаре и упустить одну важную деталь: герцог действительно призвал на военную службу людей из своих владений, но едва ли эти силы можно было назвать ополчением — большинство из них составляли опытные солдаты, ветераны многих сражений. Борджиа на самом деле сумел воспользоваться преимуществом, проистекавшим из владения краем, где вербовались лучшие в Италии солдаты, — Романья веками поставляла в армию наемников.

Возможно, идея создания регулярной армии вновь захватила Макиавелли 16 октября, когда Чезаре попросил Никколо передать Десятке его требование прислать к границам Читта-ди-Кастелло войска для набора новых солдат, так поступил он на своих землях. Макиавелли ответил, что сомневается в способности республики собрать такую армию ввиду нехватки людей и отсутствия политической воли. Однако в своем письме Десятке Никколо отметил, что Флоренции следует принять предложение Борджиа, добавив: «Молюсь, чтобы Ваша Светлость сочла, что слова сии продиктованы не самонадеянностью или желанием поучать Вас, но исконной преданностью, какую надлежит испытывать всякому к своей родине». Спустя три дня пришел ответ, в котором сообщалось, что Флоренция отправила в Борго-Сансеполькро армию с двумя пушками и при всем желании «нет никакой возможности» совершить большее в ответ на просьбу Борджиа. Республика, как всегда, отражала военную угрозу первыми попавшимися средствами, которые зачастую оказывались явно неподходящими для этого.

Одних письменные комментарии Никколо восхитили, других довели чуть ли не до белого каления. 11 октября Никколо Валори направил Макиавелли послание, в котором хвалил его за «прямой, обоснованный и правдивый доклад, на который, несомненно, можно положиться», добавив, что «Ваше суждение о тамошнем положении крайне важно, равно как и Ваше мнение касательно происходящего во Франции и намерений герцога».

Ранее Валори, заседавший в Синьории с сентября по октябрь, работал с Макиавелли в Пистойе и с тех пор ценил его сообразительность и острый ум, которые вновь шли во благо республики.

Однако непосредственность Никколо, напротив, не раз тревожила Бьяджо Буонаккорси, самого преданного его друга в канцелярии. В частности, 28 октября, вновь напоминая Макиавелли писать почаще, он предупреждал о том, что выводы Никколо о положении Борджиа были «слишком смелыми» и встречали критику, потому что противоречили вестям, ходившим по Флоренции. В заключение он советовал Никколо «заткнуться» (cazovi nel fogate), то есть ограничиться сухим перечислением фактов, а право высказывать суждения оставить за другими. Больше всего Буонаккорси опасался не столько ошибочности анализа Макиавелли, сколько его точности, поскольку в последнем случае многие кабинетные политики Большого Совета станут посмешищем, а именно от этих людей в немалой степени зависела его, Никколо, карьера. Но Макиавелли пропускал все предостережения друга мимо ушей, вновь и вновь проявляя поразительное умение бесить совсем не тех, кого следовало.

Никколо все сильнее восхищала самоуверенность Борджиа, однако он обнаружил, что разузнать что-либо в Фоссомброне нелегко, «ибо при дворе герцога все держат язык за зубами». Чезаре обыграл своих врагов, в особенности трусливого Вителли, назвав его человеком, который «только и умеет, что разрушать беззащитные селения и грабить тех, кто не осмеливается дать ему отпор». Тем не менее слухи об успехах мятежников множились, и, как признавался Макиавелли, «я могу лишь писать об услышанном и принимать на веру лишь то, что удается узнать». Похоже, самоуверенность Борджиа оказалась всего лишь блефом, однако он согласился предоставить флорентийским купцам безопасный путь через свои земли.

Успехи Макиавелли могли считаться лишь умеренными, ибо означали, что он сумел выполнить только одну из непростых задач своей миссии, хотя республика, по-видимому, не проявляла к его деятельности особого интереса, невзирая на то, что в полученных Никколо наставлениях торговый путь в Левант назывался не иначе как «желудком» Флоренции. И все же флорентийцы, вопреки советам Макиавелли, полагали, что дни Борджиа сочтены, а потому добиваться от него окончательного соглашения не имело смысла. «Ты болван», — напишет своему другу Буонаккорси в середине ноября, насмехаясь над его попытками убедить власти заключить союз с герцогом.

Действительно, прощаться с Борджиа было рано — он

готовился нанести ответный удар. Несмотря на бунты в Урбино и Камерино, большая часть земель благодаря сочетанию репрессивных мер и умелого руководства хранила верность властителю. Более того, войска, посланные Людовиком XII на помощь Чезаре, уже были в пути, а папа римский проявил щедрость, ассигновав сыну часть церковного состояния. Мятежники, поняв, что шансов на победу уже не остается, один за другим пытались заключить мир с Борджиа. Первыми сдались Орсини и попросили Чезаре лично прибыть на переговоры. «Они смеются надо мной», — заявил герцог в беседе с Макиавелли 23 октября и обрушил на заговорщиков поток брани.

Два дня спустя в Имолу инкогнито прибыл Паоло Орсини и, очевидно, сумел уладить все разногласия с герцогом. «Но мне не известны ни его [Борджиа] истинные намерения, — писал Макиавелли, — ни то, что заставило его простить оскорбление, а их [Орсини] отбросить все страхи». 28 октября герцог, Вителли и Орсини подписали оборонительный союз (10 ноября Никколо сумел тайно раздобыть копию пакта). Бывшие мятежники согласились вернуть Чезаре Урбино и Камерино, а он пообещал вновь принять их на службу. По сути, соглашение принадлежало к разряду «простить и забыть», что, впрочем, не помешало Борджиа всего несколько дней спустя назвать Вителли «ядовитой змеей, позором Тосканы и всей Италии».

Неожиданный поворот событий привел Макиавелли в замешательство — он отчаянно желал разгадать намерения герцога. «Мне придется иметь дело с государем, который сам себе на уме, и потребуется время, чтобы проверить факты и ничего не выдумывать», — писал раздраженный Никколо в ответ на жалобы Десятки о том, что из Имолы приходит совсем мало писем. Но что еще хуже, он некоторое время болел, и его прошение позволить ему вернуться домой было отклонено — в ущерб его семейной идиллии. Его длительное отсутствие выводило из себя Мариетту, не говоря уже о сумме, потраченной Макиавелли на приобретение шелково мантии (uchettone), которую он заказал, чтобы произвести благоприятное впечатление при дворе Борджиа. Бьяджо Буонаккорси, на голову которого сыпались все жалобы Мариетты, тоже пришлось исполнить немало просьб Никколо, в том числе выслать ему копию «Жизнеописаний» Плутарха. Не имея четких свидетельств, можно предположить, что Макиавелли вновь решил обратиться к древним источникам в поисках ключа к загадочному поведению Борджиа.

К концу ноября, похоже, все складывалось в пользу Чезаре. Французские войска прибыли, мятежники признали его власть, а правители Урбино и Камерино сбежали. Спустя пару недель

Борджиа вместе с Макиавелли отправился в Чезену, видимо, сказывалась нехватка продовольствия в Имоле, и прислуга и армия герцога «глодала камни». Здоровье Никколо немного поправилось — отчасти благодаря 25 дукатам, посланным ему гонфалоньером Содерини, — и Макиавелли признавался, что так и не сумел разгадать планы Борджиа. Однако он предупреждал, что Чезаре «движется резво, когда на кон поставлены его интересы».

Сказанное Макиавелли подтвердилось уже считаные дни спустя, когда Рамиро де Лорака, свирепого воина, — бывшее доверенное лицо Борджиа в Романье и не знавшего пощады правителя — внезапно схватили, бросили в темницу, а спустя три дня обезглавили. В то время Никколо ничего не оставалось, как размышлять о причинах гибели Лорака, и он догадывался, что Чезаре сделал его козлом отпущения и казнил в угоду общественному мнению, едва тот завершит приказ господина подавить восстания в его землях. Никколо обладал удивительным умением собирать информацию и просто не мог упустить факта, что Рамиро казнили за его несомненное вероломство, жульничество и, что еще страшнее, за сговор с противниками Борджиа. И все же спустя годы, сочиняя «Государь», Макиавелли скажет, что решение Чезаре покарать Лорака в очередной раз подтверждало его политическую гибкость, поскольку «он хотел показать, что причиной всякой жестокости был не он, а безжалостная натура его соратников». В то время скомпрометированный Макиавелли изо всех сил старался поступить на службу и постепенно разглядел, что именно стояло за изобретательностью Борджиа.

Но Чезаре столкнулся с еще одной серьезной проблемой, словно предательства самых верных ему соратников было мало. 20 декабря тяжелая конница, посланная ему на подмогу Людовиком XII, двинулась на Милан, лишив герцога «войск более чем наполовину, а доброго имени на три четверти». Это неожиданное событие переполошило придворных Борджиа, но Макиавелли, несмотря на долгие беседы с французскими командирами, причин произошедшего так и не выяснил. Тем не менее Чезаре продолжил свой поход, сохранив при себе 5 тысяч швейцарских, немецких, гасконских и итальянских пехотинцев. О следующей цели герцога ходило множество догадок, однако вскоре выяснилось, что он направляется в Сенигаллию, которую Джованна да Монтефельтро приберегла для юного сына Франческо Мария делла Ровере, и в этом ей помогал генуэзский кондотьер, а в прошлом знаменитый флотоводец Андреа Дориа.

Узнав о приближении Борджиа, все трое сбежали, приказав

напоследок кастеляну сдать крепость. Чезаре прибыл к воротам Сенигаллии 31 декабря, и встретили его бывшие мятежники, Вителоццо Вителли, Ливеротто Эуфредуччи да Фермо и Паоло Орсини, которых он послал вперед захватить город. По некоторым свидетельствам, они замышляли убить предводителя, а уход французской кавалерии на самом деле спланировал сам герцог, чтобы новоявленные убийцы чувствовали себя в мнимой безопасности. Как бы то ни было, едва прибыв в Сенигаллию, Чезаре провел ловкий маневр: его солдаты оттеснили Паоло, Вителоццо и Ливеротто от их сил сопровождения, затем по условленному сигналу солдаты Борджиа схватили кондотьеров, связали, а потом расправились с их солдатами.

Прибывший в тот же вечер в Сенигаллию из Фано Макиавелли обнаружил, что в городе царил хаос. В кратком донесении правительству он заметил, что, по-видимому, пленники до утра не доживут. Его предположение оказалось верным: ночью по приказу Борджиа дон Микелотто задушил Вителли и Эуфредуччи. Орсини прожил на три недели больше — Чезаре и папа римский намеревались пленить семью Паоло, чтобы, как язвительно подметит Никколо, «можно было хорошенько повеселиться». Понтифик узнал о намерении сына накануне операции в Сенигаллии, и едва ему стало известно, что все прошло удачно, как глава клана Орсини в Риме был арестован и брошен в тюрьму. Вскоре дряхлый слепец и распутник, кардинал Джанбаттиста Орсини, считавшийся вдохновителем заговора в Маджионе, умер — по слухам, его отравили, — а папа конфисковал всю его собственность.

Макиавелли увиделся с Борджиа вскоре по прибытии в Сенигаллию и нашел герцога в прекрасном расположении духа. Чезаре сказал послу, что Флоренция должна благодарить его за то, что он избавил ее от «этих ядовитых сорняков, отравлявших Италию», а также потребовал, чтобы республика прислала ему Гвидобальдо да Монтефельтро, если тот скрывается во флорентийских владениях. Позже помощники герцога добавят, что Флоренции следовало бы направить к Борджиа подходящего посла, «избранного из числа наиболее выдающихся горожан». Макиавелли передал эти требования и другие обрывочные сведения Десятке. Горо Гери, разыскиваемый республикой за участие в разжигании бунта в Пистойе, был схвачен группой испанских солдат Борджиа, и те потребовали две сотни дукатов за его доставку во Флоренцию. «Вашей Светлости не стоит отметать это предложение», — писал Никколо в одном из писем Десятке. Спустя неделю пришел ответ: правительство заявило, что, разумеется, весьма заинтересовано в поимке Гери, однако

предложенная цена слишком высока. Также Десятка распорядились, чтобы Макиавелли поторговался и сбил ее до «80, самое большее до 100» дукатов. Впоследствии Гери сбежал. Едва ли Никколо мог предполагать, что их путям суждено вновь пересечься, но при совсем иных обстоятельствах.

Тем временем Борджиа решил поквитаться еще кое с кем. Изгнав из Перуджи Джампаоло Бальони, герцог обратил свой взор на Сиену — он жаждал отомстить ее неофициальному правителю Пандольфо Петруччи за участие в заговоре в Маджионе. И вновь Чезаре прибавил хлопот Макиавелли, выдвинув уже знакомую идею заключения союза с Флоренцией, и подчеркнул, что республика охотно выложит 100 тысяч дукатов, лишь бы избавиться от Вителли и других заговорщиков; в итоге флорентийцы задолжали ему не меньше суммы, оговоренной в Кампи. Флоренции следует утвердить эту договоренность, если, конечно, она не желает «вопреки обычаю прослыть неблагодарной». Также Чезаре сказал, что истинным зачинщиком восстания в Ареццо был Петруччи. Так или иначе, французского короля Флоренция могла не опасаться, потому что Людовик XII обязался защищать Сиену, а не Петруччи. Борджиа вновь напустил на себя угрожающий вид, и потому Никколо с облегчением сообщил ему, что послом к его двору республика назначила Джакопо Сальвиати. Завершив свою миссию, 20 января Макиавелли отправился домой.

Вернувшись во Флоренцию, Макиавелли составил подробный отчет о событиях в Сенигаллии. За несколько дней до отъезда из города он набросал для Десятки краткий доклад на эту же тему. Учитывая, что при аресте Вителли, Эуфредуччи и Орсини Никколо лично не присутствовал, вполне вероятно, что он узнал обо всем из уст самого Чезаре, и потому некоторые подробности рассказа, (в частности, проявленное Вителоццо и Ливеротто малодушие перед казнью), стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса.

Отчет Макиавелли содержит гораздо больше предостережений, касающихся Борджиа, нежели более ранние примеры так называемого «макиавеллизма». Действительно, этот документ следует рассматривать с учетом других тезисов, изложенных Никколо несколько месяцев спустя в докладе «Речь об изыскании денег» (Parole dette sopra la Provvisione del Denaio): «Нам известно, какого сорта эти люди [папа римский и Чезаре], каковы их поступки и насколько они достойны нашего доверия». Слова и поступки Борджиа, несомненно, произвели на Макиавелли определенное впечатление, причем не обязательно положительное. Флорентийцы, а вместе с ними и Никколо, не

могли забыть ни того, как герцог Романьи шантажировал их в Кампи, ни заявленного им флорентийским послам в Урбино после мятежа в Ареццо, который сам, очевидно, и организовал. Что же до бывших его соратников, то избранный способ казни мог бы кого-то удивить, но не шокировать, в конце концов, в истории Флоренции подобных эпизодов имелось в избытке.[32]

На следующий день после приезда Макиавелли вернулся к делам в канцелярии, большая часть которых была связана с подготовкой военных походов Флоренции. Также он написал своему брату Тотто, избравшему для себя духовное поприще, о его желании добиться нового назначения через суд, поскольку тогдашний бенефициарий получил свой пост через симонию.[33] Обдумав все с практической точки зрения, Никколо посоветовал Тотто попытаться уладить дело безо всяких финансовых затрат, несмотря на собранные его братом доказательства, а затем остроумно заметил: «Тебе известно, сколь многие бенефициарии лишились должностей, равно как и приобрели их путем мужеложства, что гораздо несправедливее». Макиавелли был знаком с сочинениями флорентийского поэта Данте Алигьери и, вероятно, вспомнил его изречение: «Законы есть, но кто же им защита?» Современники Никколо, даже те, кто носил сутану, вполне соответствовали нравам и обычаям своего времени, и потому Макиавелли предложил брату подыскать нескольких влиятельных людей, чтобы те поддержали его начинание, а не пытаться отстаивать какие бы то ни было законные права.

Никколо знал, что без поддержки власти закон бессилен, что также было верно — возможно, в еще большей степени — в области политики. Эта мысль станет лейтмотивом вышеупомянутой «Речи об изыскании денег», которую Макиавелли написал в марте 1503 года. В этом сочинении он призывал флорентийцев не скупиться ради собственной безопасности, но текст оказался настолько резок и потому едва ли предназначался для широкой публикации, если только Макиавелли не вознамерился навлечь на себя гнев всей Флоренции. Вероятнее всего, Никколо написал этот доклад специально для гонфалоньера Пьеро Содерини, который в то время отчаянно старался избавить государство от хронического денежного дефицита, но все его попытки наталкивались на стену непонимания скаредных сограждан.

С января по апрель Большой Совет отказывался утверждать налоговый законопроект, вынуждая правительство брать ссуды, чтобы финансировать войну с Пизой, нанимать солдат и ежегодно, по соглашению, выплачивать Людовику XII 40 тысяч дукатов.

Кроме того, Содерини стал терять популярность. Ему приходилось иметь дело не только с рядовыми членами Большого Совета, но и с апологетами закрытого правительства (governo stretto), не говоря уже о тех, кто замышлял вернуть к власти Медичи. К тому же с ноября 1502 года по май следующего 1503 года постоянно росли цены на зерно, что вызывало бурное недовольство низших слоев населения. В этих обстоятельствах легко понять, почему в своей «Речи» Макиавелли раскритиковал своих сограждан. Подчеркивая их узколобую скупость, он привел примеры как из настоящего, так и из прошлого. Если Флоренция стремилась стать сильным государством, убеждал Никколо, ей необходимо либо обеспечить себя надежной армией, либо рисковать своей независимостью.[34]

Такие меры требовали долгосрочной финансовой политики, весьма далекой от сиюминутного политиканства, которым были всецело поглощены флорентийцы, по-видимому, убаюкивавшие себя надеждой на неизменную помощь Франции и игнорировавшие то, что в международных делах все решалось силовыми методами. В итоге правительство сумело снизить процентные ставки Монте (Monte Сотипе)[35] — организации, управлявшей государственным долгом Флоренции, — ив середине апреля взять еще один, хотя и не столь крупный принудительный заем (accatto) на финансирование войны за Пизу. Возможно, такое компромиссное решение и успокоило Большой Совет, но едва ли расположило Содерини к его собратьям-аристократам, многие из которых являлись крупнейшими кредиторами Монте.

Будто в подтверждение слов Макиавелли о том, что ощущение безопасности обманчиво, 28 апреля испанские войска в Южной Италии нанесли сокрушительное поражение французам в битве при Черньоле, обозначив один из поворотных моментов в военной истории, и спустя две недели вошли в Неаполь. Поначалу эти события, похоже, не слишком обеспокоили Флоренцию, которая поздней весной начала кампанию против Пизы, по обыкновению захватив несколько вражеских крепостей. Но были и те, кто еще раньше понял, что баланс сил в Италии изменился. Папа римский и его сын Чезаре обрадовались поражению французов, поскольку их уже давно раздражало, что королевское покровительство Флоренции не позволяет им претворить в жизнь последовательную политику аннексий. Александр VI тут же попытался заключить союз с Испанией и склонить к нему же страдавших от безденежья флорентийцев, предложив им право взимать на своих землях налоги с льготных доходов церкви. Кроме того, в конце мая понтифик назначил

Франческо Содерини кардиналом, надеясь тем самым укрепить свои позиции в правительстве Флоренции (не говоря уже о 20 тысячах дукатов, которые, как поговаривали, Франческо заплатил за получение этой привилегии). Однако республика не расторгла союз с Людовиком XII, хотя ей пришлось отпустить французских солдат, находившихся у нее на службе, и дать обещание отправить наемников воевать в Южную Италию, хотя многие флорентийцы открыто обвиняли французов в том, что те саботировали осаду Пизы, чтобы и впредь вымогать деньги у города.

Большую часть времени, не считая краткой поездки в Сиену на переговоры с Пандольфо Петруччи, Макиавелли проводил во Флоренции. В январе предыдущего года Петруччи бежал от Борджиа в Лукку, но вскоре вернулся, к великому недовольству Чезаре. Никколо было поручено осторожно выспросить у него о возможном союзе Флоренции и папы. Поездка не увенчалась успехом, и задуманное соглашение так и не заключили. Между тем Борджиа не стал прибегать к своим обычным уловкам: в апреле он стал перемещать часть своих войск в опасной близости от флорентийских границ. В июле на юго-восточном рубеже Флоренции появились мятежники из Ареццо и других городов Вальдикьяны, и народ решил, что Чезаре собирается выступить на стороне Пизы.

Однако Борджиа ничего конкретного не предпринимал. «Герцог Романьи, — писал Макиавелли 14 июля флорентийскому наместнику в Ареццо Джованни Ридольфи, — платит в Риме своим солдатам, и никому не ведомо, на стороне ли он французов или испанцев». К счастью для Флоренции, огромная французская армия двинулась через Италию на Неаполь, и 31 июля ликующий Никколо сообщил одному из послов в Вальдикьяне, что эти «войска чрезвычайно многочисленны и вскоре должны прибыть сюда, а посему герцог не дерзнет напасть на нас». Фортуна вновь спасла республику от порабощения.

«Госпожа удача» и дальше благоволила Флоренции, но к другим она оказалась не столь расположена. 18 августа после непродолжительной болезни скончался папа Александр VI — как прокомментировал это событие в своих «Десятилетиях» (Decennali)[36] Макиавелли, в результате «благочестивых пинков под зад» понтифик присоединился к «блаженным душам», благодаря «верным своим рабыням: похоти, святокупству и жестокости»,[37] — лишив сына как политической, так и финансовой поддержки. Занемог и сам Чезаре, причем настолько серьезно, что флорентийцы решили: дни герцога сочтены. Недуг не позволял Борджиа перемещаться с былой стремительностью,

но спустя день после смерти отца он занял несколько стратегических зданий в Риме, а среди них — папскую сокровищницу и жизненно важный замок Святого Ангела, расположенный на берегу Тибра в окрестностях Ватикана. Тут же восстали и враги герцога, и в течение недели несколько недавно захваченных им городов вновь перешли к бывшим правителям.

Стараясь сохранить остальные владения, Борджиа бросился в объятия Людовика XII и взамен добился монаршего согласия на то, чтобы удержать за собой Романью. Что более важно, Чезаре хотел убедиться, что следующий понтифик не станет его врагом, но его новый союз с Францией означал, что герцогу нечего было теперь рассчитывать на одиннадцать кардинальских голосов, которые могли собрать испанцы. К тому же несмотря на то, что его войска находились в Риме, Борджиа не смел надеяться на то, что ему удастся угрозами повлиять на решение конклава, поскольку в городе нашлось немало сторонников Колонна, Орсини и Савелли — семейств, в разное время пострадавших по папского отпрыска. Так, вскоре после того, как 16 сентября собрались члены папского конклава, стало ясно, что кардинал д'Амбуаз, которого поддерживали и король Франции, и Борджиа (несмотря на взаимную неприязнь Чезаре и церковника), не имел никаких шансов быть избранным папой. И компромиссным решением 22 сентября выбор пал на старого и немощного Франческо Тодескини-Пикколомини, который взял папское имя Пия III.

Новый понтифик издал несколько декреталий в пользу Чезаре, но помогать войсками отказался, а в это время враги герцога жаждали его крови. Между тем венецианцы, завершив войну с Османской империей, начали совершать набеги в Романью. Чтобы спасти Борджиа, брошенного друзьями и солдатами, от возможной расправы, папа римский позволил ему вместе с несколькими слугами укрыться в замке Святого Ангела. Очевидно, безрадостное положение Чезаре ничуть не улучшилось и 18 октября, когда понтифик менее месяца спустя после своего избрания скончался. Едва вести о смерти Пия III достигли Флоренции, республика решила назначить наблюдателя за грядущим конклавом, и выбор вновь пал на Никколо Макиавелли. Это решение было продиктовано прежде всего желанием правительства, чтобы кардинал д'Амбуаз убедил Людовика XII снять с Флоренции обязательство предоставить около 400 тяжелых всадников для королевской кампании в Неаполе. Никколо также поручили усмирить кардинала Раффаэле Риарио, обвинившего Флоренцию в том, что она поддержала возвращение Антонио Мария Орделаффи на трон Форли, а не детей Катарины

Сфорца (между прочим, племянников кардинала).[38] Как весьма противоречиво утверждали флорентийцы, Орделаффи вернулись к власти по требованию своих подданных, и республика опасалась, как бы в противном случае Форли не оказался в лапах венецианцев.

Крайне авантюристическая политика Флоренции ввела в заблуждение лишь отдельных граждан, но разозлила многих, как 28 октября сообщал из Рима Макиавелли. Французов в особенности раздражали неудачи Борджиа в Романье, и те решили официально опротестовать события в Форли. Кардинал Риарио без обиняков заявил Никколо, что люди всегда судят по результатам, а не по средствам. И поскольку в результате вмешательства Флоренции его племянники лишились прав на трон, Риарио примет условия любого, кто согласится ему помочь, в том числе венецианцев. Что же касается военной поддержки Людовика XII, Макиавелли не сумел добиться от д'Амбуаза однозначного ответа, потому что кардинал был слишком поглощен переговорами с конклавом, чтобы отвлекаться на его расспросы. А Борджиа, все еще находившийся в замке Святого Ангела, искренне надеялся, что новый понтифик станет его другом.

И на то были основания. Чезаре сумел помириться с испанцами и даже убедил их поддержать кандидатуру Джулиано делла Ровере, известного как кардинал Сан-Пьеро-ин-Винколи, в пользу церкви в Риме, где он служил кардиналом-священником. Борджиа отважился на смелый шаг (как выяснилось позже, даже отчаянный), поскольку делла Ровере был одним из ярых противников его отца, за что и поплатился многолетним изгнанием. Более того, кардинала поддерживали многие враги герцога. Тем не менее, поскольку его считали главным кандидатом на папский престол, Чезаре решил, что выгоднее будет заключить с ним сделку. Джулиано очень хотел заручиться поддержкой Борджиа, пообещав, что после своего избрания назначит Чезаре капитан-генералом папских войск и посодействует его территориальной политике. Но за спиной Борджиа кардинал тут же признался венецианскому послу, что люди зачастую в силу необходимости поступают определенным образом, но, едва освободившись от оков, «действуют иначе». Как отмечал Макиавелли, если герцог полагал, что делла Ровере готов простить его и забыть все те унижения, которые перенес от рук Борджиа, то глубоко заблуждался.

Утром 1 ноября объявили об избрании папой Джулиано делла Ровере, отныне он станет известен под именем Юлия II. Уведомляя об этом флорентийские власти, Макиавелли написал,

что Юлий II едва ли исполнит свои прежние обещания, ибо «многие из них противоречили друг другу». Однако папа Юлий II мог с легкостью пренебречь подобной щепетильностью, и хотя на следующий день после избрания понтифик и подтвердил свое обещание Борджиа, уже несколько дней спустя он без тени раскаяния заявил венецианскому послу, что нет нужды напоминать ему о том, чтобы отказаться от поддержки честолюбивых замыслов Борджиа касательно Романьи. Эта провинция принадлежала церкви, и все местные землевладельцы являлись наместниками или вассалами Святейшего Престола.

Сообщение предназначалось как для герцога, так и для венецианцев, которые, атаковав Фаэнцу, раскрыли свое намерение захватить эту область. Чезаре почувствовал, что почва уходит из-под ног, а 6 ноября, когда с ним встретился Макиавелли, герцог набросился на посла и его правительство с упреками, «полными яда и огня». Своим истинным врагом Борджиа назвал Флоренцию, а не Венецию, добавив, что вскоре посмеется, глядя на руины слабого флорентийского государства, захваченного венецианцами, а относительно французов заметил, что те потеряют Неаполь и в любом случае помочь республике не смогут. Кардинал д'Амбуаз, также присутствовавший при этом разговоре, осудил Чезаре, напомнив ему: «Господь карает за все грехи, не говоря уже о тех, что лежат на этом человеке». Оглядываясь на прошлое — или, как сказали бы флорентийцы, уподобляясь «астрологу из Брокци»,[39] — слова Борджиа оказались пророческими, особенно в отношении французов. Хотя, учитывая хитросплетения итальянской политики и непредсказуемость войн, Чезаре не мог предвидеть поражение французов в Неаполе, случившееся несколько недель спустя.

Гнев Борджиа оказался не единственным обстоятельством, с которым пришлось смириться Макиавелли. К тому времени Мариетта уже покорилась тому, что муж не балует ее письмами, но подобным терпением обладали далеко не все. «Мы удивлены тем, что вы не сообщаете нам свежих новостей», — напишет ему Десятка 2 ноября, и во время работы в канцелярии Никколо не раз выскажут эти претензии. Но поскольку по причине скупости правительства Макиавелли не мог себе позволить услуги срочных курьеров, как ему того хотелось,[40] он, по-видимому, и вправду ленился составлять официальные письма.

Правительство ожидало, что Никколо хотя бы формально посчитается с бюрократическими условностями и станет регулярно высылать сообщения (независимо от их содержания), но, похоже, у Макиавелли просто не находилось на это времени. Несколько лет спустя, во время рабочей поездки в Верону, он

признается одному из друзей: «Я сижу на мели, никто ничего не знает, но ради одной лишь видимости я занят тем, что сижу и воображаю, какие бы словеса написать Десятке». Однажды он уже заявил своим руководителям в довольно бестактной форме: «Я возмущен любыми обвинениями в лености, тогда как я подвергаюсь опасности, изнемогаю от усталости, терплю лишения и множество расходов, кои значительно превосходят те, которые позволяет и жалованье Вашей Светлости, и мое собственное».

Макиавелли уже выработал привычку раздражать людей, что, мягко говоря, было не совсем разумно и в сочетании с плохо скрываемой заносчивостью смертельно опасно. В Риме Никколо получил письмо от Аньоло Туччи, книготорговца и одного из тогдашних приоров, просившего напомнить кардиналу Содерини о сане епископа, который Туччи наметил для одного из своих родственников, со словами: «Если тебе удастся обойтись без каких-либо расходов, ты заслужишь благодарность гонфалоньера». Возможно, упомянув Пьеро Содерини, Туччи пытался повлиять на Макиавелли, но, вопреки просьбе ответить как можно скорее, письма от Никколо он так и не получил. В действительности, кроме забот о семейных амбициях некоего приора, у гонфалоньера были и другие дела, и, отвечая Никколо, Содерини просил его сообщить новости о событиях в Неаполитанском королевстве. Кроме прочего, республика была озабочена беспорядками в Романье, и Макиавелли следил за ситуацией из Рима и отправлял подробные сводки, едва что-либо разузнав. Но 22 ноября Туччи прислал Никколо еще одно письмо, в котором ругал французов за то, что те пренебрегли советами Флоренции и «не взяли наших солдат». К тому же он просил Макиавелли сообщить папскому правительству, что флорентийцы не намерены сидеть и смотреть, как венецианцы захватывают Романью, «ибо мы верим, что сие не может происходить без участия и одобрения папы».

И на это послание Макиавелли не обратил ни малейшего внимания, в результате чего обеспокоенный Бьяджо Буонаккорси буквально умолял его ответить. «Туччи вне себя от ярости», — напишет он 4 декабря, рассказывая, как приор злобно раскритиковал Никколо перед правительством. Хотя Туччи не пользовался особым расположением коллег, Буонаккорси предупредил Макиавелли, чтобы тот поостерегся, потому что кое-кому его положительные отзывы о кардинале Содерини пришлись не по нраву. Туччи начал действовать Никколо на нервы, и, кроме его высокомерного тона, Макиавелли возмущало и то, что этот человек вел себя так, будто он верховный властитель флорентийской политики, а не простой приор, избранный всего-

то на пару месяцев. Недовольство Макиавелли объяснялось тем, что его публично осуждал тот, кто, вероятно, считал его ниже себя по положению, и, что еще хуже, Туччи обращался к Макиавелли на «ты» (tu) вместо формального «вы» (voi).[41] Обмакнув красноречивое перо в едкие чернила, Никколо накатал самовлюбленному приору ответ, всякий раз обращаясь к нему на «вы»:

«Я получил Ваше письмо от 22-го числа сего месяца и, не сумев различить подписи, полагаю, все же узнал почерк и стиль. Однако даже в случае ошибки, думаю, мне следует Вам ответить. Вы говорите об угрожающем положении Романьи, теперь, когда потеряна Фаэнца; Вы ссылаетесь на то, что Вам надлежит уделить внимание собственным неотложным делам, ибо те, кому следует принимать решения, бездействуют; Вы полагаете, что в деле замешан папа римский; Вы тревожитесь о положении французов; Вы напоминаете мне быть вдумчивым и добросовестным, и так далее. Все указанные дела рассматривались мной в официальной корреспонденции, и мои исчерпывающие ответы находятся в Вашем распоряжении, однако, не желая вновь разочаровывать Вас, я снова изложу все обстоятельства в соответствии с Вашими требованиями и напишу на местном диалекте на тот случай, если мои письма канцелярии были написаны по-латыни, в чем я, однако, сомневаюсь».

Макиавелли проявил самый едкий сарказм, на которой только был способен. В официальной переписке он всегда писал по-итальянски, этим письмом Никколо объявил Туччи вздорным неотесанным болваном. Остальная часть письма лишь это подчеркивает, поскольку Макиавелли съязвил по всем пунктам, затронутым приором в своем послании, и завершил письмо ехидным прощанием: «Верю, что всякий, кто должен был бы сказать правду, не написал бы иначе». «Осторожный и рассудительный» Макиавелли — как называл его Никколо Валори во времена беспорядков в Пистойе — превратился в человека, нередко снедаемого самодовольством и самоуверенностью, ибо покровители его занимали высокие посты. Так что недоброжелателям Макиавелли оставалось лишь ждать стиснув зубы.

Однако время Чезаре Борджиа подходило к концу. Видя, как герцога покинули все и даже слабая Флорентийская республика отказала ему в поддержке, и папа Юлий II довольно быстро позабыл о своих обещаниях Чезаре под предлогом, что тот стал отступником, отказавшись вернуть часть принадлежавшего ему имущества Святейшему Престолу. Борджиа доставили в Рим якобы под арестом, а затем препроводили в Остию, откуда он

сумел бежать в захваченный испанцами Неаполь. Фердинанд Арагонский с супругой Изабеллой Кастильской, которая не могла простить Борджиа за то, что он поддержал французов — не говоря уже о его преступлениях, — отправили герцога в испанскую тюрьму, а Людовик XII в свою очередь лишил его всех французских титулов и владений. Вновь бежав, Чезаре укрылся у своего зятя, Жана д'Альбре, короля Наварры, а позже, сражаясь на его стороне, он погибнет в одной из мелких стычек. Все с облегчением наблюдали за падением Борджиа, радуясь тому, что удалось избавиться от этого чудовища, «василиска», как назовет его Макиавелли в своих «Десятилетиях», который «сладкозвучным свистом завлекает врагов». Лишь позже, когда удача отвернулась от Никколо, он по-новому оценит прагматичный, если не жестокий подход Чезаре к политике, ясно заявив: «Будь я новым государем, я бы подражал деяниям герцога при каждом удобном случае».

Глава 7
Самое прекрасное зрелище

И все соглашались, что не бывало еще во Флоренции столь прекрасного зрелища.

Лука Ландуччи, о первом параде флорентийского ополчения 2 мая 1505 года

Политическое и военное положение Флоренции резко изменилось 28 декабря 1503 года, когда испанцы под командованием Гонсало де Кордовы, победившего в сражении при Черриньоле, форсировали реку Гарильяно к югу от Гаэты и нанесли укрепившимся там французским войскам сокрушительное поражение. При попытке переправить артиллерию обратно в Гаэту в реке утонул Пьеро де Медичи, но едва ли это событие могло утешить республику; когда же остатки войск Людовика XII отступили на север, к Милану, Макиавелли, вероятно, припомнил слова Борджиа, сказанные несколькими неделями ранее: французы не только потеряли Неаполитанское королевство, но и оказались не в силах помочь флорентийским союзникам.

Флорентийское правительство было в полном замешательстве: война в Пизе пробуксовывала, все более угрожающим становилось присутствие венецианцев в Романье, и ходило множество слухов об испанских набегах на Тоскану. И все же Флоренция спешно собрала войско, но, прежде чем предпринимать какие-либо меры, предпочла выяснить намерения французского короля. Макиавелли только что вернулся из Рима, но 19 января Синьория решила отправить его ко двору французского монарха, чтобы там он помог флорентийскому послу Никколо Валори. Вероятно, это решение было продиктовано тем, что Макиавелли уже имел опыт работы при дворе короля, а также завязал там отношения с некоторыми видными фигурами, хотя официально его миссия заключалась в том, чтобы провести очередные переговоры о долгах Флоренции перед Францией за оказанную ранее военную помощь.

Согласно наставлениям, дипломатам надлежало предельно откровенно рассказать Людовику о положении республики, указав на то, что, помогая ей, король обрел возможность сохранить

собственные владения в Ломбардии, ибо в противном случае Флоренции придется задуматься о союзе с Испанией (пустая угроза, поскольку все понимали, что это означало реставрацию Медичи). Проезжая Милан на пути в Лион, Макиавелли должен был встретиться с французским губернатором и просить его защитить Тоскану до завершения королем перегруппировки своих войск. Возможно, памятуя о свойственной Никколо небрежности в обращении с корреспонденцией, ему поручили «писать тотчас же, добавляя ко всему собственные соображения и суждения», хотя в срочности дела и так никто не сомневался.

Встреча в Милане оказалась безрезультатной. Французские власти не сомневались, что испанцы, увидев в Ломбардии французскую армию и флот Людовика, напасть не решатся. Более того, по их мнению, Сиена так просто не сдастся, папа римский поведет себя как «добрый француз», швейцарцы останутся дома, а венецианцы «вернутся к своему рыболовству». На Макиавелли эти слова не произвели никакого впечатления, и он напрямик возразил, что, дескать, корабли в море и войска в Северной Италии не защитят Тоскану, а что до папы и Сиены, то они прежде захотят узнать, на какую помощь раскошелится король, и лишь затем будут действовать. Один из миланских друзей — в действительности солдат на службе Людовика — поведал Никколо куда более тревожные вести: король сидел без денег, тяжелой кавалерии у него почти не осталось, а пехоты — и того меньше, и вообще не было уверенности, что ему удастся наскрести достаточно сил на защиту Ломбардию — не говоря уже о союзниках, — тогда как враги его уже собрались с силами и стоят наготове.

Добравшись до Франции, Макиавелли готов был позабыть о всяких наставлениях — что вполне соответствовало его характеру — и с радостью передоверил бы Валори написать все доклады за него. К тому же, учитывая должность второго дипломата, никто не стал бы протестовать против такого формально безукоризненного решения. Более того, оба посла симпатизировали и доверяли друг другу, так как несколькими годами ранее уже работали вместе в Пистойе. Валори искренне восхищался способностями Макиавелли и был неизменным его сторонником, причем одним из самых преданных и искренних, однако и он, превознося работу Никколо, напоминал ему о том, как важно соблюдать формальности.

«Ваши доклады высоко ценимы, — писал Валори 28 октября 1502 года, в период пребывания Макиавелли при дворе Борджиа, — но чтобы все окончательно прояснить, просим вас писать чаще». Впоследствии пренебрежение Макиавелли деловой

перепиской разозлило Валори, несмотря на то что он стал крестным отцом одного из детей Никколо. «Похоже, мы превратили нашу дружбу во вражду», — позже напишет Валори, сетуя на то, что он не получил от Макиавелли ни единого ответа. В будущем, когда Никколо понадобится дружеская поддержка, он не раз пожалеет о подобном безучастии.

Прибыв в Лион 27 января, Макиавелли сразу же отправился к Валори, а на следующий день они встретились с кардиналом д'Амбуазом, поскольку король занемог. Макиавелли рассказал о грозящих республике опасностях, ее нуждах, подчеркнув, что флорентийцы полностью доверяют королю, и поинтересовался, на какую помощь от него они могли бы рассчитывать. Никколо «с живостью» добавил: мол, если друзья подведут республику, ей придется договариваться с недругами. Кардинал этих слов не одобрил. Побагровев от возмущения, он гневно воскликнул: дескать, как Флоренция вообще помышляет о таком, в столь тяжкие для Франции времена! «Призвав на выручку весь свой талант», Макиавелли подчеркнул, что для спасения Тосканы французам необходимо защитить ее окружение: папские земли, Сиену и Перуджу. Д'Амбуаз резко возразил, заявив, что может рассчитывать на понтифика и Сиену, что же касается Перуджи, то она принадлежит папе.

На следующий день кардинал упомянул о мирных переговорах между Францией и Испанией, но, по его словам, независимо от их исхода Флоренции нечего тревожиться о своей безопасности. То же самое послы услышали и от короля, и от его придворных чиновников, а получив 11 февраля весть о подписанном перемирии, Макиавелли заявил, что собирается домой. Единственное, чего они с Валори сумели добиться, — довольно расплывчатое обещание, что республику также включат в договор. Было ясно, что в случае опасности на помощь Франции можно было больше не рассчитывать.

Тем временем сама Флоренция, лишенная прочной обороны, превратилась в идеальную мишень для шантажа.

Склонность флорентийцев разделяться на множество фракций не спасала положения. К этому времени фигура Пьеро Содерини, став источником раздоров, уже не объединяла различные кланы. На выборах его поддержали аристократы (arrabbiati), но сам Содерини рассчитывал и на содействие умеренных республиканцев, а среди его друзей было немало бывших сторонников Савонаролы, в том числе Бернардо Наси и Антонио Каниджани. Однако очень многие флорентийцы были недовольны его правлением: одни — по личным причинам, другие — по политическим; горожане, выступавшие за

представительскую власть, не одобряли того, что Содерини прибегал к помощи крупных совещательных комитетов (pratiche). Разочаровались в гонфалоньере и многие бывшие адепты Савонаролы, видя, что он не собирался возвратить городу былую моральную чистоту. А кое-кто из фанатично настроенных республиканцев ждал от Содерини усиления борьбы с теми, кто тайно или явно выступал за реставрацию Медичи.

К числу наиболее заметных противников Содерини принадлежали Аламанно и Джакопо Сальвиати — могущественные и состоятельные кузены, имевшие обширные связи и множество сторонников в правительстве Флоренции. Их недовольство Содерини росло по мере того, как он все реже прислушался к их советам, предпочитая мнение «людей дурных и недалеких», легче уступавших его воле. Кроме того, гонфалоньер, пожизненно находящийся у власти, вызывал недовольство многих из тех, кто в иных обстоятельствах мог сам рассчитывать на эту должность. Также Содерини приложил руку к тому, чтобы удалить сера Джакопо да Мартино, друга Сальвиати, из купеческого трибунала (Tribunale di Mercatanzia) по обвинению в пособничестве Сальвиати, который якобы пытался добиться установления контроля над флорентийскими торговцами.

Наконец, гонфалоньер мог подозревать кузенов в том, что они тайно поддерживали Медичи, поскольку Джакопо был женат на Лукреции, сестре покойного Пьеро и кардинала Джованни, а сестра Аламанно, Корнелия, вышла замуж за Джованбаттисту Ридольфи, чей племянник Пьеро являлся мужем Контессины де Медичи, сестры Лукреции. Нет никаких свидетельств того, что клан Сальвиати когда-либо ратовал за возвращение Медичи, однако Содерини не мог рисковать и помогать тем, кого считал потенциальными предателями. Примечательно, что, пока кузены Сальвиати занимали ряд важных государственных постов, их ни разу не выбрали в Синьорию.

Конфликт Содерини и Медичи имел и личную подоплеку, если учесть, что в Риме его брат Франческо и кардинал Джованни де Медичи пытался перетянуть на свою сторону как можно больше флорентийцев из числа тех, кто находился в Вечном городе. После смерти брата Пьеро Джованни Медичи стал главой изгнанного клана, проявив себя способным политиком, близким к папе Юлию И. Джованни и Франческо Содерини недолюбливали друг друга, и кардинал Медичи использовал свое влияние среди соотечественников в Риме для формирования оппозиции режиму гонфалоньера во Флоренции. Также, учитывая связи Сальвиати и Медичи, действия последних за границей можно было расценить как попытку организовать в республике пятую колонну.

Однако в общем и целом враги Пьеро Содерини предпочитали действовать в рамках республиканской политической системы — по крайней мере, из осторожности. Те же, кто не разделял подобного отношения, предпочитали оставаться в тени, и лишь немногие группировались вокруг давнего врага гонфалоньера Бернардо Ручеллаи, который в своих садах (Orti Oricellari) основал своего рода дискуссионный клуб, где обсуждали философию неоплатоников и политические реформы. Эти люди вспоминали благополучные, по их мнению, времена флорентийской конституции XV века и правления Медичи. Вместе со многими флорентийцами они восхищались государственным устройством Венеции, однако отдавали большее предпочтение аристократическому составу правительства, нежели сторонники Большого Совета.

Борьба между кузенами Сальвиати и Содерини разгорелась в начале 1504 года из-за кандидатур на пост командующего флорентийской армией. Сальвиати поддерживали Джампаоло Бальони, но он оказался другом семейства Орсини (сумевшего вернуть себе власть после смерти папы Александра VI), в свою очередь тесно связанного с Медичи. Содерини и его последователи отдавали предпочтение Фабрицио Колонне, семья которого веками враждовала с Орсини. Однако Колонна, как оказалось, уже находился на службе испанской короны, и флорентийцы изумлялись, неужели профранцузское правительство позволит себе принять его кандидатуру. Власти запротестовали, мотивируя свою позицию тем, что, дескать, найм Колонны никоим образом не повредит их непростым отношениям с Людовиком XII и так или иначе помешает испанцам напасть на город. В итоге требования Колонны сочли чрезмерными, а его связь с Испанией — слишком тесной. В качестве компромисса было решено нанять Бальони при поддержке других кондотьеров по выбору Содерини, хотя многие из кандидатов оказались не только политическими противниками, но и личными врагами.

Содерини все же убедил флорентийцев одобрить новый налоговый закон, позволявший правительству оплатить продолжение войны против Пизы. К тому же в обход протестов Сальвиати гонфалоньер ухитрился назначить одного из своих друзей, практичного и опытного Антонио Джакомини, старшим уполномоченным по военным делам. Джакомини с характерным для него рвением захватил несколько крепостей и принялся донимать правительство просьбами отдать ему приказ о наступлении на Пизу. Город держался до конца благодаря припасам, доставляемым из Лукки, Сиены и Генуи (хотя Генуя являлась французским протекторатом) через устье Арно.

Флорентийцы старались отомстить пизанцам всеми возможными способами: приказывали совершать набеги на территорию Лукки, чтобы местные жители — как писал Джакомини Макиавелли — уже «не смогли бы переправить пизанцам и стакана воды; и поскольку вам известно, что жители Лукки поддерживают их, вы ясно дали понять, что сие следует прекратить, иначе и стены города их не спасут».

Однако осада Пизы приостановилась, стоило осажденным заявить, что их город защищают свыше 2,5 тысячи солдат, но пизанцы все же опасались, что флорентийцы повернут русло Арно и таким образом перекроют им выход к морю. Вероятно, жители Пизы заранее придумали все это, чтобы сбить флорентийцев с толку и тем самым остановить их. Но Содерини им поверил и решил действовать соответственно. Расспросили инженеров, и те с уверенностью заявили, что, располагая 2 тысячами рабочих и достаточным количеством бревен, можно за пятнадцать — двадцать дней возвести дамбу выше по течению и перевести воды Арно в два заранее прорытых канала. Совещательный комитет, специально созванный для обсуждения этого плана, назвал его «если не фантазией, то пустой затеей», но Содерини сумел добиться широкой поддержки предприятия, которое, как казалось, позволяло малыми средствами завершить весьма разорительную войну. Впоследствии оказалось, что флорентийцы, желавшие побеждать, ничем не жертвуя, добились обратного.

20 августа Макиавелли в письме Джакомини распорядился начать работы по изменению русла реки, однако уполномоченный посол был далеко не уверен в разумности этого решения. «Ваша Светлость убедится, — ответил он пять дней спустя, — как ежедневно умножаются трудности, поскольку полагать, что данная цель легко достижима, есть заблуждение». Существуют доказательства, согласно которым сам Макиавелли сомневался в проекте Содерини: найденный среди бумаг Никколо доклад Бьяджо Буонаккорси содержал неодобрительные отзывы о кондотьере Эрколе Бентивольо, который сорвал план, основанный на точных инженерных расчетах. «Тем не менее, — добавлял Буонаккорси, — даже столь ясные и безукоризненные обоснования были упущены из виду. Результаты показали, кто заблуждался в действительности».

Раздосадованный Джакомини, сославшись на недуг, подал в отставку, тогда как Макиавелли, при всех своих сомнениях, остаток лета руководил строительством дамбы.[42] Но после недели изнурительного труда повернуть русло Арно оказалось невозможно, «как и предвидели все мудрые граждане», — иронично заметил Франческо Гвиччардини. На проект

израсходовали около 7 тысяч дукатов, и все из-за Содерини, упорно настаивавшего, что, дескать, предприятие обречено на успех. Гонфалоньер совершил очередную ошибку, предложив полную амнистию всем пизанцам, которые пожелают добровольно сдаться. Это позволило горожанам избавиться от всех так называемых «лишних ртов» (стариков, женщин и детей), к тому же местные крестьяне согласились покинуть крепость, правда, ради того, чтобы тайком помогать осажденным. Все эти промахи сильно подмочили репутацию Содерини. Его враги во Флоренции начали выступать против его политики, а находившиеся в Риме ждали удобного случая, чтобы свергнуть республиканский режим.

Макиавелли изо всех сил старался не ввязываться в межклановые распри, хотя к этому времени его считали верным сторонником Содерини. Притом что Никколо, несомненно, отличался независимостью взглядов, он, подобно всякому здравомыслящему флорентийцу, все же понимал, что политика — это запутанная и небезопасная игра. И хотя Содерини мог опираться на довольно многочисленную группу сторонников, занимавших государственные посты, тем же преимуществом пользовались и его враги. Гонфалоньер все еще мог заручиться чужой поддержкой, чтобы назначать на различные должность своих людей или изыскивать денежные средства, но всякий раз ему приходилось хитрить, льстить и увещевать, что далеко не всегда приносило плоды. В составе Десятки зачастую попадались ярые противники Содерини, и Макиавелли приходилось проявлять осмотрительность и не противиться своим непосредственным руководителям. В действительности Никколо пригодилась бы любая поддержка для продвижения собственного проекта, уже давно задуманного: даровать Флоренции независимость в случае войн, сформировав городское ополчение.

Эта давняя идея замысловатым образом коренилась в склонности Макиавелли рыться в прошлом, событиях, свидетелем которых он стал в Пистойе и при дворе Борджиа, а также горьком осознании им того, что его родной город снова и снова использовали в своих целях монархи, правители помельче и неблагонадежные кондотьеры. Древний Рим, который Никколо едва ли не боготворил, достиг величия благодаря гражданской доблести его жителей, воплощенной, по его мнению, в национальной армии. Именно армия позволяла городу преодолевать кризис за кризисом и заложила фундамент будущей империи. Более того, Чезаре Борджиа, ставший объектом многочисленных нападок, добивался успеха благодаря тому, что доверял своим солдатам, а не профессиональным наемникам со

стороны, так, по крайней мере, представлялось Макиавелли. В действительности, как мы уже убедились, Никколо так и не сподобился понять, что основу армии Борджиа составляли как раз профессионалы.

В первой части «Десятилетий», написанной в 1504 году и изданной два года спустя, Макиавелли в стихотворной форме обобщил десять лет итальянской истории, уделив наибольшее внимание горестям, выпавшим на долю Флоренции из-за ее вечного упования на ненадежные армии других государств, равно как и на пришлых наемников. Свое видение проблемы, Никколо поясняет в завершающем поэму обращении к согражданам, где ссылается на древнюю историю, столь высоко ценимую всеми гуманистами и ставшую частью культурной среды Флоренции: «И путь ваш стал бы легче и короче / в храм Марса приоткрой вы дверь». Макиавелли уже высказывал похожую мысль в «Речи об изыскании денег», хоть и не в столь классическом стиле, — он утверждал, что сохранить независимость флорентийцы смогут, лишь полагаясь на самих себя и свое оружие, а не на помощь французов.

Однако Макиавелли признавал, что любое решение этой проблемы должно учитывать особенности Флоренции. Эта же идея прозвучит и в середине сентября 1506 года в его «фантазиях» (ghiribizzi), адресованных Джованбаттисте Содерини, одному из племянников гонфалоньера; там же затронуты и другие темы, впоследствии развитые им в трактате «Государь». Используя, по сути, примеры из Античности и недавнего прошлого, Макиавелли показывал, как правители и их подданные находили выход из затруднительного положения в обстоятельствах, весьма схожих с теми, в которых не раз оказывались флорентийцы. Никколо приводил примеры Ганнибала и Сципиона, в которых первый насаждал свою власть в Италии, прибегнув к деспотизму и жестокости, а второй добился того же в Иберии посредством благочестия и сострадания. Очевидно, за пристрастие к античным источникам Макиавелли уже успели покритиковать, так как он тут же добавляет: «Но поскольку на римлян не принято ссылаться, следует помнить, что Лоренцо де Медичи разоружил народ, чтобы удержать Флоренцию, тогда как мессер Джованни Бентиволь ради сохранения Болоньи народ вооружил».

Упомянув Лоренцо де Медичи, Макиавелли подчеркивал, что ради сохранения суверенитета флорентийцам необходимо обзавестись собственной армией, причем высказывал эту идею как раз тогда, когда в городе шли бурные дебаты на тему флорентийской армии. Неясно точно, когда именно Никколо

впервые выступил с планом создания ополчения, но мы знаем, что весной 1504 года он уже обсуждал эту тему с кардиналом Франческо Содерини. В мае того же года прелат написал Макиавелли, что в определенных кругах его предложение встретили с неодобрением: «Прискорбно сие отношение к делу благому и насущному; люди не могут допустить, что некая сила творит на благо не личное, но общественное». Содерини убеждал Никколо не сдаваться, «ибо чему отказали однажды, могут одобрить в иной раз». И обстоятельства подтвердят прогноз кардинала.

В марте 1505 года флорентийское войско под командованием Луки Савелли потерпело тяжелое поражение у стен Пизы, после чего пизанцы вновь захватили значительную часть сельской округи. Следующим ударом стала отставка Джампаоло Бальони, который в апреле объявил, что покидает службу. Отступничество наиболее выдающегося кондотьера нежданно положило конец всем военным походам, а 8 апреля Макиавелли получил указания, предписывавшие ему незамедлительно отбыть в лагерь Бальони для выяснения истинных мотивов ухода кондотьера с должности. Никколо прибыл на место 11 апреля и, «всячески провоцируя» бывшего военачальника, пытался заставить его раскрыться. К досаде Макиавелли, Бальони оказался гораздо изворотливее, чем можно было предположить, и, несмотря на то что кондотьер неоднократно «менялся в лице», он строго придерживался своей версии: флорентийцы, заявил он, приняли на службу нескольких его врагов, а в этом случае он обязан защищать Перуджу; кроме того, он предъявил свой контракт с республикой нескольким законоведам, и все они единогласно подтвердили, что более служить Флоренции он не обязан.

В горячке Макиавелли выпалил, что подобное предательство неминуемо запятнает репутацию Бальони, причем гораздо сильнее, нежели его уход навредит республике: он уподобится «хромой кобыле, на которую никто не желает садиться». Что же до мнения законников, то Никколо фактически посоветовал Бальони засунуть его куда подальше, «потому как о подобных делах судить не докторам права, а правительству». Сопоставив несколько признаний, которые он сумел выудить из Бальони, с тем, что удалось выяснить у его подчиненных в лагере, Макиавелли убедился, что вероломный кондотьер был в сговоре с кем-то из врагов Флоренции. К тому же поблизости объявился небезызвестный Горо Гери, что еще сильнее укрепило подозрения Никколо.

Бальони и вправду участвовал в заговоре, который тайно замышляли кардинал Асканио Сфорца, клан Орсини, Бартоломео

д'Альвиано — один из выдающихся итальянских кондотьеров на службе испанской короны — и Пандольфо Петруччи. Они хотели восстановить во Флоренции власть Медичи, а затем использовать город в качестве плацдарма для масштабной кампании с целью изгнания французов из Ломбардии. Причем кардинал Асканио преследовал личный интерес: Людовик XII завладел всей собственностью его брата, герцога Людовико, и заточил его в тюрьму во Франции. Заговорщики знали, что во Флоренции могут рассчитывать на поддержку семей, некогда тесно связанных с Медичи, а также отдельных граждан, особенно из числа молодых аристократов, ненавидевших республиканскую власть. И удача оказалась на стороне республики. В конце мая Сфорца неожиданно пропали, что спасло Флоренцию и сокрушило надежды Медичи — хотя бы на время.

Тем временем правительство отчаянно подыскивало замену Бальони, причем среди возможных кандидатов даже упоминалось имя Альвиано. Содерини снова выдвинул на пост главнокомандующего Фабрицио Колонну, но согласился оставить окончательное решение за специально созванным комитетом из двенадцати человек. Но комитет проголосовал за Франческо Гонзагу, маркиза Мантуи, выдвинутого Сальвиати — Аламандо Сальвиати, входившим в то время в состав Десятки. Срочно составили контракт, и 4 мая Макиавелли отправился в Мантую для его подписания. Но из этого ничего не вышло, поскольку Гонзага решил оттянуть время: он не согласился с тем количеством солдат, которые должен был предоставить в соответствии с контрактом, и отказался сражаться против союзников императора Священной Римской империи и короля Франции. Правительство также постановило направить посла к Гонсало де Кордове в Неаполь, но когда предложили отрядить Макиавелли, другом которого, а также родственником по линии жены был Пьеро дель Неро,[43] решили не рисковать, дабы не задеть за живое Кордову, и послать человека более высокого ранга. Вместо Неаполя Никколо отправился в Сиену: ему поручили отблагодарить правителя города Пандольфо Петруччи за то, что тот предупредил флорентийцев о направлявшемся в Тоскану войске Альвиано. То, что правительство не доверяло Петруччи, особенно после того, как он удивительно быстро переметнулся на его сторону, явствует из данных Макиавелли указаний: «Используйте присущую вам рассудительность, дабы выяснить его истинные намерения». Вскоре Никколо обнаружил, что Петруччи и вправду очень скользкий тип, и за неделю в Сиене отправил во Флоренцию множество писем (в кои-то веки), полных раздражения и досады.

В частности, Макиавелли довольно скоро обнаружил, что физиономия Пандольфо «ничего или почти ничего не выражала», причем он хотел убедить флорентийцев отказаться от прав на Монтепульчано — между прочим, занятый войсками Сиены после изгнания Медичи из Флоренции. Но, стремясь заключить с республикой союз, Пандольфо все же не собирался препятствовать передвижению Альвиано по территориям Сиены. Ложь Петруччи «весьма озадачила» Никколо, а когда он оппонировал Пандольфо, поймав его на несоответствии в его словах, тот попросту заявил: «Верности ради больше делаю и меньше думаю, потому как больше доверяю времени, чем разуму». Петруччи оказался для Макиавелли достойным противником, и секретарь Синьории поехал обратно, не добившись ничего, разве что придя к заключению, что этому человеку доверять никак нельзя. Еще в Сиене Макиавелли узнал, что Кордова воспретил Альвиано нападать на Тоскану, но, когда сообщил об этом Петруччи, тот проницательно заметил, что «разум подскажет Альвиано подчиниться и утихомириться, впрочем, люди не всегда прислушиваются к голосу разума». И слова правителя оказались пророческими: Альвиано, игнорируя приказ Кордовы, с многочисленным войском высадился близ Пьомбино. И вновь в самую трудную минуту Флоренция осталась без всякой поддержки. Французы отказались вмешаться, сославшись на то, что Флоренция не уплатила сумму, указанную в союзном договоре, а Франческо Гонзага отказался служить, заявив, что Людовик XII еще не одобрил его контракт с республикой. В распоряжении Флоренции имелось лишь несколько тысяч всадников и пехотинцев под командованием Антонио Джакомини и Эрколе Бентивольо, находившихся в районе Мареммы, чтобы блокировать продвижение Альвиано вдоль побережья в направлении Пизы. Количество испанских солдат в Пьомбино заставляет предположить, что Альвиано и Кордова и вправду заключили соглашение, причем Кордова не мог вмешиваться напрямую, ибо перемирие между Францией и Испанией включало и Флоренцию.

В середине августа задира Джакомини сообщил правительству, что намерен атаковать, и хотя Десятка убеждала его проявить благоразумие, 17 августа он вступил в бой с войсками Альвиано близ Сан-Винченцо. Совершенно неожиданно — а также благодаря верно выбранному Бентивольо для нанесения удара моменту — Альвиано потерпел сокрушительное поражение, понес большие потери и лишился обоза. Ликующий Содерини приказал вывесить захваченные знамена в зале Большого Совета и вопреки всем возражениям собрал достаточно

средств для выплаты жалованья наступавшим на Пизу наемникам под командованием Джакомини и Бентивольо. Такое решение обрадовало лишь некоторых, потому что многие сомневались в полководческих талантах Бентивольо, несмотря на его вклад в последнюю победу. Более того, его назначение на должность главнокомандующего с большой долей вероятности могло обозлить других кондотьеров, служивших Флоренции. В этом смысле доверительное письмо Макиавелли от 27 августа, адресованное Джакомини, служит дурным предзнаменованием и раскрывает все те трудности, которые пришлось преодолеть флорентинцам, имея дело с наемниками:

«Сохраните в тайне все, что я вам пишу. Сегодня утром комитет [pratica] решил вручить жезл главнокомандующего мессеру Эрколе, однако он намерен не спешить с оглаской и попытается задобрить Марко Антонио [Колонна], дабы избежать его неистовой ярости. Необходимо совершить два дела. Первое: мессер Джакопо [Савелли] и мессер Аннибале [Бентивольо] должны прислать кого-нибудь сюда, дабы рассказать людям, что не вся слава досталась Эрколе, ибо несколько дней назад он письменно осведомлялся, будут ли его прилюдно чествовать за отвагу. Второе: вы должны написать кому-либо из влиятельных друзей, что Марко Антонио не намерен сеять распри и Джакопо и Аука [Савелли], вопреки общему мнению, его не поддержат, поскольку сие предположение отсрочило бы назначение мессера Эрколе. В заключение скажу, что честность Джакопо и Аннибале [они не присвоили себе недавнюю победу] прибавила третьему [Эрколе] надменности и вознесла до небес его авторитет. Вы в силах исправить положение; и разорвите это письмо».

Безусловно, самодовольство кондотьеров осложняло жизнь не только Флоренции, но и другим странам, где честь и достоинство шли рука об руку. Однако другие государства Италии уже изыскали способ утешить разобиженных наемников, тогда как во Флоренции не нашлось твердой руки, способной поддерживать порядок в своем капризном войске.

Прогноз Макиавелли оказался вполне реалистичным, хоть и отличался несколько излишним оптимизмом. 9 сентября орудийным огнем была пробита брешь в стенах Пизы, но, получив приказ атаковать, флорентийская пехота не сдвинулась с места, сославшись на якобы слишком узкую брешь, — истинная же причина заключалась в том, что причитавшееся им жалованье до сих пор не поступило. В этой ситуации поборником строгой дисциплины проявил себя Джакомини. После двух дней обстрела, в результате которого обрушился еще один участок стены, Джакомини вновь приказал идти на штурм, но солдаты вновь

отказались повиноваться. Между тем Кордова ухитрился переправить в город некоторое количество испанской пехоты, а Бентивольо так и не сумел повлиять на непокорных солдат. (Что примечательно, среди взбунтовавшихся пехотинцев два отряда принадлежали Джакопо Сальвиати и Марко Антонио Колонне.)

Разъяренный Джакомини пригрозил, что повернет пушки на мятежников, и написал правительству несколько язвительных писем, в которых разнес в пух и прах трусливое войско. Но, получив в ответ приказ о снятии осады, он объявил, что уходит в отставку и отправляется домой. Макиавелли, который симпатизировал и доверял Джакомини, предупредил военачальника, что тот столкнется с недовольством простолюдинов, потому как флорентийцы, не увидев победы, которую принимали как должное, захотят сделать из него козла отпущения, виновного во всех неудачах. «Ради Бога, никуда не уезжайте, — писал Никколо 23 сентября, — молю Вас не уезжать без разрешения, дабы не давать этим изменникам и завистникам повода поднимать еще больший шум». Важно отметить, что главные нападки на Джакомини исходили от тех, кому были ненавистны Содерини и республика, таких как Сальвиати и Ручеллаи. Впрочем, гонфалоньеру все равно досталось за опрометчивость и властность, а также за оказанную им поддержку плана, который мудрые люди сочли безрассудным. Провал осады Пизы основательно подорвал доверие народа к республиканской власти. Потребовалось срочно искать решение, иначе следующая неудача означала бы ее крах.

Флоренции некого было винить в неспособности сформировать надежную армию, кроме самой себя. Все итальянские государства нанимали профессиональных солдат, но в XV веке крупнейшие державы разработали систему управления, позволявшую поддерживать боевую готовность и дисциплину наемников. Флоренция в этом отношении безнадежно отстала от Милана и Венеции, а ее граждане не желали в мирное время тратиться на оборону, предпочитая снижать налоги и не допускать роста государственного долга. Органы власти, ответственные за военные вопросы, особого веса не имели, да и созывались лишь в случае войны. В результате с началом боевых действий флорентийцам зачастую приходилось полагаться лишь на остатки наемных войск — не самых подготовленных, не самых опытных и, прежде всего, не самых надежных солдат, которые, как правило, не отличались высоким боевым духом, поскольку республика не желала, да и не могла регулярно выплачивать им жалованье.

Макиавелли критиковал «солдат удачи», называя их

вероломными, трусливыми и алчными, что скорее свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивалась лишь Флоренция, а не вся Италия. Так или иначе, Никколо необходимо было принизить роль наемников, чтобы отстоять свое предложение о создании регулярной армии, которую республика могла бы с легкостью контролировать. Тот факт, что флорентийцы были неспособны провести радикальную военную реформу, означал, что они всегда будут зависеть от наемников и помощи Франции. Но и те и другие оказались ненадежными союзниками, и если не удастся найти иное решение, Пиза будет потеряна навсегда, а вместе с ней — и сама республика.

Как гласит старая поговорка, в жизни невозможно сделать три вещи: нарисовать квадратный круг, поспать на потолке и научить флорентийца. Содерини, вероятно, она не раз приходила на ум, когда он отчаянно искал выход из тупика после злополучной осады Пизы, поэтому он и проявил неподдельный интерес к предложенному Макиавелли проекту городского ополчения. Однако Содерини отдавал себе отчет, что, если вынести план на одобрение сограждан, которые, похоже, всегда противились любым новым идеям, те его безжалостно отвергнут. Опасаясь нового позора, гонфалоньер не мог пойти на риск и потому (возможно, по инициативе Макиавелли) подыскивал иной путь. Согласно конституции Десятка обладала полномочием в военное время призывать мужчин во вспомогательные войска, и во время волнений в Пистойе и Ареццо Совет повелел набрать солдат из республиканских владений. Эта лазейка позволила Содерини обойти флорентийские законодательные органы и без всякого сопротивления приступить к созданию ополчения, пользуясь тем, что в случае неудачи ответственность ляжет на плечи Десятки и ее секретаря.

Получив необходимые комиссионные, Макиавелли в конце декабря 1505 года отправился в Муджелло. 2 января 1506 года он написал Десятке из Борго-Сан-Лоренцо, что набор проходит успешно: «Этим людям понравилась идея, и они жаждут претворить ее в жизнь». Никколо сумел рекрутировать сотни местных жителей. «Юноши охотно приходят ко мне», — писал он. Оптимизм Макиавелли несколько поубавился, когда он, прибыв в Понте да Сьеве, увидел, что в тамошних землях «царит неразбериха и не хватает продовольствия». Более того, жители Петроньяно наотрез отказались записываться в ополчение, так как туда уже записались жители враждебной коммуны. Никколо встретился с сыном некоего Андреассо, одного из местных лидеров, который заверил секретаря, что никто, мол, к нему не пойдет, пока он не убедит записаться самих старост — при

условии, что республика освободит их от уголовного наказания.

Тем не менее Никколо наверняка гордился своими успехами, особенно когда новобранцы стали проходить подготовку «по швейцарскому образцу». Казалось, сбылись его мечты. 15 февраля отборный отряд ополченцев прошел парадом по улицам Флоренции под восторженные возгласы толпы; все солдаты были в ладно подогнанной красно-белой (цвета флага города) форме, «в кирасах, вооруженные пиками и аркебузами». Противникам Содерини ничего не оставалось, как, сдерживая злобу и страх, смотреть в лицо фактам.

Ополчение было сформировано, но ему предстояло преодолеть немало препятствий, как политических, так и административных. Несмотря на февральский парад, который произвел на горожан впечатление, некоторые флорентийцы всерьез сомневались в успехе этой затеи. Подозрения о реальных масштабах новой военной силы только усилились, когда на должность командующего гонфалоньер предложил печально известного дона Мигеля де Кореллу (бывшего главного душителя Борджиа). Содерини поручил Макиавелли выяснить отношение к этой кандидатуре некоторых известных горожан, в том числе его врагов. Когда, среди прочих, Пьеро Гвиччардини, Джованбаттиста Ридольфи и Франческо Гвальтеротти недвусмысленно осудили намерение гонфалоньера, Содерини сумел убедить Совет Восьми назначить Кореллу командующим ополчения (bargello) в сельских районах. Многие противники Содерини были уверены, что тот намеревается с помощью ополчения захватить власть, что побудило Бернардо Ручеллаи уехать в Авиньон. В то время никто не догадывался об истинных мотивах Бернардо, но, по некоторым предположениям, он опасался, что раскроется его связь с изгнанным кланом Медичи. Все это время Ручеллаи скорее наносил Содерини булавочные уколы, чем представлял собой серьезного противника, и гонфалоньер был только рад избавиться от этого критикана.

Согласно одному источнику, Ручеллаи заподозрил в измене кого-то из своих союзником в борьбе против Содерини. Предыдущим летом, когда Содерини попытался взять Пизу осадой, неожиданными союзниками в этой военной кампании стали некоторые его явные враги, намеревавшиеся восстановить с ним отношения. В первые месяцы 1504 года Содерини провел тайные переговоры о свадьбе свой внучатой племянницы Марии и Пьерфранческо де Медичи, из той ветви клана Медичи, которая сумела остаться во Флоренции, став на сторону республики. Кроме того, жених вдобавок оказался племянником мужа Катарины Сфорца. Родственные узы связывали Пьерфранческо

также и с Сальвиати, таким образом, женитьба на Марии Модерини отдалила бы его от врагов гонфалоньера. Сальвиати, вовремя узнав о переговорах, сумели им воспрепятствовать, однако два года спустя решили, что им выгоднее будет поощрить этот союз, предполагая, что с захватом Флоренцией Пизы авторитет Содерини возрастет.

Все это объясняет нежелание Ручеллаи оказаться в политической изоляции в городе, который, как он полагал, все дальше и дальше скатывался к деспотизму. В этой связи ополчение под командованием одного из бывших соратников Борджиа представлялось еще одним шагом в этом направлении. Едва ли Содерини хоть раз задумывался над тем, чтобы стать единоличным правителем Флоренции, хотя он и презирал тех, кто противился его политике. Более того, почти наверняка первым кандидатуру Кореллы предложил кардинал Содерини, желавший найти «непреклонного и взыскательного человека, подобного Манлию Торквату».[44] Хотя дона Мигеля едва ли можно было назвать примером римской доблести (virtus), кардинал и его брат видели в нем того, кто способен поддерживать дисциплину среди неопытных ополченцев и не допустить их превращения в неуправляемый сброд.

Франческо Содерини подчеркивал эту мысль в письме Макиавелли от 4 марта 1506 года, обращая его внимание на то, что верность новой армии будет зависеть от дисциплинированности солдат, и соглашался с Никколо в том, что необходимо учредить соответствующий государственный орган, обладавший широкой территориальной юрисдикцией. Вскоре ожидалось, что законодательно будет принят более узкий свод правил, регламентирующих деятельность ополчения и определявший статус дон Мигеля как командующего, обязывавший принятых на службу солдат подчиняться лишь приказам правительства.

Однако ополчение не могло постоянно находиться в неопределенном с юридической точки зрения положении, к тому же приходилось считаться с возможностью запрета ополчения кем-нибудь из флорентийских политиков. Новое войско стало предметом многочисленных споров. Хотя положительные аспекты наличия у Флоренции собственной достойной армии в принципе никто не оспаривал. Но многих заботил вопрос о том, что предложить ополченцам в качестве поощрения за добросовестную службу и насколько строгой должна быть дисциплина, чтобы позволить удержать военных в повиновении. Решить упомянутые вопросы городским властям было не так просто.

Первое «Десятилетие» Макиавелли представляет собой

блестящий пример пропагандистского сочинения, цель которого — убедить флорентийцев в том, что в их же интересах поскорее принять соответствующие законы. Поэма оказалась настолько популярной, что ее стали издавать нелегально, и в результате Макиавелли и его друзьям пришлось прибегнуть к мерам юридической защиты авторского права. В письме от 25 февраля 1506 года Эрколе Бентиволью благодарит Никколо за высланный ему экземпляр «Десятилетия» и осыпает автора комплиментами, упрашивая продолжать в том же духе, «ибо мы благодарны, что сии правдивые слова прочтут те, кто придет после нас, дабы они, зная беды, выпавшие нам и нашему времени, не винили одних нас в том, что мы не сберегли честь и достоинство Италии».

Перекладывая вину на бестелесные несчастья, Бентиволью нашел удобное оправдание своим недостаткам. Но как бы Макиавелли ни был польщен этими словами, он обратился к другим задачам: 9 ноября 1505 года Никколо отправил рукопись поэмы, а также изысканное сопроводительное письмо на классической латыни не кому-нибудь, а самому Аламанно Сальвиати, прославляя его за былой вклад в оборону республики. Макиавелли, вероятно, пытался заискивать перед врагами Содерини, так как после недавнего поражения под Пизой позиции гонфалоньера существенно ослабли. Однако благодаря прагматизму в отношении Содерини несколькими месяцами ранее Сальвиати проявил некоторую политическую гибкость, на которую и рассчитывал Макиавелли, чтобы довести до конца свой замысел о создании ополчения. Тем не менее Аламанно Сальвиати уже проникся к секретарю ненавистью, открыто называя его «подлецом» и хвастая тем, что, будучи в составе Десятки, он позаботился о том, чтобы Макиавелли не получил повышения по службе. Учитывая эти обстоятельства, поддержка одного из проектов Содерини, в особенности того, идея которого принадлежала Макиавелли, Сальвиати не пошла бы на пользу.

Даже не располагая законодательной базой, Десятка полным ходом претворяла в жизнь проект новой армии. Людей пытались привлечь к службе в ополчении, обещая им за это снятие всех обвинений в прошлых преступлениях и мелких нарушениях, и в июне около пятисот солдат отправились к Пизе. По-видимому, все шло не так гладко, как хотелось, если учесть, что Макиавелли пришлось отправить дона Мигеля с его ротой для восстановления дисциплины и повышения боевого духа новобранцев. Примерно в это же время Никколо составил доклад — вероятно, по запросу правительства, но явно предназначенный для более широкой аудитории, — в котором перечислялись все условия, необходимые для наведении порядка в ополчении. Макиавелли

был склонен говорить без обиняков, и потому с самого начала разом перечислил общеизвестные, хоть и нелицеприятные факты:

«Я не стану спорить о том, подходящее ли сейчас время, чтобы страна получила собственную военную организацию, ибо всем известно, что империи, королевства, княжества, а также обычные люди — от высших чинов до простолюдина — не способны обойтись без власти и силы, и вам самим недостает первого, притом что отсутствует второе. Единственный путь обрести и то и другое заключается в том, чтобы принять закон, который бы управлял армией и поддерживал ее в надлежащем порядке. И пусть более сотни лет, прожитых без вышеназванного, не вводят вас в заблуждение, поскольку, обдумав прошлое и настоящее, вы поймете, что ныне сохранить свою независимость прежними способами невозможно».

Затем Макиавелли анализировал государственное устройство Флоренции и рассуждал о том, в каких регионах следует набирать рекрутов. В частности, Флоренция не годилась для набора пехоты, так как горожане предпочитали служить в более престижной кавалерии и в любом случае больше привыкли командовать другими, нежели подчиняться. В дистретто (distretto) — то есть владения республики, расположенные за пределами городских земель Флоренции и Фьезоле, — входили и мятежные города, такие как Ареццо, «ибо таков тосканский нрав: ежели кто поймет, что может сам собой хозяйничать, то уже не захочет никого над собой, особенно если сам он вооружен, а сеньор его безоружен». И лишь пригород, или контадо (contado), — то есть сельская территория в окрестностях Флоренции и Фьезоле — был густо населен, зависим от Флоренции и не имел больших укрепленных поселений, могущих стать очагом народных волнений. Набирать рекрутов следовало повсеместно, и новобранцы из различных округов (bandiere)[45] формировали роты во главе с капитаном, который обучал их военному ремеслу. Капитанов следовало принимать из другой местности, нежели их подчиненные, к тому же в каждой роте капитан был только один.

Что же касается рекрутов, их надлежало держать в подчинении с помощью дисциплины и регулярных учений, а за преступления подвергать более суровым наказаниям, чем обычных граждан. И наконец, требовался соответствующий судебный орган, который ведал бы делами ополчения в мирное время, а с началом войны передавал бы свои полномочия Десятке. Если будет сформирована армия в контадо, то создать таковую в городе труда не составит. Свой доклад Никколо завершил финальным аккордом: «И тогда вы увидите, в чем отличие

избранных граждан от продажных солдат, которые служат вам ныне. Ибо дитя непокорное, вскормленное в вертепе, развратно и потому становится наемником, тогда как дитя благовоспитанное и образованное восславит себя и свою страну». С головой погрузившись в древнеримскую историю и культуру, Макиавелли судил обо всем по образцам, заимствованным из Античности. По его мнению, верность ополченцев должна была отражать гражданскую доблесть древних римлян времен Республики; именно эта доблесть стала решающим фактором, позволившим Риму выстоять и одолеть всех врагов. Однако упоминание о вертепе в отношении наемников звучит довольно странно, особенно в устах такого человека, как Никколо, который сам не прочь был воспользоваться услугами продажных женщин.

Несколько месяцев спустя Макиавелли выскажет те же соображения в другом докладе и опровергнет ряд возражений, возникших за истекшее время. Принимая на службу не всех или отбирая только желающих, можно было достигнуть лишь негативного результата, поскольку невозможно быть до конца уверенным в личной заинтересованности всех, даже если речь идет об отборной армии в 2 тысячи человек. Что же касается расходов, таковые ограничатся лишь жалованьем офицеров — сумма не такая уж и большая. Изготовление пик обходилось недорого, а остальное оружие можно было держать под рукой, храня в арсенале. Бессмысленно да разорительно платить рядовым солдатам в мирное время, так как скудное жалованье достатка все равно не обеспечит и дисциплину не укрепит. Более того, расходы будут обременительны для коммун. Взамен в качестве награды Макиавелли предложил освобождать от налогов тех, кто на поле боя совершит подвиг и вдохновит других: «Подобное деяние всегда, так или иначе, пробуждает людские надежды и придает сил сражаться, когда в этом возникнет нужда». И наконец, рекрутские наборы никак не повредят экономике различных областей, если учесть, что в ополчение записывали не более одного человека со двора, к тому же дисциплинированность солдат поможет поддерживать безопасность и воспитает чувство принадлежности к республике. Макиавелли понимал, что аргументы в пользу экономии средств звучали весьма привлекательно для отягощенных налогами флорентийцев, которые будут рады возможности повоевать за бесценок.

За лето сопротивление проектам Макиавелли ослабло отчасти потому, что новая армия пришлась по нраву флорентийцам, и еще потому, что после смены чиновников государственные посты заняли друзья Содерини. Тем временем

Никколо неустанно ходатайствовал о том, чтобы его предложения одобрили. Так, 5 октября по дороге в Болонью, следуя за папой римским и его свитой, он напишет Десятке: «Если Ваша Светлость уже видела пехоту герцога Урбинского и Нанни [Мораттини], то не устыдится своего ополчения и не станет его презирать». Настойчивые попытки Макиавелли доказать преимущества ополчения наконец принесли первые плоды: 11 октября Бьяджо Буонаккорси сообщил Никколо, что благодаря его замечаниям «корабль вскоре спустят на воду», и добавил, что в связи с переменами в составе Десятки возникли условия более благоприятные для принятия его законопроекта.

В итоге 6 декабря 1506 года Большой Совет и Совет Восьми большинством голосов принял решение учредить Комиссию Девяти по делам флорентийского ополчения (Nove ufficiali dell'ordinanza e milizia fiorentina), орган, руководивший национальной армией Флоренции в мирное время, — обычно его называли комиссией Девяти. Принятый закон воплотил в себе большинство предложений Макиавелли, хотя ограничение в 10 тысяч солдат свидетельствует о достигнутом компромиссе, устраивавшем и тех, кто, подобно Никколо, стремился ввести всеобщую воинскую повинность, и тех, кто ратовал за выборочный призыв.

Закон о создании ополчения также привел к возникновению целого ряда сдержек и противовесов. С началом войны руководство армией передавалось комиссии Десяти. Избранные правительством представители надзирали за командирами различных подразделений, тогда как избранные комиссией офицеры вступали в должность лишь с одобрения Синьории и Совета Восьми. Чтобы гарантировать власть республики, ополчение контролировалось группой профессиональных солдат под командованием чужестранца. Пока что эту роль исполнял дон Мигель де Корелла, но затем из-за многочисленных злоупотреблений он без промедления был снят с должности, а вскоре его неистовая жизнь оборвалась в заурядной драке с одним из своих земляков.

Для Макиавелли принятый закон об ополчении стал убедительным доказательством его личной победы, которая стала еще весомее в связи с тем, что секретарем новой комиссии станет он сам. 15 декабря 1506 года кардинал Содерини написал Никколо радостное письмо, в котором денежные ассигнования назвал «Божьим даром» и превозносил «великую роль» Макиавелли. Конечно, Флоренция все еще зависела от профессиональных солдат, особенно это касалось кавалерии: ополчение представляло собой пешую армию, обучать которую

было сравнительно легко, тогда как на подготовку кавалериста уходила уйма времени. Очевидно, Макиавелли собирался заняться и этой проблемой, но в более подходящее время. А пока что он был вполне удовлетворен тем, что сумел убедить флорентийцев согласиться с предложенным им нововведением. Со временем противники новой армии уймутся, особенно когда станет ясно, что Содерини не вправе управлять ополчением по собственному желанию; более того, рано или поздно в состав Девятки войдут многие враги гонфалоньера. И все же — как выяснится впоследствии — ненависть противников Содерини к Макиавелли, несомненно, усилилась.

Оценить истинный вклад ополчения в жизнь Флоренции нелегко, в особенности после тяжелейшего поражения, случившегося несколько лет спустя. Армию критиковали за устаревшее оружие и методы подготовки, помогавшие швейцарцам побеждать в Бургундских войнах 1474–1477 годов: огнестрельное оружие имели не более 10 процентов ополченцев, и все надежды возлагались на боевые порядки, в которых преобладали пикинеры. Но эффективность этой тактики опровергли в битве при Черриньоле массированные залпы испанских стрелков и атаки легкой пехоты, вооруженной мечами и баклерами. Однако этот урок еще предстояло усвоить. Даже прославленный Фабрицио Колонна, которого Содерини дважды выдвигал на пост командующего флорентийскими войсками и который позднее станет одним из собеседников в трактате Макиавелли «О военном искусстве», прямо заявил, что своим успехом испанцы обязаны скорее полевым укреплениям, нежели «действиям солдат и доблести командиров».

Следует отметить, что пика была наилучшим оружием для неопытных новобранцев, в особенности если их обучали приемам раз в месяц. К счастью, флорентийское ополчение никогда не участвовало в учениях целиком, и даже в проходившем дважды в год общем смотре (mostre grosse) были задействованы лишь несколько рот. Более того, флорентийские политики, одержимые страхом государственного переворота, создали громоздкую структуру управления, а часто сменявшиеся капитаны зачастую даже не успевали как следует узнать своих подчиненных. Макиавелли считал, что в подобных условиях ополченцы «всегда будут не уверены в своих командирах и скорее подчинятся власти государства, нежели авторитету отдельных людей». Присяга на Евангелии, которую приносили солдаты во время общего смотра, едва ли могла свести на нет недостатки, равно как и отсутствие всякой платы за службу. Но поскольку швейцарцы создали победоносную армию, причем с еще большими ограничениями,

продиктованными относительной независимостью кантонов конфедерации, логично было предположить, что подобного результата можно достичь и в Тоскане. В конце концов, швейцарская армия, согласно Макиавелли, сравнима с древнеримской, и Никколо был убежден в том, что ополченцам можно привить гражданскую доблесть древних римлян.

По иронии судьбы Макиавелли также отметит и то, как швейцарцы были разбиты в Южной Италии, когда испанская легкая пехота, прорвавшись через ряды пикинеров, перебила противника в ближнем бою подобно тому, как римляне побеждали македонскую фалангу. Однако поиски Макиавелли современного ему аналога Древнего Рима так и оставались бесплодными.

Глава 8
Вооруженный пророк

Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли, ибо, в добавление к сказанному, следует иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому нужно быть готовым силой заставить верить тех, кто потерял веру.

Никколо Макиавелли. Государь

Летом 1506 года ополчение было не единственной заботой Макиавелли. Говорили, что папа Юлий II бросил в Тибр ключи Святого Петра, чтобы покрепче сжать его меч.[46] Понтифик, несомненно, был от природы человеком воинственным и с первых дней своего правления провозгласил, что желает вернуть церковные владения, по разным причинам утраченные за последние десятилетия. Но чтобы добиться своего, ему нужно было действовать осмотрительно, особенно если дело касалось венецианцев, захвативших к тому времени ряд городов в Романье. Однако Юлий II прошел ту же школу жизни, что и его дядя Сикст IV, который прославился тем, что оказывал протекцию своим родственникам, и считался самым продажным понтификом за всю историю папства (хоть он и выжил в условиях жесточайшей конкуренции). Несмотря на подлый нрав, усвоив уроки проб, ошибок и изгнания, Юлий II научился выжидать и наносить удар лишь в самый подходящий момент. Все эти качества он сочетал с грубой властностью и умением действовать стремительно, что изумляло его современников, в том числе и Макиавелли.

В 1506 году Юлий II решил вернуть церкви Перуджу и Болонью и изгнать их правителей: Джампаоло Бальони и Джованни Бентивольо. С этой целью папа сумел добиться поддержки Людовика XII, намекнув монарху, что в противном случае заключит союз с императором Священной Римской империи и вместе с ним выбьет французов из Генуи. В числе его вероятных союзников была и Флоренция, и понтифик,

воспользовавшись тем, что кардиналы Содерини и Медичи упорно соперничали за его благосклонность, убедил первых гарантировать военную поддержку Флоренции. Конечно, кардинал Франческо не имел на то никаких полномочий и тем самым поставил своего брата Пьеро в незавидное положение. Кардинал никоим образом не хотел оскорбить II papa terribile («грозного папу») своим отказом, однако добиться согласия флорентийских властей — это совсем другое дело.

Доводы гонфалоньера в пользу того, что республике необходимо сохранить хорошие отношения с Юлием II и французами, не убедили его оппонентов, надеявшихся поставить Содерини в тупик, и те высказались за отказ папе. И все же, так и не сумев объединить силы, они вынуждены были покориться воле большинства и в конце концов согласиться с решением выбрать дипломата, который доставит папе их продуманный ответ. А он сводился к следующему: в настоящий момент Флоренция не может позволить себе лишиться войск и оставить без охраны границу с Пизой, но готова выслать необходимую помощь, едва понтифик «выдвинется». И вновь доставку этого послания поручили Макиавелли.

25 августа он отправился в путь и спустя три дня написал из Чивита-Кастеллана, что видел в Непи папскую армию. Похоже, Юлий II остался доволен ответом республики. Во время визита в местную крепость, «что случается крайне редко», папа также сообщил Никколо, что Флоренции не стоит беспокоиться о том, что союз с Джованни Бентивольо заставит Людовика XII нарушить данное им слово и лишить их помощи, равно как и о том, что, дескать, у Юлию II не достанет упорства достичь поставленной цели. Что же до венецианцев, понтифик пренебрег их предложением о помощи в обмен на Равенну и Форли, хотя отверг и просьбы некоторых изгнанников из Форли, которые, по замечанию Никколо, «верили, что от Ирода их посылают к Пилату». Макиавелли был восхищен решимостью и неукротимостью папы, возглавлявшего шествие своей армии.

В Перудже Никколо увидел понтифика с новой стороны. Джампаоло Бальони уже согласился сдать город на оговоренных условиях, позволив папскому гарнизону войти и занять ворота. Но нетерпеливый Юлий II въехал в Перуджу прежде солдат, по сути, отдав себя и своих кардиналов в руки Бальони. Встревоженный Макиавелли написал Десятке: «Если он [Бальони] не причинит вреда тому, кто явился отнять его владения, то лишь в силу миролюбия и гуманности. Через неделю я узнаю, чем все завершится». Бальони придерживался условий капитуляции, и это заставило Макиавелли задуматься о том, почему человек, столь

знаменитый своим преступным прошлым — в том числе отцеубийством и инцестом, — не воспользовался возможностью пленить папу вместе с его свитой.

Тогда Никколо решил, что Бальони послушался совета друзей и, выбирая между «силой и смирением», предпочел второе. Лишь позже, в «Рассуждениях», когда Юлий II внес свою лепту в отстранение Макиавелли от власти, он осудит малодушие Бальони, отказавшегося совершить «деяние, достойное вечной славы и всеобщего восхищения, ибо он первым доказал бы духовенству, сколь презренны те, кто живет и правит по их подобию». К тому времени выпавшие на долю Макиавелли невзгоды еще более углубили его врожденную и характерную для флорентийцев неприязнь к Церкви.

Из Перуджи папская армия двинулась дальше на север, а сам понтифик с нетерпением ожидал подкреплений, обещанных Людовиком XII и Флоренцией. Едва узнав, что французская армия уже в пути, Юлий II явно обрадовался и, как и следовало ожидать, вновь начал третировать посла Джованни Бентиволь. Когда дипломат представил папе список привилегий, которые его предшественник даровал Болонье, тот ответил, что хочет своими глазами увидеть жизнь горожан и внести изменения, если что-либо ему не понравится, а затем с угрожающим видом заявил, что «обладает силами, кои заставят трепетать не только Болонью, но всю Италию». Отчасти понтифик блефовал, потому что французские и флорентийские подкрепления еще не прибыли. По настоянию папы Макиавелли написал во Флоренцию, попросив незамедлительно отправить обещанные войска, а Юлий II сетовал на то, что, мол, путь займет у них слишком много времени.

В действительности же папская кампания была, по тогдашним меркам, молниеносной, причем настолько, что письма из Флоренции не поспевали за Макиавелли. «Никколо Макиавелли в Форли или туда, где его черти носят» — такой адрес вывел Бьяджо Буонаккорси на письме от 11 октября. К тому времени Юлий II уже прибыл в Форли, однако теперь, чтобы добраться до Болоньи, ему приходилось миновать территорию Фаэнцы, захваченной венецианцами. Во избежание риска он решил обогнуть их, пробравшись по землям республики, не удосужившись заблаговременно предупредить власти Флоренции, что заставило Макиавелли, не спешиваясь, проложить дорогу для папского кортежа. По извилистым горным дорогам Юлий II миновал Фаэнцу и прибыл в Имолу, а Никколо опередил его, добравшись до места 20 октября. Там он встретил послов из Болоньи, горевавших по поводу того, что Флоренция поддерживает понтифика, на что Макиавелли со смехом ответил:

мол, Бентивольо преподал Флоренции хороший урок, научив ее «плыть по течению», добавив, что в произошедшем виноваты сами болонцы.

Поскольку в прошлом Болонья подливала масла в огонь беспорядков в Пистойе и не раз науськивала Чезаре Борджиа на флорентийцев, Никколо не мог скрыть своего злорадства, видя, что для Бентивольо наступил час расплаты. Тем не менее Никколо не суждено было увидеть состоявшийся 10 ноября триумфальный въезд понтифика в город, так как 26 октября его отозвали назад во Флоренцию. Очевидно, затянувшееся пребывание Макиавелли при дворе понтифика стало поводом для злословий в канцелярии; по крайней мере, судя по насмешливому письму от 1 октября 1506 года, имитирующему эпистолы папской курии и написанному неким Джустиниано и другим анонимом, который подписался как «твой приятель»:

«Превосходительный и высоко вельможный господин! Поскольку, находясь здесь, мы разумеем, что Ваше доброе здравие и благостное расположение духа обусловлено величайшим довольством Вашей Светлости, а что до высокой чести, почестей и приличествующих Вашей натуре приятственных бесед с подобающими персонами, в коих недостатка нет, но неистощимое изобилие, и кои Вам симпатизируют, любят Вас и нежат, а также пышных застолий и несметного количества благотворных и изысканных яств, кои имеются в распоряжении Вашего желудка (поскольку Вы поглотили или же поглощаете больше обычного, будьте осторожны: атмосфера там не столь тонка, как здесь — она еще тоньше; она гладка на ощупь, приятна и мягка, как сообщил Ваш величественный и почтеннейший руководитель), то, с одной стороны, мы не можем не поздравить Вас и изо всех сил не порадоваться за Вас (превозмогая легкую зависть, коя у Вашей персоны отсутствует), но, с другой стороны, опасаемся, что благодаря испытанному Вами веселью, утонченным удовольствиям и изысканным яствам Вы так располнеете и обленитесь, что позабудете о нас, как уже не раз бывало, и не вернетесь домой, но что еще хуже, примете духовный сан и всецело превратитесь в теперешнего куриального священника. Да поможет Вам Бог и осчастливит Вас!

Мы с нетерпением ждем вестей с другого конца света, рассказа о лучших блюдах, будь то из мяса молодых телят или доморощенных горных козлят; и каждый из нас жаждет узнать, что же происходит в Пезаро.

У нас же ничего нового, если не считать того, что Арно течет в том же направлении, что и всегда.

Прощайте. Наши наилучшие пожелания Вашей Светлости per

Infinita secula seculorum.[47] Аминь».

Друзья Макиавелли подшучивали над его пристрастием к роскоши и неприязнью к церковникам. Среди служащих канцелярии, людей светски образованных, наделенных присущим всем флорентийцам чувством ядовитого юмора, подобный обмен остротами был делом обычным. К примеру, известно, что во время дипломатических поездок Макиавелли имел обыкновение отвечать на письма непристойностями и остротами, над которыми все смеялись, едва не «вывихнув челюсть». Ни один из этих комичных эпизодов не дошел до нас, хотя сходный пример содержится в уставе придуманного Макиавелли братства, высмеивавшего многие религиозные организации тогдашней Флоренции. «Устав общества любителей наслаждений» (Capitoliperuna compagnia dipiacere), написанный примерно в 1504 году, сопоставим с обменом колкостями, бытовавшим в канцелярии, и свидетельствует о ироничном остроумии Никколо.

Правила этого импровизированного общества, открытого для обоих полов (в настоящие братства допускались либо только мужчины, либо только женщины), предписывали безостановочно сплетничать и «непременно говорить дурно обо всех». Дамы — участницы общества обязывались не реже раза в неделю посещать «службы» (Servi) — как явствует из пьесы «Мандрагора», сервитов из Сантиссима-Аннунциата,[48] которых Макиавелли считал шайкой распутных негодяев, — в противном случае «понести наказание и прийти на службу повторно». Если хотя бы двое мужчин сочтут какую-нибудь из дам слишком красивой, ей надлежало поднять юбку на «четыре дюйма выше колен», тогда как любой привлекательный господин должен был «доказать, что не воткнул себе в штаны носовой платок или нечто подобное». Всякая дама, имевшая свекровь, должна была в течение шести месяцев ее отравить и применить то же средство к мужьям, «не исполняющим супружеского долга». Наказания для женщин включали «ссылку в мужской монастырь» и «созерцание, исключительно в очках, великана на площади [подразумевается Давид Микеланджело, установленный в 1504 году]», а для представителей обоих полов — «получасовое стояние с неприкрытым задом, пока все вокруг испускают газы». Правила пусть и курьезные, но все же свидетельствуют о весьма распространенных во флорентийском обществе пороках, среди которых были склонность к зависти и злословию, а также отсутствие искренней веры в Бога. Никоим образом не поднимая себя на недосягаемый уровень морального судьи, Макиавелли предпочитал высмеивать пороки, которые были присущи и ему самому.

На свою беду, Никколо не ограничивался осмеянием распространенных пагубных пристрастий — с чем смирился бы всякий — и обратил свое острое как бритва перо против конкретных особ. Примерно в 1504 году Макиавелли взялся за «Маски» (La Maschere), комедию в стиле Аристофана, в которой «под вымышленными именами» зло высмеял кое-кого из современников. Написать это сочинение Никколо подвиг Марчелло Виргилио Адриани. Несмотря на то что произведение было утрачено из-за отказа внука Никколо Джулиано де Риччи переписать обнаруженные им фрагменты (едва разборчивые), сам автор, вероятно, поделился наиболее пикантными фрагментами с друзьями. Если какие-то обрывки этого сатирического опуса и просочились сквозь стены канцелярии — что также весьма вероятно в таком болтливом городе, как Флоренция, — то это вызвало бы еще большую ненависть объектов его насмешек. Так или иначе, к концу 1506 года часть горожан сочли, что этот выскочка Макиавелли слишком много себе позволяет и настала пора преподать ему урок хороших манер. И вскоре такая возможность им представилась.

Император Максимилиан I Габсбург[49] был вовлечен в политику Италии с конца XV века, и, хотя ему нередко приходилось обращать внимание на проблемы собственного государства, он никогда не оставлял попыток прибрать к рукам то, что, по его мнению, принадлежало ему по праву. Император жаловал герцогство Миланское Людовико Сфорца и разгневался, узнав, что французы не только взяли того в плен, но и захватили то, что считал своей вотчиной. Священная Римская империя и Франция враждовали с 1479 года, после смерти герцога Бургундии Карла Смелого две державы начали войну за его наследство. Более того, Максимилиан I считал Северную Италию частью своей империи, что лишь укрепило его решимость очистить эти территории от французов. К тому же ему хотелось проучить венецианцев и тем самым отомстить им за самовольный — как он полагал — захват Венето и части Ломбардии, не говоря уже о землях, которые, как он считал, принадлежали Церкви.

В 1502 году во Флоренцию с просьбой оказать военную и финансовую поддержку прибыли послы императорского двора. Правительство республики вежливо отклонило их просьбу, но этот визит не прошел бесследно: некоторые горожане, недовольные отношением Людовика XII к Флоренции, задумались о заключении союза с Максимилианом I. Содерини неизменно выступал за альянс с Францией, но излюбленный союзник вновь подвел флорентийцев. В ноябре 1506 года, когда Генуя восстала против власти Людовика, король попросил Флоренцию прислать

ему солдат, пообещав взамен помощь при захвате Пизы. Республика своевременно исполнила его просьбу, но после взятия Генуи, когда пришло время сдержать обещание, король отказался выступить на юг, сославшись на то, что Максимилиан I собрался пойти на Италию.

Новым оскорблением послужило предложение Людовика быть вместе с королем Испании посредником в мирных переговорах с пизанцами — более унизительного предложения флорентийцам до сих пор никто не делал. В результате под давлением разгневанных горожан власти республики начали обсуждать, можно ли найти нового союзника и присоединиться к Максимилиану, не прогневав при этом Францию. В связи с этим было решено отправить не посла, а представителя с ограниченными дипломатическими полномочиями (mandatario) в рейхстаг, который должен был собраться в Констанце в апреле 1507 года. Сначала Содерини хотел поручить эту миссию Макиавелли, но его решение вызвало бурю протестов среди аристократов, полагавших, что для выполнения подобной задачи необходим человек более высокого происхождения.

Притом что среди флорентийских аристократов оказалось немало врагов гонфалоньера, пожелавших лишний раз вставить палки в колеса Содерини, они были по-своему правы: в мире строгих иерархий успех подобной миссии во многом зависел от социального положения человека, а не от его способностей. Так, отправить ко двору императора обычного секретаря значило совершить серьезную дипломатическую ошибку, которая могла привести к противоположным результатам. Противники Содерини добились своего, и 25 июня правительство направило в Германию Франческо Веттори.

В известном смысле это решение было компромиссным, поскольку Веттори хоть и не был другом гонфалоньера, но и к числу его ярых противников (в отличие от братьев Паоло, люто ненавидевших Содерини) также не принадлежал, во всяком случае, свидетельств тому не было. Более того, ранее Веттори занимал ряд постов в административных и политических структурах Флоренции, однако в силу ограниченности полномочий его опыт в международных делах был небогат.

Никто так не переживал неудачу гонфалоньера, как Макиавелли. Хотя он и сам не рассчитывал отправиться в путешествие по ту сторону Альп, но воспринял такое решение как акт публичного унижения. Никколо, по всей вероятности, полагал, что подвели его именно те, кого он считал друзьями, в особенности Содерини. Макиавелли наверняка оплакивал свою участь, хоть у него и не было особых оснований, принимая во

внимание то, что в конце июля он получил два письма, авторы которых пытались его и утешить, и дать мудрые советы.

Филиппо Казавеккиа, которому Никколо доверял, приводил длинный перечень примеров из Античности и недавней истории Флоренции, когда дружба перерастала во вражду, что сам он считал в некоторой степени неизбежным «по прошествии времени». Также Казавеккиа иронично подметил, что «чаще всего города разрушает тесная дружба, какую мы видим каждый день». Он подчеркнул, что в отношениях необходимо соблюдать обходительность и сдержанность, и не только ради сохранения дружбы, но и «во избежание зависти и подозрительности, столь распространенной в городах, подобных этому». Филиппо явно пытался втолковать Макиавелли, что его поведение отдалило от него тех, кто готов был его поддержать, и предупредить, чтобы Никколо ради собственного блага ни в коем случае не сторонился Содерини и не держал на него зла. «Не спешите судить о триумфе в Германии, — писал Казавеккиа, — ибо хвастунам, отнявшим его у вас, в Азии не преуспеть».

Алессандро Нази выскажет эту же мысль в письме Макиавелли, датированном 30 июля 1507 года. Но если Филиппо писал довольно выспренне, то подход Нази был куда приземленнее:

«Мой дорогой счастливец Макиавелли! Надеюсь, вы пришли в себя. Ваше письмо от 23-го числа сего месяца было довольно назидательным, но я не намерен отвечать на него в силу нехватки времени и бумаги. Я был бы рад узнать, что теперь, когда вы оправились, вам плевать на миссию при дворе императора, и верю, что лучше бы вам оказаться во Флоренции, чем в землях германцев, о чем мы сможем поболтать при встрече.

В конце концов, всему приходит конец, как это происходит с детьми, чьи родители иногда дозволяют им забавляться с тем, что кажется тем интересным, а потом, когда интерес начинает их раздражать, отбирают игрушку. Ибо честные, богобоязненные люди, пекущиеся о благе общества, скорее примут лучшее решение, независимо от положения дел, достатка или бедности, высокого положения или низкого».

А закончил Нази до боли знакомым рефреном: «И если вы все же надумаете мне ответить, это не будет смертным грехом», тем самым напомнив Никколо о том, как важно поддерживать добрые отношения, если он хочет, чтобы «честные, богобоязненные люди, пекущиеся о благе общества», оставались на его стороне. Если одни, подобно Нази, видя равнодушие Макиавелли, лишь пожимали плечами, другие, напротив, могли затаить на него обиду, в чем Никколо убедился на собственном опыте.

Остаток лета Макиавелли руководил формированием воинских подразделений, передвижениями войск и перевозкой припасов по флорентийским владениям. Пришло и длинное письмо от дона Мигеля де Кореллы: кондотьер пытался оправдаться, видимо, надеясь предотвратить свою отставку (возмущенные флорентийцы требовали его казни, чтобы впредь обезопасить себя от мстительного и обозленного врага — над городом все еще витал призрак Паоло Вителли).

Лишь раз рутинную работу Никколо прервала краткая поездка на юг Сиены в августе. Правительство поручило Макиавелли разузнать о приезде кардинала Бернардино Карвахаля, которого папа отправил в Германию для выяснения истинных намерений Максимилиана, но Никколо не сумел ничего разузнать, довольствуясь лишь слухами. Единственно, о чем можно было предположить, и с этим соглашались, по-видимому, все, и не только в Сиене, — это то, что Максимилиан намеревался выступить в Италию, поскольку рейхстаг уже проголосовал за начало сбора войск для проведения этой кампании. По ту сторону Альп сгущались тучи, и Флоренции нужно было найти тихую гавань на случай, если разразится буря.

С самого приезда ко двору императора Франческо Веттори столкнулся с массой сложностей, связанных главным образом с его ограниченными полномочиями, а также с полнейшим незнанием немецкого языка (отчасти проблему решала латынь, на которой говорили в папской курии, однако отсутствие языковых навыков не позволяло послу общаться с немецкими чиновниками в кулуарах, как он хотел). Император стремился получить от Флоренции финансовую помощь, и Веттори, хоть и отклонив наиболее абсурдные требования монарха, всерьез полагал, что 30 тысяч флоринов хватит, чтобы смягчить его враждебное отношение к республике. Однако выполнение поставленной Франческо задачи осложняли представители других итальянских государств, неустанно нашептывавших императору о том, что Флоренция платит Людовику XII, тем самым давая французам возможность удерживаться в Италии. Между тем, по непроверенным слухам, весьма заманчивое предложение Максимилиану поступило от Медичи, желавших заручиться его поддержкой и вернуть себе власть. Расстроенный Веттори попросил правительство заменить его другим, более подходящим послом, который сумел бы «провести переговоры и принять решение». Император урезал требуемую сумму до 50 тысяч дукатов, но желал получить их немедленно, заявив, что в противном случае пусть представитель Флоренции больше не показывается ему на глаза.

Такое требование поставило республику перед нелегким выбором: отправить посла и заплатить, оттолкнув от себя французов, или же не отправлять ни посла, ни денег и тем самым навлечь на себя гнев Максимилиана? Для принятия окончательного решения была созвана совещательная коллегия, которая постановила отправить ко двору императора Аламанно Сальвиати и Пьеро Гвиччардини, наделив обоих соответствующими дипломатическими полномочиями. Но Гвиччардини ехать отказался, заявив, что было бы глупо выводить из себя Людовика XII в обмен на призрачные посулы Максимилиана. После дальнейших дебатов члены коллегии отвергли предложение расширить полномочия Веттори, однако согласились предоставить ему новые, более детальные инструкции.

Содерини ждал удобного случая, чтобы загладить вину перед своим верным помощником Макиавелли. Сославшись на то, что передавать поручение Веттори через обычного курьера небезопасно, он предложил, чтобы Никколо лично передал Веттори решение коллегии. На этот раз оппоненты гонфалоньера не нашли поводов для возражений, хотя и заподозрили, что друзья Содерини поддержали кандидатуру его любимчика, поскольку были уверены, что тот передаст инструкции «согласно их замыслам и планам». Иными словами, гонфалоньер, который неизменно поддерживал французов, и теперь изо всех сил пытался угодить Людовику и воспрепятствовать союзу с Максимилианом.

Макиавелли отправился в путь немедля, взяв предназначенные для передачи Веттори правительственные наставления: предложить императору 30 тысяч дукатов, в случае необходимости поднять сумму до 50 тысяч с условием выплаты тремя частями, причем только в том случае, если не останется никаких сомнений в том, что войска Максимилиана уже на пути в Италию. Взамен император должен был гарантировать признание суверенитета Флоренции. Содерини был прав — доставка депеши на самом деле оказалась небезопасным предприятием: едва Макиавелли прибыл в Ломбардию, как движимые подозрениями французские власти распорядились тщательно его обыскать, поэтому Никколо пришлось разорвать письмо. Путешествуя по Швейцарской конфедерации, Никколо записывал свои суждения не только о том, как превосходно организована там оборона, но и о стремлении местных жителей к независимости. Позднее, в «Рассуждениях», Макиавелли, всегда искавший аналогии с Античностью, назовет швейцарцев «единственным народом, живущим на манер древних, касается ли это их религии или же

порядков в армии». Этот опыт лишь укрепил его убежденность в том, что разумными законами и обычаями и во флорентийском государстве можно добиться того же результата, что и в Древнем Риме. В Констанце Никколо встретился с прославленным композитором Исааком Генрихом, который был женат на флорентийке. Макиавелли, как уже отмечалось, высоко ценил музыку и, возможно, посещал концерты Исаака во время его визитов во Флоренцию при правлении Медичи.

Кроме того, побеседовав о намерениях Максимилиана с послом Савойи, Никколо стал понимать всю сложность стоящих перед ним дипломатических задач. «Хотите за два часа узнать то, что я не смог выяснить за многие месяцы?» — спросил посол, а затем пояснил, что, мол, император держит свои планы в секрете и, чтобы быть в курсе всего, необходимо везде иметь своих шпионов. Удерживая в памяти отрезвляющие слова посла, Макиавелли отправился в Инсбрук, надеясь отыскать там Веттори. По дороге ему то и дело попадались неорганизованно следовавшие войска, что подтверждало его прежнее представление об империи как о сборище формально независимых государств, каждое из которых имело свои интересы. Максимилиан, располагая неплохой армией, остался почти без гроша и нигде не мог отыскать средств на проведение продолжительной итальянской кампании. И в самом деле, рейхстаг в Констанце, вместо того чтобы решать насущные вопросы, занимался «пустословием» (ип berlingozzo).[50]

Наконец, Никколо в Боцене нагнал Веттори и рассказал ему об уничтоженных письмах. Вероятно, памятуя о недавних своих неудачах в политике, он в кои-то веки прислушался к совету друзей и сделал все возможное, чтобы успокоить Веттори. В первом письме правительству Макиавелли настаивал на своем желании вернуться домой, но в ответ Десятка сообщила, что оставляет это на усмотрение Веттори. Посол, в свою очередь, настоял на том, чтобы Никколо задержался до конца переговоров, «ибо его присутствие здесь необходимо, и я уверен, что в случае нужды и при условии, что ничто не встанет у него на пути, он готов идти на любой риск и приложить все усилия ради любви к Флоренции». А опасаться было чего, если учесть, что император направил свои войска на венецианцев, и Макиавелли вполне мог оказаться в очаге боевых действий. И что еще важно, присутствие Никколо наверняка скрашивало одиночество Франческо, нуждавшегося в помощнике, вдобавок умевшем добывать сведения.

Нет никаких доказательств тому, что Веттори и Макиавелли прежде встречались (хотя обучались у одного и того же

наставника), однако они прекрасно поладили. Оба имели схожие литературные пристрастия, выросли в одном районе Флоренции и, о чем также следует упомянуть, были большими охотниками до женского пола. Кроме того, Веттори поддержал — хотя и с некоторыми оговорками — военную реформу Макиавелли, и Никколо наверняка был немало удивлен, что на его стороне оказался представитель флорентийской аристократии. Несомненно, Макиавелли понимал, что Веттори — как раз тот человек, с которым ему следовало бы подружиться, в особенности если принять во внимание семейные связи последнего с противниками Содерини (дядей Франческо был Бернардо Ручеллаи), между тем оба посла с самого начала прониклись друг к другу искренней симпатией. Все это, а также сближавшие их личные качества способствовали и преодолению разницы в возрасте и происхождении, и тесному их сотрудничеству в ходе возложенной на них миссии при дворе императора, но и заложили основу для возникновения крепкой дружбы, которой суждено было принести плоды в далеком будущем.

Депеши, отправленные Веттори во Флоренцию с января по июнь 1508 года, свидетельствуют о немалом вкладе Макиавелли. Франческо всегда подписывал письма сам, как того требовали формальности, но зачастую Никколо вписывал в них кое-что и от себя. И иногда, как явствует из писем, мнения их расходились. Даже после того, как венецианцы наголову разбили Максимилиана, Макиавелли продолжал говорить о могуществе империи, тогда как Веттори в той же депеше выражал сомнения в истинной силе Германии. Тем не менее их разногласия никогда не выходили за рамки корректной дискуссии. «Мы с Никколо обсуждали эти вопросы», — напишет Франческо в одном из писем Десятке, а позднее заметит: «Если бы Никколо уехал, я увидел бы меньше, чем смог увидеть». Франческо Веттори, несомненно, признавал таланты и способности Макиавелли. Однако Веттори отличало более приземленное, чем у Никколо, отношение к жизни и явное предпочтение практики теории. Позднее эти различия будут постоянно давать о себе знать во многих эпистолярных поединках между Франческо и Никколо, как дружеских, так и творческих.

При дворе императора послы столкнулись с упорным сопротивлением. Все знали, что Максимилиан недолюбливал Содерини за его подход к международной политике, и предыдущим летом император написал Аламанно Сальвиати с просьбой воспользоваться своим влиянием во Флоренции и вывести город из сферы влияния Людовика XII. По-видимому, Максимилиан считал бессмысленным обращаться с подобной

просьбой к гонфалоньеру, ибо верность Содерини союзу с французами была общеизвестна. Более того, флорентийский советник императора Пигелло Портинари оказался ярым противником Содерини, и, учитывая связь Никколо с гонфалоньером, его присутствие при дворе значительно осложняло дело. Когда Веттори представил Макиавелли императору, тот подозвал Портинари и шепотом спросил, «кем был этот новоприбывший секретарь».

Именно Пигелло мог распускать во Флоренции злонамеренные слухи об истинных целях миссии Никколо, определенную роль сыграло и происхождение Макиавелли, чего многие и опасались. «Через несколько дней свита двинется в Трент, и я бы отправил вслед Никколо, — напишет Веттори 14 февраля 1508 года, — но они [Максимилиан и его советники] затаили бы обиду, а противостоять им мы не в силах. Быть может, нам не следует оставаться в Германии, но пока что надлежит подчиняться обычаям этой страны». В иерархически выстроенной империи Веттори не имел права делегировать свои официальные полномочия кому бы то ни было, тем более человеку, которого при всех талантах могли счесть парвеню.[51]

Предложенные первоначально 30 тысяч дукатов советники императора отвергли, и флорентийские послы подняли сумму до 40 тысяч, надеясь тем самым снискать благосклонность императора. Но и это предложение в обмен на «сохранность и безопасность Флоренции, учитывая средства города, равно как и прочие условия», Максимилиан счел слишком скудным и потребовал немедленной выплаты ему 25 тысяч дукатов. Веттори обратился к монарху с протестом и заявил, что, даже если республика и соберет такую сумму, «оплата будет гарантированной, а помощь — нет» и в случае победы венецианцев деньги пропадут, а если победит Максимилиан, его запросы возрастут до 60 тысяч дукатов. Еще жестче финансовые аппетиты императора прокомментировал Макиавелли: «Если бы на всех деревьях Италии росли деньги, их бы все равно не хватило».

Веттори не имел права ничего обещать без одобрения правительства, и в любом случае на принятие им решения и передачи его послам потребовалась бы не одна неделя. Тем временем Макиавелли и Веттори следовали за королевским кортежем через Тироль. Дни и недели сменяли друг друга, и послы встречали новых и новых солдат, шедших на юг. Между тем просочились вести о победе венецианцев, и республика стала тянуть время, а Макиавелли слег в постель с тяжелым недугом — дали о себе знать почечные камни, — что сильно обеспокоило

Веттори. Когда Никколо пожелал вернуться во Флоренцию, Франческо не имел ни власти, ни желания его остановить. В начале июня венецианцы без труда договорились с представителями императора заключить перемирие на три года, согласно которому Венеция возвращала небольшие районы на севере Фриули, итальянские земли в Тироле и стратегически важный порт Триест. Вскоре Макиавелли отправился домой и, презрев хворь, вернулся в рекордно короткий срок — 16 июня 1508 года.

Увиденное и пережитое при дворе императора вдохновит Никколо написать «Доклад о положении дел в Германии» (Rapporto di cose della Magna) — своеобразный документ, который он еще дважды перепишет, добавляя новые подробности. В этой служебной записке гораздо сильнее, чем в других его сочинениях, отразится характерное для Макиавелли противоречие между прагматичным аналитиком и умозрительным теоретиком. С предельной точностью он описал хроническую нехватку средств в императорской казне, склонность монарха менять свое решение в соответствии с последним из полученных советов и даже то, как трудно ему держать в узде подданных. Однако не столь объективно Никколо изобразил немцев, представив их бережливыми простаками, которые, при всей зажиточности, не строили искусных зданий, одевались скромно («тратя на одежду два флорина за десять лет») и не держали крепостных крестьян, довольствуясь хлебом с мясом и теплом домашнего очага. Такая деревенская жизнь, конечно, пестовала хороших солдат и сторонников свободной политической жизни. Очевидно, на сочинение Никколо повлиял трактат «Германия» древнеримского историка Корнелия Тацита, к тому же Макиавелли ни разу не бывал ни в Нюрнберге, ни в ганзейских городах на севере. Во многом его опыт ограничивался Тиролем и некоторыми районами Швейцарии, и уклад жизни там как раз подтверждал его предрассудки, коренившиеся в страсти ко всему античному.

Макиавелли не довелось отдохнуть дома, поскольку очень скоро его направили руководить кампанией в Пизе, где флорентийцы применяли тактику выжженной земли (guasto). После того как попытки штурма провалились, они были решительно настроены взять Пизу измором, надеясь, что сотни укрывшихся в городе изголодавшихся беженцев из окрестных поселений вынудят пизанцев капитулировать. Чтобы пресечь доставку припасов в осажденный город по морю, республика наняла генуэзских корсаров патрулировать морские пути. Однако дело осложнило вмешательство Людовика XII, который потребовал, чтобы Флоренция прекратила кампанию, под

предлогом того, что с 1494 года Пиза заходится под протекцией французской короны, и пригрозил в противном случае подкрепить свои слова делом. Но на самом деле король опасался, что успех флорентийцев ослабит их зависимость от Франции, а вероятнее всего, он просто решил проучить Флоренцию за заигрывания с Максимилианом I.

Республика выразила протест, заявив, что в рамках союзного соглашения 1502 года она имеет право вернуть утраченные земли. Однако протест пропустили мимо ушей, и Флоренции пришлось выплатить 100 тысяч дукатов Людовику и 50 тысяч королю Фердинанду Арагонскому (не говоря уже о подкупе различных придворных министров обоих государей), чтобы гарантировать их невмешательство в войну с Пизой. «Заткнув все глотки и разинутые рты», как желчно заметит Макиавелли во второй части «Десятилетий», браня на чем свет стоит европейских монархов за их неприкрытую и неутолимую жадность. В это же время, видя, как Флоренцию бросили те, кто обещал ее защищать, мыслящий юридическими категориями Франческо Гвиччардини с горечью заключил: «Ныне власть денег способна добиться куда большего, чем уважение к чужой чести».

Едва ли король Франции испытывал угрызения совести по поводу совершаемых им бесчестных поступков, и едва ли он и Фердинанд Арагонский сдержали бы слово, получив флорентийские деньги: в политике неделя — срок огромный, а изменчивые обстоятельства оправдывали любые поступки. Но вскоре Флоренции несказанно повезло, и ей не пришлось сражаться с внешними врагами в борьбе за Пизу.

Максимилиан I не смирился с унижением, которому подвергли его венецианцы, а папа римский с каждым днем терял терпение, глядя на то, как Венеция удерживает земли, которые он считал собственностью Церкви. Кроме того, король Испании был возмущен тем, что венецианцы захватили ряд портов в Южной Италии, в то время как Людовику XII позарез нужно было признание Максимилианом I Милана французской вотчиной, кроме того, он жаждал оттяпать занятые Венецией восточные территории герцогства. В итоге в ноябре 1508 года представители вышеперечисленных держав встретились в Камбре, где обсудили возможный крестовый поход против Османской империи. Переговоры проходили спешно, и уже спустя месяц была сформирована так называемая Камбрейская лига, главной целью которой была «война с язычниками». Но кампанию против османов решили начать лишь после того, как будет повержена Венеция, поскольку все стороны сошлись на том, часть земель присвоены ею незаконно. В ближайшем будущем Флоренция

могла только приветствовать такой альянс, потому как он не только развязывал ей руки в борьбе с Пизой, но и отвлекал венецианцев от вмешательств в жизнь Тосканы. Тучи сгущались над Италией, а тем временем буря разразилась и в самой Флоренции.

Медичи все еще не оставляли надежд вернуться в родной город и, поняв, что силой ничего не добиться, решили прибегнуть к иным средствам. Кардинал Джованни де Медичи сумел втереться в доверие к понтифику, и по его просьбе Юлий II обсудил с флорентийским послом в Риме просьбу Джованни и его брата Джулиано вновь допустить их в город, а в случае отказа хотя бы позволить их племяннице Клариче, дочери покойного Пьеро де Медичи, выйти замуж во Флоренции. Посовещавшись, Синьория приказала послу впредь воздержаться от передачи подобных просьб и сообщить папе, что, находясь в изгнании, Медичи и без того живется припеваючи, во всяком случае, куда лучше, чем они того заслуживают. Решив во что бы то ни стало выдать Клариче замуж за флорентийца, в начале 1507 года кардинал отправил в город свою невестку Альфонсину, урожденную Орсини и вдову Пьеро, якобы забрать принадлежавшее ей по закону приданое, конфискованное республикой вместе с собственностью Медичи. Однако истинная цель заключалась в том, чтобы найти в городе подходящего зятя из числа тех, кто мог бы повлиять на законодательные органы и хотя бы смягчить наказание ее семьи — задача не из легких, несмотря на огромное приданое Клариче в размере 6 тысяч флоринов. В 1506 году Содерини уже обвинил некоего Франческо Питти в измене только за то, что тот пожелал взять Клариче в жены.

Поговаривали, что Клариче уже получила предложение от одного из племянников Содерини, но гонфалоньер воспротивился, опасаясь, что подобная женитьба негативно скажется на его авторитете в народе. Как оказалось, жениться на этой даме решился Филиппо Строцци, потомок прославленного рода, издавна противостоявшего семейству будущей невесты, так как при правлении Медичи многие Строцци пострадали от репрессий или были изгнаны. Едва в ноябре 1508 года о решении Филиппо (несмотря на все попытки сохранить его в тайне, что в принципе невозможно во Флоренции) стало известно в городе, как все Строцци тут же выступили против его женитьбы в память о стародавней вражде с Медичи. Они имели все основания страшиться политических последствий этого брака.

Несмотря на сопротивление родни, Филиппо не отступал. Он заявил, что, разорвав брачный контракт, он навлечет на себя

бесчестие, ненависть родственников Кларице и, кроме того, будет вынужден выплатить 2 тысячи дукатов. Филиппо умолчал об очевидном факте: кроме прочего он лишался приданого невесты, а в деньгах он крайне нуждался, потому как большую часть немалого отцовского состояния он пустил на строительство самых величественных палаццо во Флоренции[52] (не все флорентийцы соглашались с высказыванием Макиавелли о том, что фортуна подобна женщине, которую необходимо держать в узде, однако никто не стал бы оспаривать довод о том, что держать в узде необходимо ее богатство).

Пытаясь помешать этой женитьбе, Содерини содействовал тому, что Комиссия Восьми по охране государства (Otto di Guardia) вызвала Филиппо к себе на разбирательство, в результате Флоренция разделилась на противников и сторонников брачного союза Строцци — Медичи. Юлий II отправил из Рима требование Синьории разрешить молодым людям пожениться, но в ответ получил вызывающее послание, в котором ему посоветовали не совать нос в чужие дела. Содерини считал сложившуюся ситуацию посягательством на его власть и, возможно, попыткой Медичи подготовить таким образом свое возвращение. В мгновение ока ящик для доносов (tamburo) Совета Восьми наполнился обвинениями против Строцци; предстоящая женитьба возмутила многих, став излюбленной темой городских сплетен.

Филиппо умело защищался перед Комиссией по охране государства и заметил, что ни Джованни, ни Джулиано де Медичи никогда не объявлялись бунтовщиками (ribelli). Так или иначе, наказания по приговорам, выносимым мужчинам любого семейства, никогда не распространялся на женщин. В качестве примера Филиппо упомянул дам из рода Пацци: после заговора 1478 года против Медичи их родственников приговорили к смертной казни, однако им самим было разрешено выходить замуж на флорентийцев. Какими бы убедительными ни были доводы Филиппо, его враги тоже располагали аргументами. Самым болезненным ударом для него стал анонимный донос, который, по слухам, написал не кто иной, как Макиавелли — столь хитроумно он был составлен.

Как явствовало из документа, поскольку Пьеро де Медичи трижды нападал на город, по законам республики все его ближайшие родственники считались мятежниками; из чего следовало, что Филиппо должен понести наказание за связь не с дочерью мятежника, а с самим мятежником, в данном случае мятежницей. Опасность этого умозаключения трудно было недооценить: прежде всего, кем завершался род (stripe) Пьеро де

Медичи? Если продолжить логическую цепочку, выйдет, что в числе мятежников могли оказаться все кровные родственники Клариче, семейств Сальвиати, Ридольфи и Ручеллаи. Все это противоречило законам и установленным порядкам, и хотя авторство Макиавелли никто не подтвердил, одной убежденности людей в этом предположении оказалось достаточно, чтобы еще сильнее озлобить тех, кто и без того враждебно относился к секретарю.

В итоге Филиппо сумел склонить Строцци на свою сторону и, заручившись в городе достаточно влиятельной поддержкой, сумел избежать опалы. Совет Восьми снял с него обвинение в заговоре против государства, ограничившись штрафом в размере 500 флоринов и ссылкой в Неаполь сроком на три года. В итоге Содерини так и не добился суда Синьории над Строцци, а новое правительство, вступившее в должность в январе 1509 года, оказалось ничуть не уступчивее прежнего (в число приоров вошел Нери Каппони, зять Филиппо). Брачный союз Строцци — Медичи стал для Содерини крупным поражением, и авторитет гонфалоньера снизился еще сильнее после политической неудачи, постигшей его несколькими месяцами ранее. В Риме правитель Альтопашо Гульельмо Каппони вербовал сторонников, намереваясь стать архиепископом Флоренции, а Содерини и его брат, кардинал Франческо, пытались ему помешать, отчасти из личной неприязни к весьма непривлекательному роду Каппони — их вражду обостряло длительное соперничество двух семейств,[53] — отчасти потому, что кардинал сам метил на эту должность.

Гонфалоньер все же добился того, чтобы Синьория убедила Юлия II отменить назначение Каппони, однако Содерини — дабы избежать обвинений в корысти — пришлось смириться с тем, что вместо его брата во флорентийскую епархию был назначен почтенный Козимо де Пацци. Хотя в XV веке его семья была ярым противников Медичи, Козимо получил эту должность благодаря влиянию кардинала Джованни. Этот случай, а также свадьба Филиппо и Клариче свидетельствовали о том, что Медичи в силах создать группы влияния, отстаивавшие их интересы во Флоренции. Что же касается Макиавелли, то впоследствии женитьба Строцци обернется для него выгодой, причем такой, какой он себе и вообразить не мог.

В феврале 1509 года началась заключительная кампания против Пизы, решительно настроенные флорентийцы надеялись завершить ее к лету, тогда как те, кто подпитывал их военную мощь, желали как раз обратного. Макиавелли вновь отправили на передовую с поручением организовать блокаду города. «Мы возложили эту миссию всецело на ваши плечи», — писал Совет

Десяти 15 февраля. Никколо, с присущей ему беспечностью, решил пренебречь присутствием Каппони, добродушного наблюдателя из Флоренции, который неизменно держал его в курсе дел, причем дошло до того, что Содерини и Буонаккорси пришлось напомнить Макиавелли о необходимости поддерживать добрые отношения с политическим и военным руководителем. Никколо пообещал следовать их совету, но на деле, ничуть не изменив своего поведения, являлся к Каппони для доклада лишь изредка.

Такое отношение секретаря не обрадовало кое-кого из власть предержащих, и Совет Восьми был вынужден назначить в помощь Каппони еще двоих уполномоченных, и, что примечательно, одним из них оказался давний недруг Макиавелли, Аламанно Сальвиати. Три представителя республики встретились с Макиавелли 10 марта в Кашано и решили разбить вокруг Пизы три лагеря, чтобы не пропустить в город ни войск, ни провизии. Загнанные в угол пизанцы решились на жест отчаяния — отправили делегацию к Джакопо Аппиано, правителю Пьомбино, с просьбой выступить посредником между ними и республикой и вызвать посла из Флоренции для обсуждения условий капитуляции. Решив, что пизанцы всего лишь пытаются выиграть время, Десятка отправила Макиавелли указания, предписывавшие «детально и с надлежащей тщательностью расследовать дело».

Встретившись с Никколо, пизанцы тут же запротестовали, мотивируя это тем, что, дескать, им приходится иметь дело не с высокопоставленной особой, а с каким-то секретарем. Такое заявление привело Макиавелли в ярость, что подтверждается и крайне резкой тональностью его письма Десятке. Пизанцы требовали сохранить им жизнь, имущество и честь, поскольку в противном случае откажутся от сделки, а в качестве залога предложили все свои земли за пределами города. В присутствии делегации селян Макиавелли коротко заметил Аппиано, что однажды пизанцы его уже обманули и теперь тоже капитулировать не собираются. Обращаясь к селянам, он выразил глубокое сожаление о том, что они с таким упорством пытаются оставить всех в проигрыше: в случае победы пизанцы отправят деревенских жителей обратно на поля, ничем не отплатив им за оказанную помощь, а в случае поражения (весьма вероятного) селяне «лишатся и собственности, и жизни, и всего остального».

Перспектива разграбления города ужаснула посланцев, и один из них стал выкрикивать, что, мол, так не поступают, что этот Макиавелли пытается посеять раздор в их рядах. И он был абсолютно прав, поскольку один крестьянин по имени Джованни да Вико выкрикнул: «Посол, мы хотим мира!», тогда как Аппиано

взялся бранить пизанцев за подлую попытку его обмануть. Позднее правитель Пьомбино поведал Макиавелли, что задал делегатам хорошую трепку и что те были не против принять условия Флоренции, предвидя, что сограждане их поймут и одобрят. Решив, что Аппиано стремился лишь придать вес своему посредничеству, Макиавелли отверг их предложение и уехал. Победа была у Флоренции в руках, и в кои-то веки Никколо мог себе позволить чуточку поглумиться над ними.

Пизанцы отчаянно сопротивлялись еще два месяца, между тем стальное кольцо окружения ежедневно сжималось. Десятка отдала приказ пленных не брать, а жители осажденной Пизы пригрозили, что ответят тем же. Постоянные заверения пизанских правителей о том, что осада, дескать, вот-вот будет снята, все больше походили на ложь, что порождало протесты и мятежи. Макиавелли добросовестно исполнял свою миссию: отправлял донесения, передавал распоряжения, подвозил подкреплении, выплачивал жалованье штурмовавшим город солдатам. И 16 апреля он с гордостью доложил правительству, что ополченцы на передовой проявили себя «лучшими в Италии пехотинцами».

Но такая прыть пришлась по душе далеко не всем, особенно тем, кого возмущало самоуправство Макиавелли. Аламанно Сальвиати больше всего раздражало то, что Макиавелли, по его мнению, пренебрегал руководителями, и однажды заочно отругал Никколо за то, что тот позволил нескольким солдатам покинуть поле боя. Узнав об этом, Макиавелли написал Сальвиати возмущенное письмо, но в ответ уполномоченный отрицал обвинения в оскорблении и заявил, что всего лишь вспылил, потому что секретарь заранее не предупредил его о своем решении. Похоже, Макиавелли все же сделал надлежащие выводы, ибо большинство писем Десятке написано его рукой. Учитывая хорошо известное мнение Никколо на этот счет, он вполне понимал озабоченность Сальвиати тем, что армия в любой момент могла отказаться выполнять приказы республиканских представителей. Однако из-за присущей ему самоуверенности Макиавелли будет все чаще и чаще пренебрегать советами, мнением и чувствами других.

Наконец, 20 мая делегация из Пизы встретилась с Аламанно Сальвиати, и на следующий день послы отправились с ним во Флоренцию. Переговоры продлились пять дней, проходили трудно, но все же удалось договориться о сдаче, и еще два дня ушло на документальное оформление решения. Хотя официально капитуляция Пизы была назначена на 4 июня, двумя днями ранее изголодавшееся население стало покидать город и в поисках еды хлынуло в солдатские лагеря. Когда победители уже готовились с

триумфом войти в Пизу, Десятка предусмотрительно снабдила Макиавелли необходимыми средствами для выплаты избранным для занятия города войскам: им полагалась треть от обычного жалованья. Флорентийцы пошли на этот шаг во избежание того, чтобы недовольные солдаты не начали обирать несчастных пизанцев. Флоренция всячески старалась предотвратить мародерство. Хотя пизанцы подписали соглашение, больше походившее на безоговорочную капитуляцию, флорентийцы прагматично рассудили, что великодушие к побежденному противнику будет куда выгоднее мести: жителям Пизы разрешили пользоваться теми же свободами, которыми они обладали до 1494 года, включая и налоговые льготы.

Позднее Макиавелли обвинит власти в том, что они решили сами вести переговоры, мотивируя это некомпетентностью послов и их неспособностью «блокировать или осадить» город. Каких бы результатов можно было бы добиться, окажись во главе армии Антонио Джакомини! И все же нет никаких свидетельств того, что Макиавелли одобрял решения флорентийской республики во время капитуляции Пизы, а высказанная им постфактум критика скорее походит на пропагандистскую попытку поддержать некий политический курс, нежели на объективный анализ событий.

Под договором о капитуляции Макиавелли поставил подпись следующим за Адриани и мог по праву гордиться достигнутым, глядя, как солдаты ополчения готовятся пройти победным маршем по улицам захваченного города. На самом же деле флорентийские новобранцы не слишком отличились на поле боя, но, по крайней мере, избавили республику от необходимости нанимать войско профессиональных пехотинцев и тем самым от дополнительных расходов. Шествие, запланированное на 6 июня, правда, отложили еще на два дня — вероятно, в связи с парадом планет. Более того, 3 июня Ааттанцио Тедальди написал Макиавелли, предложив благоприятное время для начала торжеств. Когда флорентийский народ, узнав о падении Пизы, предавался ликованиям, Никколо получил письмо от своего друга Агостино Веспуччи: «Если бы я не считал вашу гордыню и без того непомерной, дерзнул бы сказать, что с вашими войском вы проделали безукоризненную работу и помогли не отсрочить, но приблизить время, когда Флоренции вновь обрела ей по праву принадлежащее».

Однако не все придерживались подобной точки зрения. Многих возмущало то, что Содерини попытался присвоить себе всю славу, и даже успехи Макиавелли не могли унять враждебность к гонфалоньеру. Филиппо Казавеккиа, никогда не сомневавшийся в способностях Никколо, заметил, что

Макиавелли стал ото всех отдаляться: «Я не верю, что идиоты постигнут ход ваших мыслей, тогда как мудрых мало, и встречаются они нечасто; вы понимаете, о чем я, даже если слова мои невнятны. Ежедневно я прихожу к выводу, что вы превосходите даже тех пророков, что рождались у евреев и иных народов».

Глава 9
Мир и согласие

> *Пусть Ваша Светлость не сомневается, как не усомнится в Святом Евангелии: в случае войны между папой и этим королем обоим соперникам придется избирать союзников, какие бы отношения Вас с ними ни связывали.*
>
> *Из письма Никколо Макиавелли правительству, 9 августа 1510 года*

В апреле громадная армия Камбрейской Лиги сдвинулась с места: французы вторглись в материковые владения Венеции. Вскоре Юлий II издал буллу, в которой отлучил Венецию от церкви и наложил на нее интердикт.[54] Тем самым понтифик пытался изолировать город как политически, так и духовно, пока его войска без всякого сопротивления двигались по территории Романьи. Почуяв, что запахло жареным, правители Феррары и Мантуи присоединились к интервентам, и армия Лиги, находившаяся в той местности, возросла почти до 50 тысяч человек. Против столь грозной силы венецианцы могли собрать около 35 тысяч солдат, причем половину пехоты составляло ополчение, к тому же враждебность понтифика не позволяла набирать рекрутов на папских землях.

Командование войском венецианцы доверили пожилому, но крепкому Никколо Орсини, графу Питильяно, однако его заместителем, к несчастью, назначили дерзкого Бартоломео д'Альвиано. Орсини разработал стратегию войны на изнурение: он надеялся выиграть время и измотать противника, не вступая с ними в открытый бой. Но д'Альвиано имел другие намерения, 14 мая арьергард венецианцев под его командование столкнулся с французами близ Аньяделло, потерпев сокрушительное поражение. Половина войска разбежалась, и солдаты продолжали дезертировать, Орсини ничего не осталось, как отступить к Венеции, оставив большую часть материковых земель на милость захватчиков.

Вскоре один за другим пали Бергамо, Бреша, Верона, Виченца, Падуя и Тревизо, и всем казалось, что еще немного и за

ними последует сама Венеция. В 12-й главе «Государя» Макиавелли объяснит поражение Венеции при Аньяделло ее зависимостью от наемников, упустив (возможно, намеренно) тот факт, что венецианские наемники сражались с невероятной отвагой: некоторые отряды предпочли погибнуть все до одного, но не сдаться. Но к тому времени городское ополчение стало для Никколо своего рода навязчивой идеей, и в книге он хотел оправдать недавний провал флорентийских ополченцев, который, по сути, и помог отстранить Макиавелли от власти.

Имперские войска под командованием вассалов Максимилиана I захватили большую часть Венето, но в этот момент Людовик XII уже добился своего и предпочел укрепить свои недавние завоевания, оставив в армии Лиги только горстку солдат. Венецианцы поняли, что противник ослаб, и провели серию решительных дипломатических маневров с целью расколоть Камбрейскую Лигу. И первой их целью стал Юлий II. Понтифик всегда относился к Людовику XII с подозрением и однажды заявил, что «не желал быть капелланом французов». Более того, он был обеспокоен стремлением кардинала д'Амбуаза занять его место и однажды вступил в жаркую полемику с монархом по поводу французских бенефициев — король объявил себя единственным, кто с середины XV века имеет право их назначать.

Тем временем венецианцы перегруппировались и 16 июля, сконцентрировав значительные силы под командованием Орсини и раздражительного проведитора (provveditore)[55] Андреа Гритти, провели блестящую тайную операцию и отбили Падую. Спустя три недели они, по счастливой случайности, захватил в плен Франческо Гонзагу, маркиза Мантуи, а узнавший об этом папа римский в ярости швырнув наземь свою биретту (biretta).[56] Однако венецианцам еще предстояло одолеть армию императора, усиленную французскими и папскими войсками и направлявшуюся к Падуе. К счастью, Орсини хоть и не был грозой на поле боя, но все же обладал всеми способностями и упрямством, необходимым для упорного сопротивления. 15 сентября 1509 года началась осада Падуи, и за несколько дней имперская артиллерия обрушила крупные участки городских стен, но венецианцы так и не позволили противнику ворваться в бреши.

Спустя две недели покинутый союзниками Максимилиан, так ничего и не добившись, больше не мог платить жалованье солдатам и снял осаду. Вскоре венецианцы отправили ко двору императора агента, который, подкупив крупными суммами главных советников монарха, доставил предложение республики.

Он осторожно напомнил Максимилиану о том, что истинными его врагами были французы, но император, все еще переживавший по поводу своего поражения, предложение Венеции отклонил. Однако венецианцы все же сумели посеять раздор среди оставшихся врагов.

Макиавелли из Флоренции следил за событиями, которые разворачивались в Северной Италии, и 28 сентября написал о них Аламанно Сальвиати в Пизу. Почему Никколо решился на такой шаг, до сих пор неясно. Можно предположить, что он хотел втереться в доверие к противникам Содерини, поскольку, вероятно, понимал, какой ущерб может нанести ему дружба с гонфалоньером. По другой версии, Никколо хотел, как сказали бы флорентийцы, «говорить с тещей так, чтобы и сноха понимала» (parlare a suocera perche nuora Intenda), то есть с помощью искусного пера Макиавелли Содерини мог попытаться убедить Сальвиати согласиться с международной политикой гонфалоньера. Что любопытно, хотя на письме и стоит подпись Макиавелли, написано оно другим почерком.

Главный мотив этого послания состоял в том, что Флоренции ни при каких обстоятельствах не нужно бояться Максимилиана I. И это весьма показательно, если учесть, что в то время, когда было отправлено письмо, Синьория решила заключить союз с императором. Людовик XII настаивал на альянсе с республикой, потому что был встревожен тем, что Венеции удалось воспрянуть после поражения при Аньяделло. Король знал, что его разногласия с Юлием II вскоре вынудят папу выйти из Лиги. Французскому монарху требовалось как можно больше союзников, чтобы противостоять растущей враждебности понтифика, и флорентийцы решили исполнить его требование. Но несмотря на то, что оппоненты Содерини договорились заключить с Максимилианом сделку, они не хотели лишиться благосклонности французов. Если учесть стойкую приверженность Содерини союзу с Францией, Макиавелли (или его неизвестный вдохновитель), вероятно, счел, что ему подвернулся удобный случай, чтобы на фоне всеобщего согласия (касательно альянса с Людовиком XII) помириться с врагами.

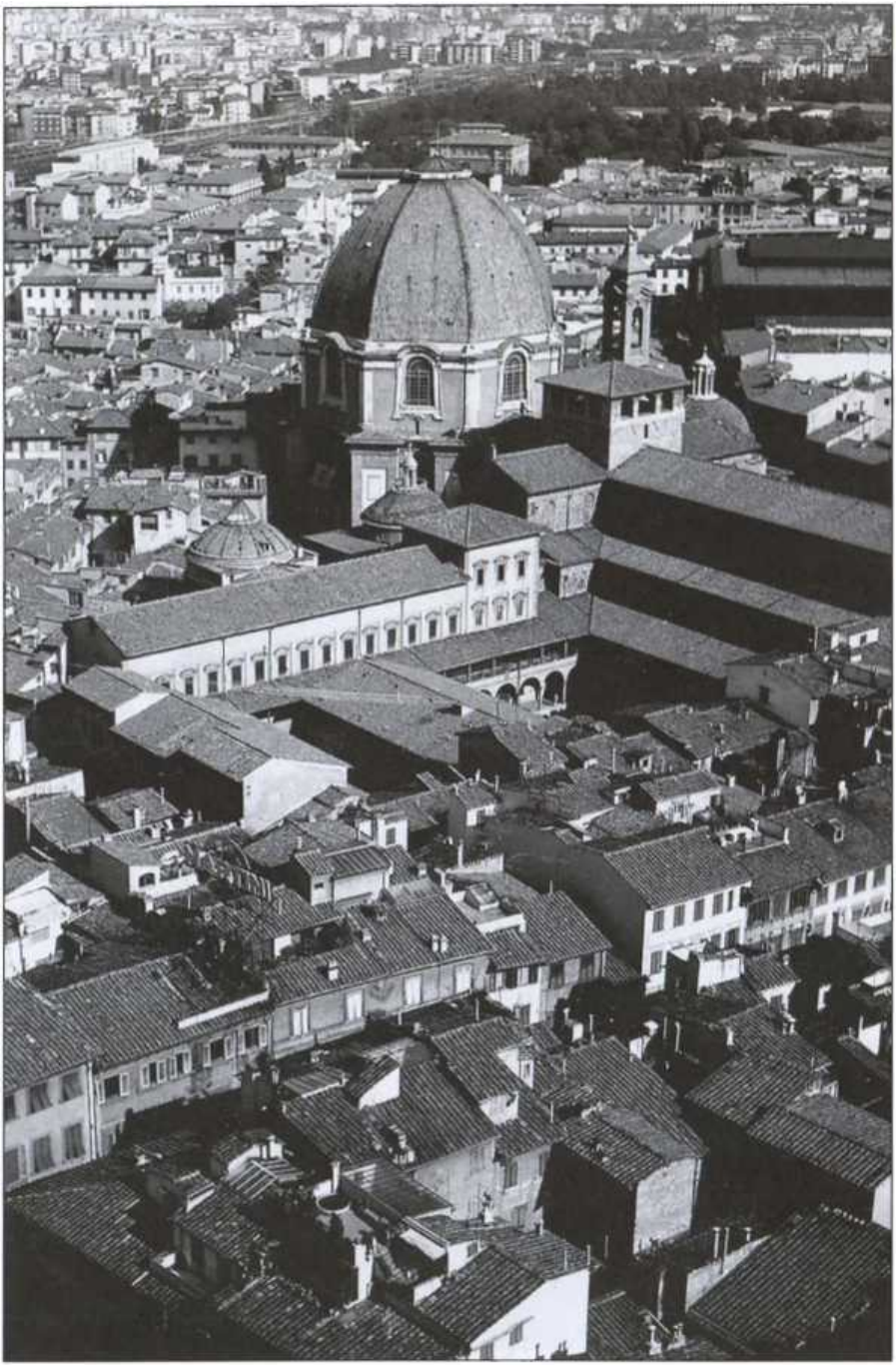
Но Никколо, похоже, не обладал умением учиться на собственных ошибках, поскольку его письмо, с одной стороны, казалось проявлением благоразумия, с другой — бесстыдным хамством. Он обращался к Сальвиати вычурными фразами, но затем высказался тоном, не допускавшим возражений: «Я понимаю, что так складываются обстоятельства, и, будучи знакомым с этими правителями лично, не боюсь действовать наперекор привычным представлениям». Перечислив все, что знал

об осаде Падуи, Макиавелли не стал высказываться о возможностях Максимилиана овладеть городом, «ибо я не в силах отыскать никого, кто был бы сведущ в этом деле, а все вокруг придерживаются своих убеждений».

Однако, продолжал Никколо, победа императора ничего бы не изменила, потому что вскоре ему бы пришлось столкнуться с двумя серьезными проблемами: нехваткой денег и ненастьем. Более того, Максимилиану не стоило даже надеяться на окончательный разгром венецианцев, равно как и на финансово выгодное соглашение с врагами. В заключение Макиавелли написал, что императору ничего не оставалось, как отступить. «Не вижу причин искать союза с императором, который не способен захватить Падую, дабы затем удвоить расходы и продолжить войну», — писал Никколо. Его точка зрения была предельно ясна: Флоренции не стоило бояться Максимилиана, а попытки завоевать его расположение означали бы пустую трату денег.



Никколо Макиавелли. Художник Санти ди Тито



Вид на собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции



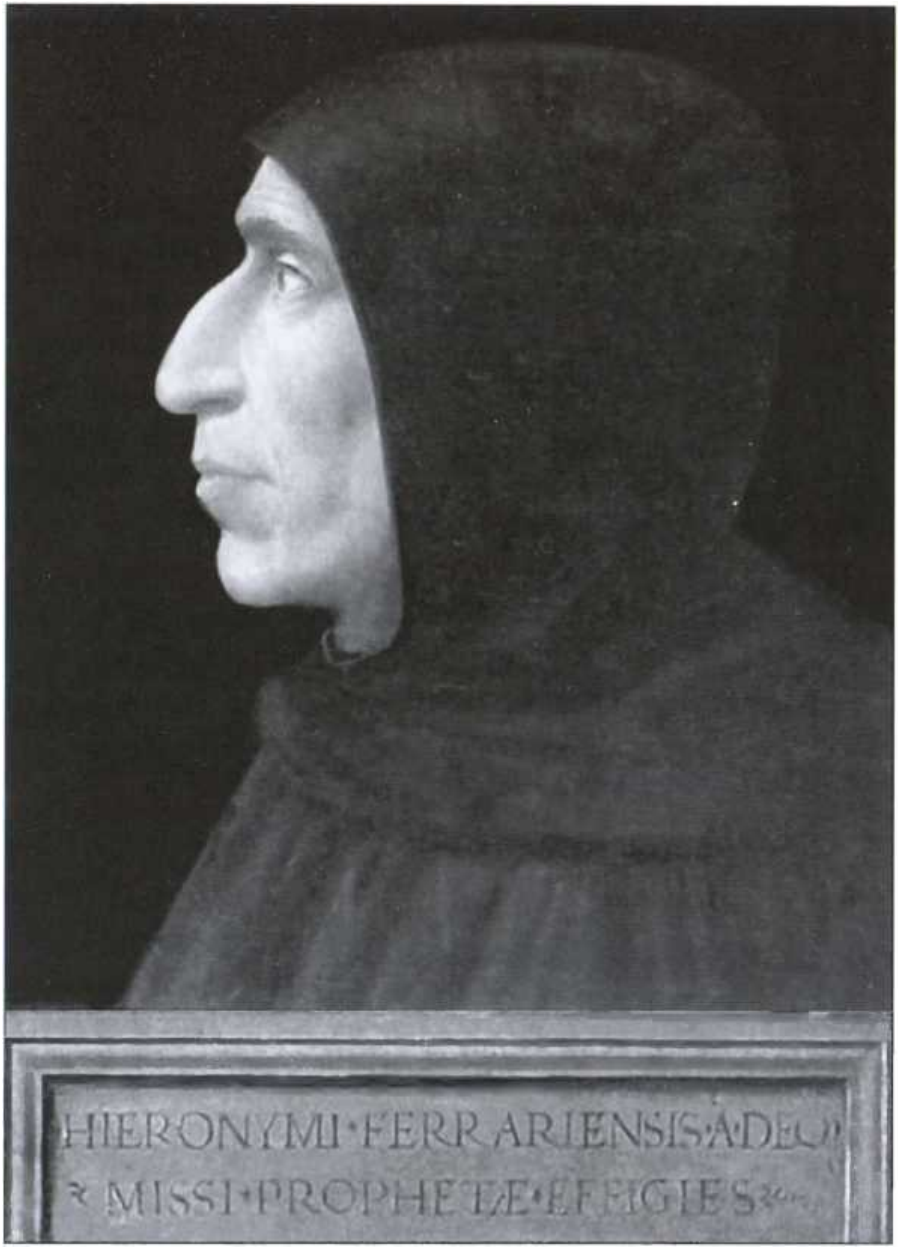
Башня Палаццо Веккьо во Флоренции



Зал Пятисот в Палаццо Веккьо



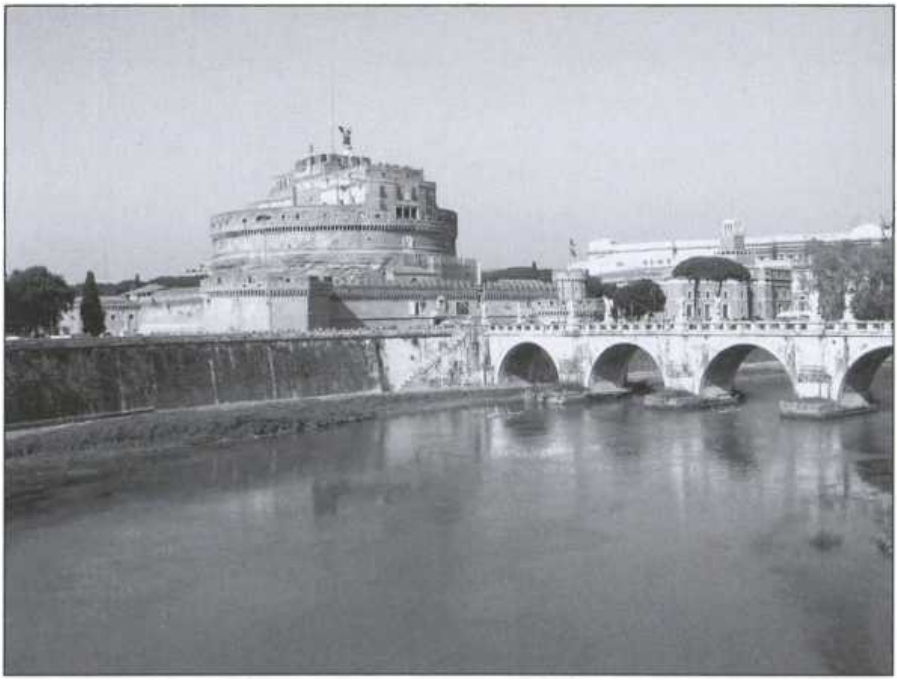
Скульптура Н. Макиавелли в Палаццо Веккьо



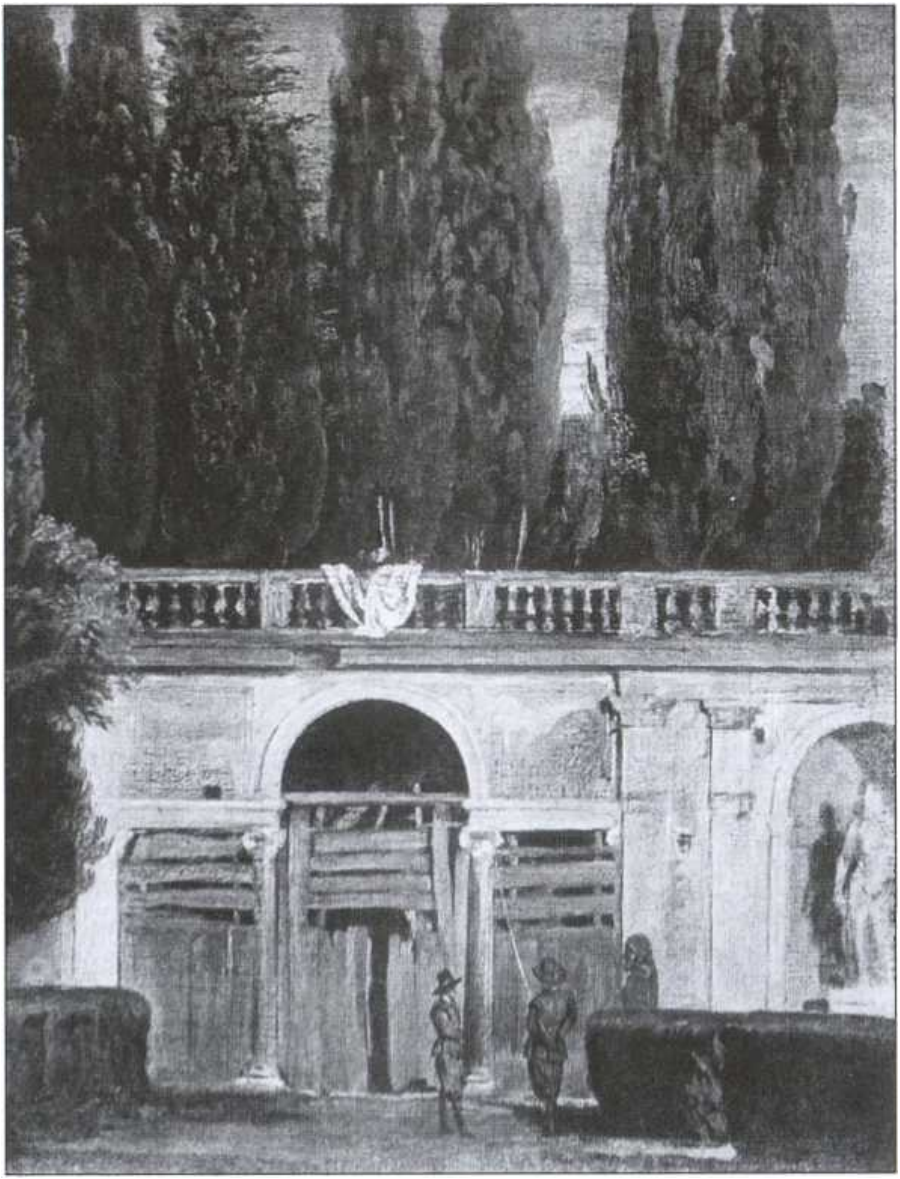
Джироламо Савонарола. Художник Б. Делла Порта



Мост Понто Веккьо



Замок Святого Ангела и мост Адриана



Вид виллы Медичи. Художник Д. Веласкес



Ф. Гвиччардини. Статуя на фасаде галереи Уффици



Осада Флоренции. Художник Дж. Вазари



Римский папа Александр VI (Борджиа). Художник Б. Пинтуриккио



Римский папа Юлий II (Джулиано делла Ровере). Копия портрета Рафаэля 1512 г.



Портрет мужчины (Кондотьер). Художник А. да Мессина



Кондотьер. Художник Леонардо да Винчи



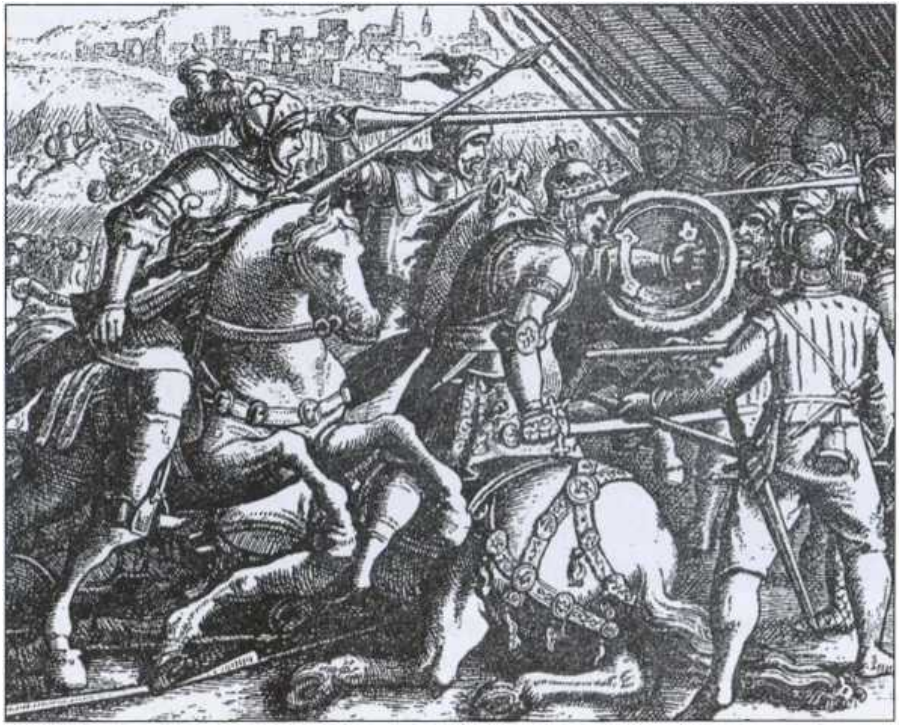
Папа Лев X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Художник Рафаэль



Римский папа Климент VII. Гравюра XVI в.



Королевская резиденция в Блуа. Фасад Франциска I. Старинная гравюра



Пленение Франциска I при Павии. Старинная гравюра



Французский король Людовик XII. Гравюра XVI в.



Император Священной Римской империи германской нации Карл V.

Художник Тициан


NICCOLÒ MACCHIAVELLI

Ответ Сальвиати пришел 4 октября и представлял собой шедевр человеческой злобы, достойный старой поговорки о флорентийцах, у которых «в глазах небеса, а в устах геенна». Аламанно всюду обращался к Макиавелли фамильярно, на «ты», тогда как сам Никколо писал ему официальным тоном, чтобы подчеркнуть разницу в политическом и социальном положении. Аламанно поблагодарил Макиавелли за любезное напоминание о себе и радостные вести, «ибо здесь мы ни о чем не ведаем, кроме того, что сообщают случайные бродяги, кои заглядывают к нам не чаще двух раз в месяц» (укол первый: Сальвиати получал правительственные депеши и, конечно, собирал информацию иными способами). Затем он заявил, что, по мнению профессиональных солдат из Пизы, Падую невозможно было взять силой (укол второй: Никколостоило проверять свои источники). Тем не менее Сальвиати добавил, что относится к этому делу с монашеским (fratesco) долготерпением и сомневается в успехе венецианцев, поскольку они, похоже, столкнулись с противниками скорее божественной, нежели естественной природы, «и посему мы должны молить Господа о наилучшем исходе».

Насмешка в словах Сальвиати была очевидна: упомянув «монашеское долготерпение», он подшучивал над известной неприязнью Макиавелли к служителям церкви и последователям Савонаролы, а выразив надежду на чудо и божественное вмешательство, посмеялся над верой Никколо в естественные причины. К тому же в своем письме Макиавелли упомянул, что вести из Падуи во Флоренцию доставлены монахом, вот Сальвиати и решил высмеять достоверность этих сведений. Аламанно призвал Никколо сделать все возможное, чтобы сохранить союз папы римского с королями Испании и Франции, «дабы ни один из них не решился от отчаяния разорить всю Италию, дабы французская армия не оставалась во власти иных людей, ибо сие будет весьма тревожно».

Завершалось письмо ехидным пассажем: «Если я что-либо упустил, пусть сие разгадывает мой доктор права». Но Макиавелли, в отличие от большинства коллег по канцелярии, насколько известно, никаких ученых степеней не удостаивался, и потому вкратце послание Сальвиати выглядит так: знай свое место, ты, заносчивый, невежественный и зловерный лизоблюд! Неискусная попытка Никколо достичь примирения с треском провалились, потому что ответственность за все, что могло

случиться с Флоренцией, в случае неудачи Аламанно возложил на Макиавелли и Содерини.

24 октября Флоренция подписала союз с Максимилианом I, согласившись в обмен на протекцию выплатить 40 тысяч дукатов. Первый из четырех платежей должен был поступить немедленно, а второй — в середине ноября. Доставить вторую часть денег в Мантую Десятка поручила Макиавелли, велев затем отправиться в Верону «или иное место, более подходящее для добычи сведений». Но среди флорентийцев, как всегда, нашлись те, кто остался недоволен выбранной кандидатурой. 3 ноября Франческо Гвиччардини написал брату Луиджи в Мантую: «Пока не решили, кого отправить ко двору императора; и притом что одни предпочли бы настоящего посла, я же полагаю, что, в конце концов, выберут кого-то из канцелярии, возможно, Макиавелли». Некоторые, по понятным причинам, избрали бы человека более авторитетного, но, поскольку решение принимала Десятка, ничего уже нельзя было изменить.

15 ноября Никколо прибыл в Мантую и узнал, что благодаря народному восстанию венецианцы отвоевали Виченцу. Вскоре за ней могла последовать Верона. Передав республиканские деньги представителям императора, Никколо засвидетельствовал почтение маркизе Мантуи, знаменитой Изабелле д'Эсте, которая в то время была регентом и ждала освобождения мужа из венецианского плена. Все документы, касавшиеся перевода денег, Макиавелли оставил Луиджи Гвиччардини и отбыл в Верону. Ему повезло отыскать Гвиччардини в Мантуе — встретились двое старинных приятелей, друживших, несмотря на разницу в восемнадцать лет. Что еще важнее, брат Луиджи, Франческо, женился на представительнице рода Сальвиати, и потому Макиавелли имел все основания сохранить с Гвиччардини хорошие отношения. «Когда соберетесь писать домой, шлите мои приветствия мессеру Франческо и его шайке», — попросит Макиавелли в письме от 29 ноября.

Когда хотел, Никколо умел быть дружелюбным; кроме того, как и с Веттори, они и с Луиджи тоже обожали литературное творчество, женщин и скабрезные истории. И письмо с рассказом о связи с безобразной проституткой Макиавелли отправит именно Гвиччардини. Ему же Никколо посвятил поэтическое сочинение «О тщеславии» (Capitolo dell' Ambizione) — описание несчастий, случавшихся в ходе истории в силу пагубных пристрастий, причем львиная доля отводилась недавним событиям в Италии. Заканчивалась поэма предупреждением: тщеславие уже витало над Тосканой, разбрасывая над народом огненные искры, «раздутые от жгучей зависти, способной / дома и виллы в пепел

обратить, / коль не унять ее иным порядком иль благодатью горней». Произведение сдержит явные аллюзии на «Божественную комедию» Данте Алигьери, которую Никколо очень любил, и его сочинение предупреждает флорентийцев о том, что разобщенность, порожденная гордыней, неизменно влечет за собой несчастья.

Противники Макиавелли тоже не сидели сложа руки. Так, 20 ноября Бьяджо Буонаккорси советовал Никколо прилежно отправлять доклады, чтобы «заткнуть рты тем, кто протирает штаны» в правительстве. Когда пришло это письмо, Макиавелли уже прибыл в Верону, где увидел, с каким трудом захватчики пытались обуздать местное население. Среди прочего он описал, как одного крестьянина повесили за то, что он упорно хранил верность Венецианской республике. «Похоже, правители [Людовик XII и Максимилиан I] сумеют удержать эти земли, лишь перебив всех жителей», — заметил Никколо. Кроме того, он обратил внимание на усиливавшееся напряжение между французами и войсками империи, кратко записав: «Из этих двух монархов один способен вести войну, но не желает, а другой желает, но не способен». К тому времени Макиавелли хотел только одного — вернуться домой, но Десятка требовала, чтобы он оставался в Вероне и ждал дальнейших распоряжений, если только ему не угрожает опасность. В конце концов, правительство решило, что миссия Никколо выполнена, и 16 декабря приказало ему возвращаться, но по дороге смотреть в оба. Едва ли секретарь мог предположить, что по пути узнает весьма тревожные вести.

Макиавелли неспешно ехал назад во Флоренцию, но в дороге его настигло письмо от верного друга Буонаккорси. «Не пренебрегай и не смейся над моим посланием, — писал обеспокоенный Бьяджо, — и ни за что на свете никому не рассказывай». Далее он изложил причины своей нервозности:

«Неделю тому назад в дом нотариуса Хранителей Закона[57] (Conservatori delle Leggi) в сопровождении двух свидетелей вошел неизвестный в маске и вручил законоведу некий документ, предупредив, что в случае отказа принять бумагу, он обратится в суд, et cetera. В документе говорилось, что, поскольку ваш отец et cetera, вы не имеете ни малейшего права занимать данную должность, et cetera. И хотя судебные прецеденты и закон на вашей стороне, обстоятельства таковы, что многие уж раскричались, угрожая ужасными последствиями, если ничего не изменится, et cetera, дело приняло дурной оборот, и нам требуется немалое содействие и осторожность. Узнав обо всем от наших друзей, я прикладываю все силы, тружусь днем и ночью, дабы утихомирить некоторых. И хотя мы угомонили ваших

злопыхателей, что пытались склонить на свою сторону правосудие, коварно толкуя закон, у вас еще много врагов, коих ничто не остановит. Об этом деле болтают повсюду, даже в борделях, и мы можем действовать открыто, даже преодолевая множество преград. Поверьте, Никколо: я не сообщаю вам и половины здешних слухов, и прежде чем мне удалось обратиться к помощи закона, дело уже сочли признанным судом. Я не жалею сил, а также Пьеро дель Неро, которому я сообщаю обо всем, хотя моему примеру уже последовали те, кто не желает нам пропасть».

По совету некоего человека, которого Макиавелли уважал, Буонаккорси рекомендовал Никколо затаиться и не показываться во Флоренции. Но Бьяджо умолчал о многом. Что же произвело такой фурор? Проще говоря, поскольку отец Макиавелли оказался в списке налоговых должников (a specchio), его сын теоретически не имел права занимать государственный пост. Однако закон от 14 февраля 1498 года позволял нанимать в канцелярию граждан, не прошедших проверку на наличие ограничений (divieto), то есть формально Макиавелли работал на совершенно законных основаниях. В любом случае он был слишком уверен в себе и 2 января 1510 года, проигнорировав просьбу Буонаккорси, вернулся в город. Никколо продолжил работать в канцелярии и вскоре вновь отправился в путешествие на ту сторону Альп.

Довольно скоро Юлий II изменил свое мнение о захватнической политике Франции, поскольку прекрасно понимал, что после победы над Венецией французы начнут захватывать и папские территории. Но отказываться от честолюбивых планов, заставивших его присоединиться к Камбрейской Лиге, понтифик не собирался. И в мирном договоре от 15 февраля 1510 года между Венецией и Священным Престолом он сумел добиться от венецианцев всех возможных уступок, и только потому, что те изо всех сил стремились избавиться хотя бы от одного врага. Совет Десяти — орган, ответственный за военные дела Венецианской республики, — тайно расторг этот договор, решив повременить с оглаской до подходящего случая.

Более того, папа римский и венецианцы теперь объединились против бывших союзников понтифика. Юлий II спровоцировал конфликт по поводу соляных копей в Полезине с герцогом Феррары Альфонсо д'Эсте, которого считал своим вассалом, и пришел в ярость, когда герцог отказался выйти из союза с Францией (то, что Альфонсо был женат на Лукреции Борджиа, сестре Чезаре, делу не помогло). Также папу вывел из себя захват Генуи, поскольку семья его была родом из Савоны, входившей в то время в Генуэзское государство. Понтифику и вправду с

трудом удавалось поддерживать неплохие отношения с кем бы то ни было, и теперь он был одержим идеей изгнать французов из Италии. Ему приписывается фраза «Варваров вон!» (Fuori I barbari), и хотя, вероятно, ошибочно, но само выражение тем не менее весьма точно характеризует отношение папы к иноземцам, превратившим Италию в извечное яблоко раздора.

Едва стало известно о соглашении между Венецией и Юлием И, французы и немцы пришли в ярость и были решительно настроены навсегда уничтожить Венецию. Очередным ударом для Людовика XII стало известие о смерти (25 мая) кардинала д'Амбуаза, непрестанно досаждавшего понтифику и являвшегося доверенным лицом и опытным советником короля. Людовик был знаменит тем, что многие заботы предпочитал оставлять без внимания, перепоручая их другим, и как только кардинала не стало, все заметили это. Советникам, занявшим место покойного, не хватало настойчивости и изворотливости кардинала. Спустя несколько месяцев, беседуя с французским казначеем Флоримоном Роберте, Макиавелли заметил художника с портретом д'Амбуаза в руках, а Роберте сказал: будь кардинал еще жив, французская армия уже входила бы в Рим. Теперь, когда Максимилиан — из-за хронической нехватки средств — фактически выбыл из игры, а Людовик пребывал в нерешительности, Юлий II и венецианцы смогли, наконец, вздохнуть с облегчением и готовиться дальше к новой кампании.

Флорентийцы, узнав о союзе папы и Венеции, оказались в полной растерянности, потому что теперь потенциальный враг уже стоял у ворот, а им приходилось рассчитывать на далекого союзника. Кроме того, большинство флорентийских кондотьеров были выходцами из папских земель, и в случае войны с Юлием II этот источник военной силы значительно оскудел бы. Республике необходимо было отыскать нового союзника, но правительство решило придерживаться привычной тактики, то есть переждать, пытаясь балансировать между двумя враждующими сторонами. В июле Флоренция отказала папской армии, возвращавшейся в Геную, в праве прохода через ее территории и в то же время отклонила просьбу французов прислать войска на север, чтобы помочь захватить герцогство Урбино.

Власти Флоренции понимали, что лучшим решением стало бы перемирие между Юлием и Людовиком, но его нужно было добиться до того, как вспыхнут вооруженные столкновения. Решив разыграть французскую карту, правительство постановило отправить посла к Людовику, и Десятка доверила эту миссию Макиавелли. 2 июня Никколо получил письмо от гонфалоньера, который поручил ему заверить французского монарха в том, что

Флоренция настроена дружественно, и предложить монарху продолжать теснить венецианцев, действовавших при поддержке Максимилиана и, возможно, венгерского короля. Однако, добавлял Содерини, крайне важно, чтобы французы не порвали с понтификом, «поскольку дружба с папой, вероятно, больших выгод не сулит, но зато вражда с ним крайне опасна».

Несмотря на срочность поручения, Макиавелли задержался во Флоренции и выехал только 24 июня. Причины такой заминки нам неизвестны, хотя они, возможно, связаны с тем, что в предместьях Лукки находилась папская армия под командованием Марко Антонио Колонны: кондотьер более не служил республике, и Десятка не знала наверняка, станет ли он атаковать Геную или же отправится на север в долину реки По. 17 июля Никколо прибыл в Блуа, ко двору французского короля, и на следующий день встретился с Людовиком.

Король, поначалу обрадовавшись прибытию флорентийского посла, явно не собирался тратить время на дипломатические тонкости. «Секретарь, — недвусмысленным тоном заявил он Макиавелли, — я не враждую ни с папой, ни с кем бы то ни было еще. Но поскольку союзы, похоже, меняются ежедневно, я желаю знать наверняка, как ваша Синьория намерена мне помочь, если понтифик или кто-либо иной решится посягнуть на мои итальянские владения. Вы должны немедленно отправить кого-нибудь во Флоренцию и как можно скорее доставить мне ответ, потому что я хочу знать, кто мне друг, а кто враг». Выслушав эту тираду, Макиавелли ничего не оставалось, как заявить, что Флоренция всегда готова помочь королю на разумных условиях. «В этом я уверен, — бросил в ответ Людовик, — но моя уверенность нуждается в подтверждении». Теперь войну с Юлием II Макиавелли называл «худшей из бед, которые когда-либо постигали наш город», и французы считали ее практически неизбежной.

Испугавшись войны, которая едва ли минует его город, Макиавелли пошел на риск и предложил урегулировать спор между двумя державами при посредничестве республики. Никколо, побуждаемый Роберте, вышел далеко за рамки своей компетенции, но решился на это ради безопасности своей страны. Макиавелли действовал, не дожидаясь ответа правительства, а в письме Десятке от 8 апреля оправдал себя, логично объяснив свой поступок: «Если наши попытки привести обоих к соглашению окажутся удачными, перемирие станет нашей заслугой; в противном случае за попытку никто не сможет нас обвинить». Переманив на свою сторону одного из приближенных короля («персону весьма влиятельную»), Никколо убедил его поговорить

с Людовиком об опасностях возможной войны, которая, вполне вероятно, могла заставить короля Испании и императора объединиться с папой — хотя бы из боязни перед мощью Франции. В ответ Людовик заявил, что, даже если это и так, на карту поставлена честь короны и отступить он не может. Но затем добавил: «Обещаю вам, если папа явит ко мне любовь хотя бы с ноготь, в ответ я отдам руку». Король также согласился с тем, чтобы флорентийцы выступили в качестве посредников, и ликующий Никколо сообщил обо всем правительству. В депеше он подробно рассказал о военных приготовлениях Людовика, а также передал грозную весть о том, что монарх намерен созвать собор французских прелатов.

Ответ из Флоренции Макиавелли получил лишь спустя три недели, в течение которых политическая ситуация в Италии значительно осложнилась. В июле папские войска были разбиты в Генуе, однако этот поворот событий компенсировался тем, что венецианцы все же возвратили свои материковые владения. В середине августа объединенные силы заняли феррарский город Модену, за которым наверняка последует и Реджио, если французские подкрепления не прибудут вовремя. Юлий II решил преподать Альфонсо д'Эсте урок и отлучил герцога от церкви[58] за нарушение верности сюзерену. Затем понтифик отправился в Болонью приготовиться к триумфальному въезду в Феррару, чье падение ожидалось совсем скоро.

Французы не сидели сложа руки, однако на активные действия не решались, тем самым позволив противникам добиться превосходства. Как никогда, давало о себе знать отсутствие д'Амбуаза: планы Людовика вязли в бесчисленных мелочах, о которых в иное время позаботился бы кардинал. «Частности короля не интересуют, его советники ими пренебрегают, и больной умирает», — мрачно прокомментировал Макиавелли. Однако Людовик уже сумел — через подкуп — убедить нанятую папой швейцарскую армию вернуться домой. Но теперь король нуждался в каждом солдате, способном воевать в Ломбардии, причем желательно задарма.

Флоренция всегда служила для Франции источником денег, и Людовик вновь решил им воспользоваться. 13 августа он позвал Макиавелли и заявил: пусть Флоренция подготовит свои войска к возможной отправке на север Италии. В то же время сложности, связанные с выполнением такого требования, Никколо обсудил с Роберте, полагая, что в случае нападения папских войск на Флоренцию королю придется оказать республике военную помощь, что не так просто, учитывая множество прочих обязательств, обременявших монарха. Макиавелли был недалек

от истины, упомянув о возможном нападении понтифика: Юлий, рассерженный флорентийским нейтралитетом, предупредил венецианского посла, что, разделавшись с д'Эсте, его армия вполне может двинуться в Тоскану и восстановить во Флоренции власть Медичи.

К этому времени Людовик продолжил контрнаступление на понтифика и на духовном фронте. В 1438 году его предшественник Карл VII утвердил так называемую «Буржскую прагматическую санкцию», согласно которой и в соответствии с положениями внутрицерковного движения концели-аристов[59] король Франции получал право управлять делами церкви в своих владениях. Французская корона не только заявила о своих полномочиях касательно церковных доходов и назначения епископов, но и поддерживала верховенство Собора над папой. Созвав Собор французского духовенства, а также пригласив нескольких инакомыслящих из других частей Европы, Людовик хотел как минимум свергнуть Юлия и вместо него избрать нового понтифика, «заставив этих святош проглотить горькую пилюлю». Церковная политика Людовика и вправду породит немало горьких плодов, но достанутся они совсем не тем, кому были уготованы.

Республика решила выступить посредником между Францией и папой, избрав для этой миссии подходящего посла. В начале сентября Макиавелли получил уведомление о скором прибытии его старинного друга Роберто Акциайоли. С его приездом у Макиавелли будто гора с плеч свалилась, и он почти без денег отправился домой. Донимая руководителей просьбами выслать денег, Никколо в шутку предупреждал их: «Могу вернуться и пешком, потому что мне придется продать лошадь». Но, по крайней мере, на этот раз Десятка проявила большую снисходительность и 13 сентября выслала ему 100 флоринов.

Макиавелли тосковал по Флоренции, почти не получая вестей из дома, кроме тех, что содержались в официальной корреспонденции. Мало писем приходило и от верного друга Буонаккорси, который теперь не находил себе места от горя в связи со смертельным недугом жены и нес непосильные расходы на докторов и снадобья. «В конце концов, я останусь без жены и без денег», — писал он. Единственное письмо другу за этот период Бьяджо завершит горькими словами: «Молю Господа даровать Вам лучшую участь, чем та, что досталась мне, даже если я, быть может, заслужил ее больше, чем Вы».

Удрученный Буонаккорси упомянул также о некоей особе, которую, по дошедшим до него слухам, Макиавелли встретил при дворе французского короля. В то время Никколо влюбился в даму

по имени Жанна, и в итоге их, очевидно, связывала довольно сильная страсть, отчего Джованни Гиролами как-то сказал Никколо: «Жанна вся твоя». Тем не менее несдержанность Макиавелли тревожила некоторых его друзей, в связи с чем Роберто Акциайоли иронично заметил: «Полагаю, благодаря Господу и Жанне Вы прибыли во Флоренцию целым и невредимым и, вероятно, уже успели навестить Кудряшку». Возможно, он косвенно намекал на опасность заразиться «французской болезнью», как называли сифилис, и тем самым просил Макиавелли быть поосторожней с волокитством.

К счастью, Никколо не привез домой непотребных хвороб и, вероятно, причислял знакомство с Жанной к немногим счастливым минутам, пережитым во Франции. По крайней мере, именно такое впечатление складывается после прочтения его путевых заметок, из которых он позже составил очерк «Положение дел во Франции» (Ritratti della Cose di Francia). Согласно его описанию, Франция представляла собой богатую и могущественную державу, обладавшую сильной централизованной властью, но и имевшую серьезные недостатки в организации армии и правительства, а также неспособную поддерживать свое благосостояние. Несмотря на то что Содерини твердо отстаивал союз с Людовиком XII, Макиавелли, очевидно, имел на этот счет определенные опасения. Горький опыт предыдущих лет научил его не доверять Франции, и Никколо считал ее союзником абсолютно ненадежным и недальновидным. Иногда его недоверие граничило с презрением. В разрозненных записях, которые Макиавелли не включил в упомянутый выше очерк, читаем:

«Если они [французы] не в силах помочь, то отделываются обещаниями; а если помощь им по плечу, они помогут с великим трудом или не помогут никогда… Они скорее скаредны, чем осторожны… Они скромны в худые времена и заносчивы во времена благополучные… Они усиленно плетут злобные интриги… Они тщеславны и поверхностны, всегда уверены в успехе, эти враги римской с лавы и римского языка… Если попросить их об услуге, они прежде обдумают, какую выгоду можно для себя извлечь».

Несмотря на этот негативный портрет, Макиавелли полагал, что в борьбе за Италию в итоге победят французы. Их государство было сильнейшим в Европе. «Ни один правитель не способен им противостоять, — писал Никколо, — и Италия уже не та, что во времена Рима». Но Макиавелли должен был знать, что Фортуна способна разрушить любые, даже самые искусные, людские замыслы, сколь бы тщательно они ни были подготовлены.

Глава 10
Ночь, когда умер Пьеро Содерини

В ночь, когда умер Пьеро Содерини,
Душа его слетела в ад,
«К младенцам, в лимб! —
Плутон воскликнул. —
Здесь места нет земным глупцам».

Никколо Макиавелли о Пьеро Содерини

«Да поразит вас чума!» — напишет, обращаясь к Макиавелли, 10 октября 1510 года разгневанный поведением флорентийцев Роберто Акциайоли. Под давлением жадных до взяток министров Людовика XII посол едва сдерживал ярость, глядя на выжидательную политику Синьории, в которой отчасти винил и Никколо. Король Франции отменил свое первоначальное требование, по которому Флоренция обязалась выслать войска в Ломбардию, и республика решила не испрашивать разрешения Людовика на найм миланского кондотьера Теодоро Тривульцио.

Король явно рассчитывал на то, что флорентийцы покроют часть его военных расходов, и Акциайоли, сетуя на то, что Людовика «оставили ни с чем», сказал Макиавелли, что французов крайне возмутило двуличие Флоренции (вполне возможно, Никколо даже немало позабавило видеть, как один лжец обвинял во лжи другого). Припомнив античный образ необузданного силача, Акциайоли предостерегал «синьора Геркулеса» о том, что «действие и бездействие не уживаются», то есть пусть флорентийцы не жалуются на горькие последствия, которые может породить их лицемерная политика. «Вы желаете заполучить полководца, не связанного ни с Францией, ни с папой, ни с Испанией, ни с Венецией, ни с императором. В этом случае попросите египтян или османского султана прислать вам пашу или Тамерлана!»

Несмотря на разглагольствования Акциайоли, флорентийцам недоставало финансов, и они не желали нанимать солдат, которых в любой момент могли отозвать. Правительство Флоренции было озабочено тем, что рисковало оказаться

втянутым в войну между папой и Францией, поскольку тогда слабой и уязвимой Флоренции угрожало опустошение всех ее владений. К тому же сами флорентийцы не хотели в одиночку противостоять разъяренному понтифику и подавлять мятежи в подчиненных городах, как это уже было в 1494 и 1502 годах. Однако теперь республика обладала войском, подчинявшимся лишь ей, — пехотой пусть и мало воевавшей, но всесторонне обученной.

Чего недоставало флорентийской армии, так это кавалерии: город не мог обойдись без конницы, и потому приходилось иметь дело с кондотьерами. Недавнее дезертирство Марко Антонио Колонны вновь заставило задуматься о необходимости обзавестись собственной надежной кавалерией. Но в ближайшее время полностью вооружить и подготовить конное войско не представлялось возможным. Однако Макиавелли не считал отсутствие кавалерии большой бедой, рассматривая кавалерию — в отличие от пехоты — как силу вспомогательную. «Римская конница во всяком консульском войске не превышала шестисот лошадей», — напишет он в трактате «О военном искусстве». По мнению Никколо, тогдашнее положение Италии объяснялось зависимостью итальянских государств от армий, основанных на наемной кавалерии. Так или иначе, Макиавелли считал, что всадники обладают незначительной тактической ценностью, поскольку их задачи на поле боя сводятся к тесному взаимодействию с пехотой.

Действительно, даже удары французской тяжелой кавалерии, которую Макиавелли считал лучшей в мире, можно было отбить, и потому зависимость Франции от конницы привела к множеству поражений. Тяжеловооруженные всадники оказывались эффективными только в пешем бою, но эту же задачу могли выполнять и обычные солдаты. Однако более универсальной — и к тому же менее затратной — была легкая кавалерия, способная решать различные задачи: разведывать местность, наводить ужас на мирных крестьян, а в бою остановить вражеских всадников, атакующих пехоту с флангов и тыла.

И вновь Десятка без каких-либо санкций правительства решила сформировать собственную кавалерию, и 7 ноября направила Макиавелли организовать призыв подходящих новобранцев. 13 ноября Никколо отбыл из Флоренции в Вальдарно и Вальдикьяну, вернулся лишь спустя две недели, но в течение следующих месяцев еще не раз ездил в те же земли. В отличие от пехотинцев новым рекрутам выдали по десять дукатов золотом на содержание лошади и приказали быть готовыми к апрелю. В Пасхальное воскресенье по улицам Флоренции парадом

прогарцевала сотня легких кавалеристов, вооруженных арбалетами, и если кто-то и выражал недовольство этим смотром войск, Макиавелли, по крайней мере, мог утешиться письмами своего друга Алессандро Нази, который его поддерживал. В то время Никколо также инспектировал крепости во всех флорентийских владениях, а в Пизе воспользовался услугами знаменитых зодчих Джулиано и Антонио да Сангалло. Опыт, полученный в этих поездках, пригодится Никколо позднее, когда ему доведется работать с другим, куда более прославленным архитектором.

Внимание республики к своим крепостям объяснялось не только вполне оправданной озабоченностью текущими событиями и действиями внешних врагов, но и необходимо стью предотвратить бунты внутри страны. Враги внутренние могли оказаться не менее опасными, чем внешние, и правительство все больше тревожила подрывная деятельность Медичи. С годами кардинал Джованни склонил на свою сторону живших в Риме флорентийцев, оказывая им всяческое покровительство и поддержку благодаря своей близости к Юлию II и деловым связям флорентийских банкиров с папской курией. Флорентийское купечество в Риме с тревогой наблюдало за тем, как Содерини вел откровенно профранцузскую политику, ибо вспыльчивый папа пригрозил сгноить в тюрьме всякого флорентийца, пойманного в его владениях, если республика открыто присоединится к Людовику. Даже если закон запрещал вести дела с мятежниками, а впоследствии таковыми — после неудавшейся свадьбы Строцци — объявили кардинала Джованни и его брата Джулиано, едва ли правительство могло покарать тех, кто, обосновавшись за границей, пренебрегал ее законами. Что еще хуже, друзья кардинала Джованни могли повлиять на своих родственников во Флоренции и тем самым подготовить все условия для переворота.

Именно в этих обстоятельствах и созрел план устранить Содерини, что стало бы первым шагом к реставрации Медичи. Родственники Принцивалле делла Стуфа во времена Лоренцо Великолепного обладали политическими привилегиями, и, нередко бывая в садах Ручеллаи, этот молодой человек открыто заявлял о своей неприязни к гонфалоньеру. Еще несколькими годами ранее он попал под пристальное внимание Содерини, потому что предположительно нанес визит Вителоццо Вителли, а также в связи с тем, что его мать, могущественная Гульельмина Скиантески да Монтедольо, происходила из семьи феодалов из верхней долины Тибра (среди ее приданого был замок Кальционе в Вальдикьяне). Принцивалле начал подыскивать место и время, подходящие для его замысла, и попытался заручиться

поддержкой Филиппо Строцци.

Но Строцци категорически отказал делла Стуфе, заявив, что утром сообщит обо всем властям, тем самым позволив новоявленному убийце сбежать, пока его не хватились. Лишившись главного подозреваемого, Комиссия Восьми по охране государства допросила отца Принцивалле, Луиджи, и хотя он сказал, что ничего не знал о намерениях сына, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Луиджи и его жена помогли Принцивалле бежать. Родители получили письмо от Лукреции де Медичи, супруги Джакопо Сальвиати, в котором та сообщила, что вместе с мужем узнала о заговоре от одного из братьев Филиппо, Маттео Строцци, женатого на одной из дочерей Аламанно Сальвиати. Пьеро Содерини хотел отдать Луиджи делла Стуфу под суд, заявив, что заговор был направлен не только против него, но и против власти республики.

Незадолго до бегства Принцивалле нанес визит Юлию II и кардиналу де Медичи в Болонье и, как утверждают, упоминал о том, что якобы в заговоре замешан сам понтифик. Но папа, узнав об этом, пришел в ярость, обвинив гонфалоньера и других членов Синьории в бесстыдной лжи. Едва ли Принцивалле сумел заручиться поддержкой Медичи в деле, которое с самого начала казалось гиблым, хотя последующее свержение Содерини не могло их не обрадовать. В конце концов, власти объявили Принцивалле бунтовщиком и лишили Луиджи должности правителя Пизы, приговорив к трехлетней ссылке в Эмполи, что в тридцати пяти милях от Флоренции. Политическое давление его друзей спасло Луиджи от более сурового наказания. Хотя этот вердикт и был компромиссным, он все же означал поражение Содерини, продемонстрировав неспособность гонфалоньера заручиться необходимой поддержкой, чтобы покарать общепризнанного врага государства.

Нет никаких документальных свидетельств, указывающих на мнение Макиавелли об этом деле, но, так или иначе, мысли Никколо были заняты совершенно другим. Кроме того, для набора рекрутов в кавалерию ему пришлось отправиться в Сиену и напомнить Петруччи о том, что его перемирие с республикой вскоре истекает, а также обсудить условия нового перемирия на еще более длительный срок, по условиям которого Сиена обязывалась вернуть Флоренции Монтепульчано.

5 мая 1511 года Никколо отправился в Монако с поручением освободить флорентийский корабль, захваченный местным правителем Лучано Гримальди, и попытаться договориться с ним о сотрудничестве в морской торговле. Пока Никколо был в пути, правительство передумало, рассудив на этот раз так: «Постыдно,

ежели не рискованно принимать в наши порты его [Гримальди] суда с краденым грузом». Лучано и вправду получал немалую прибыль от пиратства, и оказывать ему какую-либо помощь означало спровоцировать крупный дипломатический скандал. Но Макиавелли все-таки добился освобождения захваченного судна и 11 июня вернулся во Флоренцию.

За время его отсутствия многое переменилось на итальянской политической арене. В первые месяцы 1511 года состоялось успешное наступление объединенных войск папы и Венеции на французских союзников в Северной Италии. В конце января вследствие нерешительности французского губернатора Ломбардии Шарля д'Амбуаза, правителя Шомона (племянника кардинала д'Амбуаза), Юлий II занял Мирандолу, стратегически важный укрепленный город. Но в феврале обстановка резко изменилась: Шарль безвременно скончался, и во главе войск Людовик XII решил поставить пожилого, но энергичного Джанджакомо Тривульцио и импульсивного Гастона де Фуа, герцога Немурского. Стиль командования войсками изменился, что вскоре возымело последствия, когда весной французская армия направилась на юг, к Болонье, вынудив папу бежать в Равенну.

Юлий II доверил оборону города кардиналу Франческо Алидози, но этот прелат вызывал такую ненависть местного населения, что болонцы, едва завидев французов, подняли восстание, изгнали папский гарнизон и с распростертыми объятиями приняли бывших правителей Бентиволью. В отсутствие понтифика торжествующие горожане выместили свой гнев на бронзовой статуе папы работы Микеланджело: они разбили скульптуру на осколки, из которых затем герцог Феррары отлил одну из своих знаменитых пушек. Когда Юлий II принялся изливать свой гнев на Алидози за то, что тот упустил Болонью, кардинал попытался переложить вину на герцога Урбино Франческо Мария делла Ровере, который позже подстерег вероломного клирика в Равенне и вонзил ему в голову кинжал.

Теперь, глядя на неудачи понтифика, флорентийцы могли вдоволь позлорадствовать; более того, они подстрекали французов разгромить папу раз и навсегда. После заговора Принцивалле делла Стуфа власти республики действовали гораздо жестче в отношении Юлия, чем раньше. В январе 1511 года Людовик предложил провести мирные переговоры в Мантуе, но Флоренция пыталась его отговорить, сомневаясь в осуществимости подобной затеи, и предупредила короля о том, что папа вместе с испанцами склонял Венецию подписать мир с императором, дабы лишить Францию союзников. Республике

было нечего тревожиться, поскольку Юлий, опьяненных предыдущими победами, отверг приглашение французов, и тогда Людовик попросил флорентийцев позволить ему перенести заседание Вселенского собора из Тура в Пизу.

Флоренция не спешила с ответом и дала свое согласие лишь после майских побед французской армии, но даже тогда пыталась сохранить все в тайне, опасаясь ярости понтифика. Так или иначе, король, по-видимому, не стремился довести войну до победного конца. Он отказался продвигаться дальше, в глубь папских территорий, и даже вывел войска из Болоньи, что явно говорит о его желании подписать с Юлием мирный договор. Но решение флорентийцев перенести Собор в Пизу, похоже, встревожило понтифика (сохранить секретность было невозможно, учитывая, сколько горожан об этом знало, к тому же кардинал де Медичи имел осведомителей повсюду в городе), и папа, вероятно, именно поэтому вознамерился отсечь Флоренцию от наиболее могущественного союзника.

В апреле правительство направило Макиавелли в Сиену, чтобы расторгнуть договор между Флоренцией и Петруччи, и все лишь по одной причине — ради возвращения себе Монтепульчано. Французы склоняли Флоренцию атаковать Сиену, что дало бы Людовику повод прийти на помощь союзникам и тем самым создать плацдарм в Тоскане, откуда в случае необходимости он мог бы начать наступление на Рим. Юлий, не желая допустить подобного поворота событий, при поддержке ряда флорентийских аристократов добился, чтобы Флоренция и Сиена подписали мирный договор на более длительный срок, и убедил Петруччи сдать Монтепульчано.

Людовик XII был все еще не до конца уверен в том, стоит ли продолжать созванный им Галликанский (от лат. galli — галлы, то есть французы) Собор,[60] являясь, вероятно, последним его покровителем. Император, некогда поддержавший это начинание, успел к нему охладеть, хотя все еще тщил себя надеждой, что французы помогут ему заполучить обещанное на совете в Камбре. Кроме того, никто не верил, что участники Собора и вправду намерены реформировать церковь. Роберте сказал Акциайоли, что противники Юлия из числа кардиналов сильнее всего желали стать епископами.

Юлий тоже расстроил планы Людовика: 18 июля он издал буллу о созыве Вселенского собора, который должен был пройти в апреле следующего года в Латеранском дворце Рима. Тогда же папа объявил Галликанский Собор незаконным, еретическим и раскольническим. Едва булла была опубликована, королю ничего не оставалось, как признать ее либо и дальше следовать

намеченному плану. Людовик выбрал второе, решив, что ярая ненависть понтифика к Франции лишала его всякой возможности проведения мирных переговоров, и в августе монарх вновь обратился к Синьории с просьбой провести Галликанский Собор в Пизе и обеспечить безопасность прелатов, которые пожелают прибыть. Флорентийцы, обеспокоенные порицанием понтифика и торговыми убытками, которые неизбежно последуют за их согласием, изо всех сил тянули с ответом. В итоге под давлением французов они все же дали согласие, но предусмотрительно оповестили папу о том, что действовали исключительно по принуждению. Сами флорентийцы отказались участвовать, храня верность Священному Престолу, и пытались убедить Людовика пересмотреть свое решение.

Однако республика почти не надеялась на то, что ей удастся усмирить Юлия уговорами, и 10 сентября Десятка поручила Макиавелли встретиться с тремя кардиналами-отступниками, направлявшимися в Пизу, и попросить их отложить поездку. Кроме того, Никколо надлежало отправиться далее, ко двору короля, и передать решение властей, требовавших, чтобы король перенес Галликанский Собор в другой город и попытался бы достичь примирения с папой. Правительство заблаговременно сообщило своим послам в Риме, Милане и Франции о миссии Макиавелли, чтобы те предали дело самой широкой огласке. К тому же из Рима пришли вести о том, что Юлий тяжело заболел, а в случае его смерти политическая колода на итальянском столе будут перетасована заново.

12 сентября в Борго-Сан-Доннино, что к северу от Лукки, Макиавелли встретился с кардиналами Каравахалем, Борджиа, Сансеверино и Бриконне. Он сообщил им о неминуемом гневе Юлия, который уже вспыхнул, едва тот узнал, что 1 сентября доверенные лица кардиналов открыли Собор в Пизе. Также Никколо предупредил их об опасности, которую представляет ярость понтифика для флорентийских купцов, находящихся на папских территориях, и просил прелатов объехать стороной владения республики. Кардиналы согласились отправиться в Пизу через Понтремоли и удивились тому, что Флоренция оказалась не готова к вполне предсказуемым последствиям, которые вызовет их решение провести Собор в Пизе в 1409 году и тем самым выступить против «святейшего понтифика». В любом случае мощная армия Людовика их защитит, а заседание клириков и докторов богословия будет настолько многочисленным, что всякого, кто его оспорит, сочтут за еретика.

Кроме того, Макиавелли узнал, что кардиналы отправили агента к Максимилиану, чтобы просить его об участии в Соборе,

заверив, что с прибытием всех делегатов заседание будет перенесено туда, куда император пожелает (Максимилиан тешил себя надеждой стать новым папой).[61] Перед отъездом во Францию Макиавелли оставалось лишь доложить об услышанном правительству, и 24 сентября он встретился с королем в Блуа. Доклад о переговорах в соответствии со всеми дипломатическими нормами составил флорентийский посол Роберто Акциайоли. Людовик заявил, что разделяет озабоченность республики и более всего желает примирения. Однако распустить Галликанский Собор отказался, полагая, что это единственный способ усадить Юлия за стол переговоров. Макиавелли ответил, что непримиримость Юлия может, напротив, лишь усилиться, если король не прекратит вести такую церковную политику. Людовик настаивал на своем, но все же согласился отсрочить официальное открытие Собора до начала ноября и пообещал перенести его в другой город как можно скорее. Оправданием такой задержки послужила болезнь папы, и монарх был вполне готов распустить Собор, если понтифик окажется сговорчивее.

Каким бы тяжким ни был недуг Юлия, у папы хватало сил, чтобы еще раз напомнить, чем чревато противостояние «грозному папе». 20 сентября его нунций покинул Флоренцию, а спустя три дня архиепископ города обнародовал декрет понтифика, налагавший на город интердикт — к великому недовольству властей, поскольку их не оповестили заранее. В ответ республика приказала шести главным церквям Флоренции продолжать служить мессы, а священника Оньиссанти за отказ подчиниться бросила в тюрьму. Правительство также приготовилось оспорить папский декрет на будущих Вселенских соборах, предусмотрительно не указывая, какой именно из них имело в виду: Пизанский или же Латеранский.

Что касается самих флорентийцев, то соблюдение интердикта во многом зависело от политической и идеологической принадлежности каждого отдельного горожанина. Фракция Содерини в общем и целом продолжала посещать церковные богослужения, равно как и некоторые «монашествующие» (frateschi), которые считали, что Собор в Пизе исполняет пророчество Савонаролы о церковном обновлении. Прочие решили подчиниться указу Юлия из ненависти к гонфалоньеру. Этот раскол проявился еще сильнее, когда Содерини предложил обложить налогами флорентийский клир. Совет Восьмидесяти и Большой Совет трижды отвергали это предложение, пока оно не было принято с перевесом в две трети голосов. Оппозиция действовала отчасти из религиозных мотивов, отчасти опасаясь гнева понтифика, а также помня о том, что многие члены

влиятельных семейств владели немалыми церковными приходами. Содерини вновь не сумел объединить горожан под своим знаменем во времена невзгод.

Когда Юлий II узнал, что флорентийцы обратились к Вселенскому собору, он еще сильнее затянул петлю вокруг города. 23 сентября папа заявил послу Флоренции, что уже приказал конфисковать все движимое имущество в приграничных районах республики, а на следующий день намерен арестовать всех флорентийских купцов в Риме и забрать их товары. Теперь Юлий угрожал Флоренции более многочисленной армией, чем прежде, а после многих месяцев переговоров все же добился союза с Венецией и Испанией под названием Священная Лига, дабы вернуть Болонью, отстоять независимость Священного Престола и защитить от раскола церковь.

Кроме того, предположив (довольно точно), что Максимилиан был сыт по горло французами, правители одобрили пункт в договоре, позволявший императору вступить в Лигу позднее. Спустя шесть недель к союзу присоединился король Англии Генрих VII, помогая тем самым отвлекать французские войска от боевых действий в Италии. Юлий возненавидел Содерини не меньше французов и дал понять, что намерен восстановить во Флоренции власть Медичи. Враги Содерини заняли важные посты: кардинал Джованни де Медичи стал (формально и до поры до времени) легатом в Болонье, а Гульельмо Каппони отправился в Пизу в качестве особого папского представителя.

1 ноября в Пизе, наконец, состоялось заседание Галликанского Собора, однако флорентийцы не спешили его поддерживать: они отказали участникам в военной и политической помощи и в целом саботировали их работу. Макиавелли, только что вернувшийся из Франции, 3 ноября прибыл в Пизу во главе трех сотен пехотинцев, отправленных республикой для защиты своих интересов в городе. Спустя три дня во время встречи с одним из кардиналов Никколо участливо предложил перенести собор в более удобное место и обвинил в нехватке провизии скудные урожаи. Прелат ответил, что жизнь в Пизе хоть и была сносной, но не шла ни в какое сравнение с жизнью в Милане или Риме, и потому согласился с тем, что Собор стоит перенести. Никколо задержался в городе до отбытия всех участников Собора в Милан и составил подробный отчет о заседаниях, из которых не пропустил ни одного. К 13 ноября, когда Собор покинул город, флорентийцы вздохнули с облегчением и начали искать способ помириться с Юлием.

По заявлению папы, он ожидал, что республика направит в

Рим двоих послов: одного от правительства, а другого — от духовенства, — и хотел, чтобы Флоренция отменила налоги для клира и отреклась от своей причастности к Галликанскому Собору. На заседаниях совещательных комитетов (¡pratiche), созванных для обсуждения поставленных условий, возникло множество разногласий, и правительству пришлось прибегнуть к привычной тактике и тянуть время, хотя о поддержке Людовика XII никто не заикнулся. Озабоченность властей честью и репутацией города отразилась в мандате, который Десятка выдала Антонио Строцци, новому послу в Риме. В обмен на отказ Флоренции апеллировать к Галликанскому Собору папа должен был снять с города интердикт без всякого отпущения грехов, а что касается налога для церковников, поскольку принимал его Большой Совет, он, и только он, был вправе и отменить его. Хотя папа оставался непреклонен в своих требованиях, Большой Совет так и не одобрил постановление об отмене спорного налога, поскольку законодатели не желали ни с кем делиться политическими полномочиями. Допустив принятие этого налога, вечно осмотрительный Содерини сам загнал себя в угол, выбраться из которого уже был не в силах.

События приняли неожиданный оборот. В начале февраля 1512 года венецианцы сумели отбить Брешию и вклинились в восточный фланг французов. Но Гастона де Фуа не зря нарекли «грозой Италии»: спустя две недели он штурмом взял город и подверг его ужасному разграблению. Когда вести о победе достигли Флоренции, правительство приказало зажечь праздничные костры, и еще больше ярых сторонников союза с Францией потребовали приступить к сбору клерикального налога. Синьория отклонила их требование незначительным большинством голосов (пять против четырех), но фискальные органы все равно начали собирать налог. Духовенство упорно сопротивлялось, и едва 1 марта в должность вступил новый состав Синьории, Содерини приказал прекратить сбор. Похоже, это решение до некоторой степени умиротворило папу, и благодаря вмешательству флорентийских священнослужителей 10 апреля он согласился снять интердикт. Тем временем Франция и Священная Лига настойчиво требовали, чтобы Флоренция объявила, на чьей она стороне. Попытки выиграть время уже приносили ранее свои плоды и все еще могли помочь республике, которая дожидалась победы одного из противников.

И такая стратегия, похоже, сработала: 11 апреля французская армия одержала убедительную победу в битве при Равенне. Узнав об этом, Флоренция ликовала, а про-французски настроенные горожане превозносили победителей. Франческо Гвиччардини

обвинил Макиавелли в том, что он «по пристрастию» преуменьшил потери Людовика и преувеличил потери Лиги, а совещательный комитет (praticä) подавляющим большинством голосов выступил за возобновление оборонительного союза с Францией. Флорентийцы долго выжидали, не объявляя о своем решении, и теперь бросились на помощь к победителю, тогда как выгоднее было бы все же выждать немного. Битва оказалась поистине кровавым побоищем, однако значительная часть испанской пехоты под командованием вице-короля Неаполя Рамона де Кардоны сумела отступить в полном составе и по пути убить Гастона де Фуа. Его преемник, Жак де ла Палис, не стал преследовать испанцев и предпочел войти в Равенну и разграбить город.

Французы одержали пиррову победу, потеряв тысячи убитыми, в том числе де Фуа. И что еще хуже, через несколько дней после сражения Максимилиан приказал германской пехоте, служившей Людовику, вернуться домой, а на помощь Священной Лиге пришли швейцарцы, вторгшиеся в Ломбардию. Французам пришлось отступать и покинуть большую часть недавно завоеванных земель, в том числе и Болонью.

20 июня войска Лиги вошли в Милан, а спустя девять дней против занявших ее французов восстала Генуя. К тому времени де ла Палис двигался к Альпам во главе распадавшейся и деморализованной армии, и теперь Флоренции и другим итальянским союзникам Франции приходилось самим заботиться о себе. Спасти положение мог политический оппортунизм.

11 июля во Флоренцию прибыл посол папы Лоренцо Пуччи с просьбой присоединиться к Священной Лиге и помочь ей изгнать, наконец, французов из Италии. На заседании совещательного комитета предлагались различные решения, но все они либо не отвечали требованиям Лиги, либо не позволяли войти в союз, сохранив при этом дружественные отношения с Францией (всем представлялись устрашающие гонения на флорентийских купцов). Флорентийцы вновь прибегли к своей обычной тактике и, положившись на время и удачу, принялись выжидать. Но время быстро истекало, а удача уже даровала свою милость другим.

В начале августа победители собрались на дипломатическую встречу в Мантуе, в присутствии императорских представителей, хотя сам Максимилиан никогда в Лигу не вступал. Вскоре стало ясно, что единственной силой, скреплявшей эту коалицию, была всеобщая неприязнь к французам, без которой вновь давали о себе знать давняя вражда и зависть. Несмотря на захват Пармы и Пьяченцы, папа не мог выдавить д'Эсте из Феррары. И хотя один отряд «варваров» был изгнан из Италии, прочие уходить явно не

собирались. Сфорца в основном по причине бездействия швейцарцев завладел герцогством Миланским, тогда как испанцы прочно обосновались в Неаполитанском королевстве.

Единственное, о чем правители сумели договориться в Мантуе, — это покарать Флоренцию за поддержку французов и изгнать Пьеро Содерини. Эта миссия выпала Рамону де Кардоне, которому кардинал де Медичи великодушно предложил 10 тысяч дукатов для выплаты жалованья испанским солдатам и пообещал наградить еще, как только все будет исполнено. Флоренция оказалась не в силах предложить равнозначную награду, отчасти власти ничего не знали о переговорах в Мантуе и пребывали в нерешительности. В одиннадцатом часу, когда войска Кардоны уже перешли через Апеннины, флорентийцы уразумели, что на них нападают и медлить больше нельзя.

Если верить одному из биографов XIX века, Макиавелли предчувствовал беду заранее. Якобы составленное в ноябре 1511 года Никколо завещание сочли доказательством того, что «он предвидел тяжелые времена». Но в ту эпоху размышления сорокадвухлетнего мужчины о возможной кончине и желание составить завещание, особенно если он имел малолетних детей (Бернардо, старшему сыну Никколо, было всего восемь), были явлением вполне обычным. В действительности с того момента, как Галликанский Собор покинул Пизу, и до мая следующего года Макиавелли, по-видимому, как обычно, исполнял поручения Десятки: инспектировал отряды ополчения, посещал крепости и занимался прочими административными делами. Но он, несомненно, понимал, что времена грядут непростые. В одном документе, датированном мартом 1512 года, говорится не только о создании кавалерийских отрядов, но и о необходимости сохранить Флоренцию независимой, а также выражена тревога по поводу «сил, кои в настоящее время правят государствами Италии».

Когда в город начали просачиваться слухи о произошедшем после битвы при Равенне, у Никколо появились новые заботы. Флоренция предприняла робкие попытки защитить свои границы. В конце июня, после поездки в Сиену, где Никколо должен был выразить соболезнования от имени Флоренции в связи со смертью Пандольфо Петруччи, Макиавелли отправился в Сан-Джованни-Вальдарно посоветоваться с местным правителем относительно папской армии, шедшей на север. Республика разрешила этим войскам проход по своей территории, но была обеспокоена тем, что это были войска Орсини. Затем Никколо отправился в Монтепульчано для организации обороны этой территории на случай, если папская армия отклонится от своего

маршрута.

И все же деятельность Никколо значительно осложняли отсутствие сильного политического лидера и общеизвестные скупость и гордыня флорентийцев. В конце июля секретарь, в то время занятый сбором войск в Муджелло, получил известие о том, что испанская армия собралась в Лояно, то есть примерно в шести милях от флорентийской границы. Макиавелли немедленно оповестил правительство, но в ответ получил приказ отпустить всех солдат, кроме пары сотен пехотинцев, и платить им лишь в случае крайней необходимости. Совещательные комитеты, созванные для обсуждения данного вопроса, а также возможности дальнейших переговоров с Лигой, похвалили Десятку за бережливость. Затем было решено избрать уполномоченного посла, который бы руководил работой Макиавелли, и проголосовать за введение наказания для тех, кто «распространял ложные слухи». Слепой старик Антонио Джакомини сразу же заметил всю опрометчивость этого решения и умолял правительство укрепить перевал Пассоделла-Фута, предположив (абсолютно верно), что именно через него испанцы могут проникнуть на территорию республики.

Но мольбы старика отклика не нашли. Правительство решило собрать несколько тысяч солдат в Фиренцуоле, рассчитывая на то, что испанцам придется перед тем, как продолжить наступление, овладеть этой крепостью, чтобы не оставлять у себя в тылу крупные силы. 22 августа представитель Флоренции при дворе вице-короля Неаполя Бальдассарре Кардуччи доложил, что Макиавелли отправился в Фиренцуолу во главе двух тысяч пехотинцев. Кардуччи был уверен, что «все произойдет по воле Вашей Светлости и ей во благо».

Его оптимизм оказался неуместным: испанцы перешли через перевал Пассоделла-Фута, как и предсказывал Джакомини. Вице-король был решительно настроен идти на Флоренцию, требовал отставки Содерини и разрешения для Медичи возвратиться в город на правах частных лиц. Предложение 30 тысяч дукатов в обмен на его возвращение разочаровало Кардону, настаивавшего на сотне тысяч. Он также бранил флорентинцев за нерешительность, ссылаясь на то, что его повелитель из недоверия к республике не решался заключать с ней соглашения. Он предложил Кардуччи переговорить с кардиналом Джованни де Медичи, пока тот находился в его лагере. Флорентийский посол, памятуя о запрете на общение с бунтовщиками, вежливо отказался. Кардуччи ничего не оставалось, как сообщить Десятке, что к утру испанцы будут в Барберино и, вероятно, затем намерены захватить Прато. «Охраняйте Прато как следует, —

предупреждал он, — ибо здешний люд болтает, будто жители города благоволят кардиналу».

Десятка спешно приказала правителю Прато подновить защитные сооружения и готовиться к обороне, добавив, что огнестрельное оружие, порох и другие припасы они пришлют. Но вовремя в город прибыла лишь небольшая часть вооружения, и хотя позже поговаривали об измене и саботаже (ходили слухи о банде флорентийской молодежи, которая нападала на обозы и, разогнав извозчиков, крушила бочки с порохом), логичнее предположить, что вне зависимости от приказов все попытки властей прийти на помощь Прато оказались жалкими и запоздалыми.

Весть о наступлении Кардоны привела Флоренцию в полное оцепенение. Захватчики действовали с жестокостью, не отличавшей их от любой другой армии XVI века: убивали всех без разбора, уводили женщин и скот, наводя ужас на жителей окрестных селений. По сохранившимся свидетельствам, испанская армия насчитывала 8 тысяч пехотинцев, 800 всадников («Многие страдают от недугов, но надежда на наживу придает им сил и ускоряет шаг», — заметил Кардуччи) и два орудия; однако на самом деле их было чуть больше 5 тысяч. Но независимо от численности и физического состояния, испанцы были ветеранами, прошедшими немало сражений, закаленными воинами, неистовыми сынами суровой Эстремадуры, засушливых равнин Кастилии и крутых гор Арагона. Среди них было и немало морисков (moriscos) — мусульман, принявших христианство.

В Равенне на глазах у товарищей многих из них рвала на части артиллерия герцога Феррарского, топтала тяжелая кавалерия французов, сминала немецкая пехота Людовика XII. Испанцы не боялись смерти, тем более от рук тех, кого считали дилетантами. Но крайне нуждались в припасах — в особенности в провианте — и чуть разжились едой в ходе марша на юг. Кардона был явно обеспокоен тем, что из-за нехватки самого необходимого его армия редеет и, если его вынудят отступить, он рискует угодить в ловушку между основной флорентийской армией и силами, собранными в Фиренцуоле. Положение было безвыходным, и вице-королю оставалось только одно — продолжать наступление.

Во Флоренции мнения о том, как лучше отразить испанскую угрозу, разделились. 24 августа Макиавелли срочно вызвали в город: Синьории не терпелось выслушать его оценку сложившейся ситуации. Никколо считал, что «защищать надлежит не конечности — без них можно жить, — а сердце и жизненные органы тела, ибо, если поразить сердце, наступает смерть», как

напишет он позднее в трактате «О военном искусстве». Содерини решил сосредоточить основную мощь — 9 тысяч пехотинцев и несколько сотен всадников — непосредственно у стен Флоренции, вопреки мнению некоторых членов Десятки, предлагавших собрать все силы в Прато, и невзирая на предостережение уполномоченного представителя в армии Пьерфранческо Тозиньи: «Предвижу крушение ваших замыслов».

Содерини к ним не прислушался и сейчас, задним числом, легко критиковать его, хотя обе стратегии имели свои преимущества, по крайней мере теоретически. Кроме того, гонфалоньер боялся, что оказавшаяся без защиты Флоренция перейдет к сторонникам Медичи. 27 августа Содерини добился личной победы: Совет Восьмидесяти и Большой Совет объявили ему вотум доверия, отклонив как его заявление об отставке, так и просьбу вновь допустить в город Медичи. Вдохновленное этим проявлением народной любви, правительство приказало арестовать ряд лиц, подозреваемых в пособничестве Медичи.

Тем временем испанцы вошли в Кампи, разграбили город и сожгли. Оттуда они могли направиться либо на север, к Прато, либо на юг и атаковать Флоренцию. Вечером 27 августа Буонаккорси писал Макиавелли: «Вам известно, кто крайне опечален и обеспокоен тем, что этим вечером в Кампи обосновался враг, и желает, чтобы я попросил вас не мешкать. Сделайте все, что возможно, и не тратьте времени на досужие прения». Один решительный шаг мог все изменить в пользу Флоренции. Феррарский агент в испанской армии писал кардиналу Ипполито д'Эсте, брату герцога Феррары: «Решившись ударить, флорентийцы с позором разгромили бы этот лагерь». Но то ли из-за нерешительности, то ли из-за отсутствия четкой стратегии флорентийская армия не сдвинулась с места, утратив единственную возможность вынудить испанцев к отступлению. Однако плохо обученное ополчение и нехватка знающих командиров могли с легкостью обернуть атаку в катастрофу. Потому решение оставаться на месте, принятое Макиавелли или кем-то еще, можно считать самым разумным.

На следующий день захватчики двинулись на север и заняли позиции у Прато. Городской гарнизон состоял из 3 тысяч ополченцев, тысячи местных добровольцев и нескольких сотен всадников, которыми за отсутствием подходящего главнокомандующего руководил один из старейших военачальников республики, преклонных лет Лука Савелли, который уже не мог никого вдохновить на борьбу. Теоретически этих сил было вполне достаточно, чтобы сдержать испанцев, но средневековую стену вокруг Прато никто так и не

отремонтировал. Более того, солдатам не хватало боеприпасов, и однажды им даже пришлось сдирать с крыш свинцовые листы, чтобы из них выплавить пули. К тому же правителю города было отпущено на оплату солдатского жалованья лишь 100 дукатов с предупреждением расходовать эту сумму экономнее. Неделей ранее флорентийские советники согласились собрать около 50 тысяч дукатов на военные нужды, но на сборы ушло бы немало времени, а между тем безденежье отнюдь не укрепляло и без того невысокий боевой дух солдат. Жителям Прато приказали не покидать дома, и это убедило ополченцев из других флорентийских земель, что помогать обороне горожане не собираются.

Утром 28 августа испанцы открыли огонь по крепостным стенам из двух орудий. После нескольких выстрелов разорвался ствол одной из пушек, а вторая оказалась слишком малого калибра для разрушения нижней части кладки. Попытка штурмовать укрепления, применив осадные лестницы, также провалилась: потери испанцев составили сорок солдат, а защитников города — всего три человека. Теперь, оказавшись в отчаянном положении, Кардона отправил во Флоренцию посла с предложением отступить в обмен на 30 тысяч дукатов и сотню вьюков хлеба.

Несмотря на кажущуюся решимость, вице-король получил от испанского монарха указание урегулировать ситуацию путем переговоров и в случае необходимости пожертвовать Медичи. Священная Лига уже начала разваливаться. Фердинанд Арагонский был разгневан тем, что Юлий II захватил Парму и Пьяценцу и пытался изгнать д'Эсте из Феррары. Вице-король открыто заявил флорентийскому послу Никколо Валори, что скорее предпочел бы видеть Флоренцию свободным городом, нежели под властью папы. Учитывая эти обстоятельства, Флоренции было бы разумнее согласиться с предложением Кардоны, но Содерини, убаюканный новыми надеждами, напротив, решил переждать, рассчитывая на то, что избавиться от испанцев без особых затрат поможет голод. Впоследствии Макиавелли подвергнет резкой критике такое решение, списав его на самонадеянность сограждан. Он утверждал, что, согласившись на условия испанцев, Флоренция сохранила бы независимость: «Благоразумным государям и республикам следует довольствоваться победой, ибо отсутствие такого довольства чаще всего и приводит к поражению». Хотя Содерини и вправду трудно было отказать в благоразумии, на этот раз это несомненное достоинство явило свою противоположность.

Не получив никакого ответа, Кардоне пришлось спешно

принимать решение. Утром 29 августа он установил оставшееся орудие перед участком стены Серральо, где возвышенность, представляя естественное прикрытие, позволяла ближе подобраться к укреплениям. К одиннадцати часам в верхней части стены образовалась брешь шириной около двенадцати футов, и вице-король собрал войско для штурма. Он напомнил солдатам о выпавших на их долю невзгодах, заверив их, что продовольствия в Прато в избытке, пробудил жажду отмщения, напомнив им о соратниках, умиравших от отравленного вина, которое они находили в брошенных жилищах по дороге сюда. Надо сказать, речь вице-короля возымела действие. Кроме того, если город будет взят, Кардона пообещал солдатам полную свободу действий и сотню дукатов первому, кто ворвется в брешь. Тем не менее, желая избежать лишних потерь, он прежде отправил в город глашатая — потребовать добровольной сдачи города, в противном случае он возьмет его силой. В ответ Лука Савелли храбро заявил, что, если Кардоне нужен Прато, ему придется за него сражаться.

Около полудня испанцы подобно «бешеным псам» бросились в брешь. Ополчение Сан-Миниато и Вальдиньеволе пыталось их сдержать, однако, потеряв двоих, отступило перед яростью нападавших. Другие отряды ринулись прикрывать брешь, но захватчики уже врывались в город и, взбираясь по осадным лестницам, беспрепятственно преодолевали незащищенные стены. Штурм еще можно было остановить, если бы не обратившийся в бегство отряд аркебузиров, обстреливавший брешь из-за окружавшей сад стены. Неукротимые испанцы, безжалостно подавляя сопротивление, быстро заняли главные улицы и центральную площадь города.

Из ополченцев выжили те, кому удалось скрыться в домах и подвалах. Как только ярость поутихла, бессмысленным убийствам испанцы предпочли деньги за выкуп. Лука Савелли и флорентийский правитель Прато были взяты в плен, а ликующие захватчики предались мародерству и насилию: насиловали женщин всех возрастов, пытали мужчин, чтобы вызнать, где спрятаны ценности, брали в заложники детей. Вице-король и кардинал де Медичи просили сохранить честь женщин, но при всем желании остановить обезумевших солдат они не могли. И все же некоторых женщин, моливших о пощаде, Кардона и кардинал спасли. В течение трех недель испанцы, не гнушаясь ничем, бесчинствовали в Прато.

Сколько людей погибло во время осады и разграбления города, сказать трудно. Примерное число жертв составляет от 50 человек до 6 тысяч. Вероятно, истинное число где-то посередине:

возможно, к 2 тысячам ополченцев, «павших, спасаясь бегством и моля о пощаде», как писал Франческо Гвиччардини, следует прибавить горожан, пытавшихся защитить себя, свои семьи, собственность и честь. Ответственность за их гибель всецело лежала на Содерини, хотя объективно в их смерти отчасти повинна политическая система Флоренции в целом.

Едва вести о случившемся достигли Флоренции, по городу прокатилась волна паники. Ополчение потерпело поражение в Прато, и уже никто не мог гарантировать, что то же самое не повторится при штурме Флоренции. В замешательстве правительство отправило Бальдассарре Кардуччи переговорить с вице-королем. По возвращении Кардуччи доложил, что Кардона хочет, чтобы ему выплатили 150 тысяч дукатов и позволили Медичи вернуться во Флоренцию. Также посол рассказал об увиденном в городе, преувеличив масштабы разрушений, и его слова лишь усилили ужас флорентийцев, опасавшихся той же участи. «Итак, можно с уверенностью сказать, — комментировал события Франческо Веттори, — что даже такой враг Медичи, как мессер Бальдассарре, приложил куда больше усилий для их возвращения во Флоренцию, чем любой из их ближайших друзей». Вечером 30 августа Совет Восьмидесяти предложил Содерини согласиться на условия вице-короля. Гонфалоньер уже собрался подать в отставку, но Синьория его отговорила.

Однако на следующий день все круто изменилось: во дворец правительства ворвались четверо молодых аристократов — Антонфранческо дельи Альбицци, Паоло Веттори (брат Франческо), Бартоломео Валори и Джино Каппони — и пригрозили убить Содерини, если тот не уйдет в отставку. Гонфалоньер растерялся, и тогда Альбицци схватил его за мантию и потребовал выпустить из тюрьмы всех, кого арестовали несколькими днями ранее. Содерини понял, что остался в одиночестве, и тут же принял их условия. Он слышал крики разгневанной толпы, собравшейся возле дворца. Вызвав Макиавелли, гонфалоньер велел привести Франческо Веттори. Содерини стремился вытребовать позволение покинуть город живым и невредимым, и прибывший вскоре Веттори все же сумел убедить противников Содерини отпустить его с миром. Франческо вызвался проводить его до дома, и вдвоем они покинули дворец.

Некоторые члены правительства едва сдерживали радость, наблюдая за уходом Содерини. С гонфалоньером едва не случился припадок, когда он дошел до моста Санта-Тринита, и он попросился в расположенный неподалеку дом Веттори. Следующей ночью Франческо тайно вывез Содерини из Флоренции и сопровождал гонфалоньера до самой Сиены. Тем

временем были созваны коллегии и магистраты, которым надлежало решить его судьбу. Первоначальное предложение отстранить его от должности было отклонено, однако Веттори предостерег власти об опасности, которая в этом случае могла угрожать Содерини, и тогда ходатайство одобрили.

1 сентября во Флоренцию прибыл Джулиано де Медичи. Он был в традиционном флорентийском платье и шел по улицам без охраны. Столь скромное поведение было более чем оправдано, если учесть, что одно лишь упоминание о Медичи приводило многих горожан в ярость; и хотя ряды паллески (palleschi) ежечасно множились, Джулиано и его брат-кардинал понимали, насколько слабы пока что их позиции. Большинство флорентийцев, не считая незначительного числа фанатичных приверженцев Медичи, было согласно жить под властью Содерини, а их верность любому новому правительству была продиктована скорее выгодой, нежели политическими убеждениями. Никто не мог поручиться, что после ухода испанцев Медичи сумеют удержаться во Флоренции, а пока что Джулиано и кардиналу нужно было хотя бы сделать вид, будто они поддерживают республиканскую конституцию.

По этой причине, когда в правительственный дворец прибыл вице-король и, заняв место гонфалоньера, выступил с обращением в поддержку Медичи, власти решили обсудить политические реформы на совещательном комитете, куда также входил Джулиано. Комитет предложил урезать срок полномочий гонфалоньера до одного года и, кроме того, увеличить число заседателей в Совете Восьмидесяти, а также повысить жалованье чиновникам. 6 сентября ходатайство одобрил Совет Восьмидесяти, а на следующий день — Большой Совет, причем в обоих случаях с небольшим перевесов голосов. Гонфалоньером стал Джованбаттиста Ридольфи, считавшийся умеренным сторонником Савонаролы и связанный с Медичи кровными узами. Внешне структура правительства существенно не изменилась. Однако никто не питал иллюзий насчет того, что это решение принято навеки и Медичи откажутся от своих притязаний. Сам Ридольфи это прекрасно понимал. Обращаясь к горожанам, пришедшим выразить сомнения в истинных намерениях Медичи, он сказал: «И как же, по-вашему, нам поступить? Враги затолкали нас в просмоленную бочку и легко выбьют нас наружу вместе с пробкой». Ридольфи и другим флорентийцам оставалось только ждать.

Новый закон вызвал недовольство почти всех горожан, но больше других негодовали ярые паллески, считавшие его политической подачкой. Более того, стало известно о

предложении вице-короля вернуть на пост Содерини, некоторые решили, что с помощью этой уловки испанцы хотели посеять в городе непримиримую вражду, а затем атаковать Флоренцию. Под угрозой оказалась не только независимость города, но и власть Медичи, однако их самые верные сторонники сплотились вокруг кардинала Джованни и убедили его принять соответствующие меры. 14 сентября кардинал во главе нескольких тысяч наемников въехал в город, и народ встречал их шествие рукоплесканиями. Спустя два дня Джулиано с друзьями проник в правительственный дворец, спрятав под одеждой оружие, а на близлежащей площади в это время собирались солдаты кардинала. По сигналу все, кто находился в здании, выхватили оружие и потребовали срочного созыва парламента.

После столь неожиданной демонстрации силы правительству ничего не оставалось, как подчиниться. Под угрозой расправы горожане проголосовали за созыв бальи для пересмотра конституции. Излюбленный трюк Медичи вновь сработал, но кардинал позаботился о том, чтобы в новый орган вошло как можно больше людей умеренных взглядов. Ему понадобились не просто опытные политики: дело в том, что единодушное решение наиболее видных и состоятельных горожан гарантировало Медичи политическое выживание.

Первой жертвой преобразований пал Большой Совет: после недолгих дебатов балья решила восстановить конституцию 1494 года. Значительная часть граждан, хоть и сохранив избирательные права, все же лишилась былого влияния, которое обрела после изгнания Пьеро де Медичи, а на глазах «плакс» пошли прахом реформы обожаемого ими Савонаролы. Но Медичи не могли угодить всем и потому рассчитывали, что поддержка «порядочных людей» (uomini dabbene) в итоге будет куда важнее одобрения ремесленников из среднего класса, который и составляли костяк главного совета республики.

Макиавелли, похоже, двигался по течению. В письме некоей «благородной даме», написанном после 16 сентября, он досконально изложил все события вплоть до созыва бальи, завершив словами: «Город и вовсе обезмолвел, надеясь жить при их [Медичи] поддержке с тем же достоинством, что и во времена их счастливейших воспоминаний, когда правил Лоренцо Великолепный». Подобные речи были не совсем к лицу стороннику республики, но Макиавелли и вправду нечего было бояться, пусть даже многие считали его сторонником Содерини. Однако с 7 ноября по распоряжениям Синьории он лишился всех постов и привилегий, ему на год запретили покидать владения Флоренции и входить во дворец правительства, а также

потребовали внесения крупной суммы в качестве залога о надлежащем поведении. Аналогичным репрессиям подвергся и Бьяджо Буонаккорси. Поскольку они с Никколо оказались единственными, кто лишился работы в канцелярии, было бы вполне уместно спросить, что же все-таки происходило в течение двух месяцев после государственного переворота.

Вероятно, ответ кроется в двух письмах Макиавелли того периода. В конце сентября балья учредила комиссию, контролировавшую возврат собственности, конфискованной у Медичи и распроданной после 1494 года. Всем, кто купил что-либо из их вещей, возвращали деньги. Макиавелли написал кардиналу де Медичи с просьбой прекратить это, заявив, что попытки отобрать вещи у законных хозяев неизбежно вызовут негодование:

«Люди возмущаются гораздо больше, когда их лишают имения (podere), нежели когда убивают их брата или отца, ибо люди способны забыть о смерти, но только не о собственности. Причины очевидны. Всем известно, что новая власть родственников не воскресит, зато может вернуть имение. И лучше других об этом знают флорентийцы, которые скорее алчны, нежели щедры… И поскольку я хочу стать другом вашей семьи, а не врагом, было бы лучше, чтобы балья рассмотрела предложение выдать вам из казны коммуны временную компенсацию в размере четырех или пяти тысяч дукатов».

Написав это письмо, Никколо совершил грубую политическую ошибку. Во-первых, его совета никто не спрашивал (послание начиналось словами: «Пусть мое восхищение станет оправданием моей самонадеянности»). Во-вторых, замечания о смене режиме, исходившие из уст человека, близкого к Содерини, явно содержали некий угрожающий подтекст. В-третьих, Медичи были заинтересованы в возвращении утраченной собственности, это было куда важнее осознания факта чьей-то враждебности. Наконец, Макиавелли как гражданский служащий был обязан вести себя осмотрительнее, ему не пристало демонстративно вмешиваться в государственные дела. Под руководством Содерини Никколо привык солировать в политическом оркестре Флоренции. Но, увы, музыканты сменились, и мелодии стали другими.

Тем не менее даже после такого промаха Макиавелли вполне мог сохранить за собой пост в канцелярии, если бы на некоторое время затаился, но любовь к чужому вниманию одержала верх. Довольно скоро смена власти во Флоренции возмутила Юлия И, особенно когда до него дошло, что Медичи вовсе не собирались стать послушным инструментом в его руках. Понтифик хотел,

чтобы кардинал Джованни де Медичи приказал войскам атаковать Альфонсо д'Эсте, но флорентийское правительство, выложившее вице-королю и другим претендентам на эту роль 150 тысяч дукатов, уже было не в состоянии заставить обнищавший город финансировать новую крупную кампанию, тем более нацеленную на Фердинанда Арагонского. Получив отказ, понтифик разразился проклятиями в адрес Медичи и взялся за подготовку реставрации прежнего режима во Флоренции. Всех членов семьи Содерини, за исключением кардинала Франческо, приговорили к ссылке в различные города, и Пьеро обосновался в Дубровнике.[62] Однако во Флоренции оставалось еще немало сторонников бывшего гонфалоньера, и Медичи не могли обуздать их силой и потому решили поднять шумиху, чтобы очернить Содерини и его власть. В это же время Макиавелли обратился к Медичи с воззванием «К паллески» (II Ricordo ag Palleschi), а в подзаголовке значилось: «Прочтите сей труд с должным вниманием».

Назидательный тон названия едва ли располагал читателей к автору, как, впрочем, и сам текст документа. Макиавелли утверждал, что хулить правление Содерини глупо и непродуктивно, поскольку все остальные режимы Флоренции разделяют его недостатки. Все, кто так рьяно критиковал бывшего гонфалоньера, о благополучии города и не помышляли, заботясь лишь о своих личных интересах. Новым правителям не стоит доверять тем, кто «ведет себя подобно потаскухам, безразличным к Медичи и ее народному объединению», пытается стать на их защиту и потому заискивает перед народом, оправдывая его сопротивление Содерини. Медичи было выгодно отсечь злоязыких клеветников от народа, дабы заставить их хранить верность государству.

Это воззвание Макиавелли было непростительной ошибкой. Он раскритиковал не только аристократов, извечно враждовавших с Содерини, но и представителей знати, которые присоединились к Медичи в последний момент. Однако именно они обеспечивали Медичи поддержку нового режима, поэтому тот не мог без них обойтись, более того, среди них отыскалось довольно много врагов Никколо. Защищая бывшего гонфалоньера, Макиавелли не только причислил себя к последователям Содерини, которых новая власть не желала подпускать к правительственным постам, но и косвенно подтвердил свое участие в политических гонениях на Медичи, длившихся четырнадцать лет. Благодаря своему вмешательству в общественную жизнь Макиавелли превратился в опасного противника, и враги потребовали его наказания. Ради

спокойствия и собственной безопасности Медичи были готовы преподнести им на блюде голову Никколо. Та же участь постигла и Буонаккорси: общеизвестная дружба с секретарем также обеспечила ему ярлык политического противника.

Навсегда покидая канцелярию, Макиавелли, возможно, припомнил старый афоризм: «Всегда думай, что говоришь, и не всегда говори, что думаешь». Но применить эти мудрые слова на практике ему удастся еще очень и очень нескоро.

Глава 11
Дьявольское отродье

> *Но повсюду среди сынов Божьих скрываются отпрыски сатаны, которым суждено существовать, пока Он не «очистит гумно Свое»,[63] и потому в славном граде [Флоренции] родился сей отпрыск дьявола, искуснейший в пороках среди сынов Божьих и написавший книгу, что смердит самой мерзостью бесовской.*
>
> *Кардинал Реджинальд Поул о Никколо Макиавелли*

Post res perditas («Когда все безнадежно»). Именно так Макиавелли не раз будет называть во всех отношениях переломный период жизни, наступивший после увольнения из канцелярии. Лишившись работы, покровительства и почти всех друзей, Никколо, ненавидимый новым правительством, с тоской вспоминал былые дни, когда он пользовался властью и почетом, и неизменно всеми силами стремился вернуть утраченное. В то же время Макиавелли приходилось заботиться о семье, а доходов, ежегодно приносимых ему небольшим поместьем, едва хватало на повседневные нужды, к счастью с непредвиденными расходами, как то, например, лечение тяжкого недуга, столкнуться ему не пришлось. Будущее Никколо видел в черном свете.

Но как бы плохо ни было, худшее было еще впереди. В феврале 1513 года двое молодых людей, Пьетропаоло Босколи и Агостино Каппони, сговорились убить Джулиано де Медичи. Но один из них неосторожно обронил список людей, которых они хотели посвятить в свой замысел, и среди них оказался Никколо Макиавелли. Вскоре власти арестовали Босколи, Каппони и всех, значившихся в списке. Не застав Никколо дома, Комиссия Восьми по охране государства издала указ, согласно которому всякий, кто знал о местонахождении Макиавелли, обязан был в течение часа сообщить властям под угрозой ссылки или конфискации имущества. Никколо пришел сам, и подобно другим подозреваемым, его несколько раз (четыре, хотя позже он утверждал, что шесть) подвергали пыткам на дыбе (strappado),

выбивая из него признание.[64]

Однако никаких связей Макиавелли с заговорщиками из списка обнаружить не удалось, кроме разве что дружбы с Никколо Валори и Джованни Фольчи и знакомства с Босколи. Фольчи сказал, что во время бесед с Макиавелли того гораздо больше интересовали «войны, нежели город». То, что Никколо больше внимания уделял внешней политике, чем внутренней, свидетельствует о том, что он все еще лелеял надежду вернуться в канцелярию. Но власти на всякий случай решили заточить Макиавелли в тюрьму, пока не решат его дальнейшую судьбу.

Заговор задумали два интеллектуала, начитавшиеся трудов по античной истории и вообразившие себя Брутами. Власти, вовремя разгадав их планы, решили устроить показательный суд над ними. Босколи и Каппони приговорили к смертной казни через обезглавливание, Валори и Фольчи — к двум годам заключения в Вольтерре, а всех остальных — к различным срокам тюремного заключения во флорентийских владениях. Ночью ожидавший своей участи Макиавелли услышал траурные литании «черных»,[65] которые сопровождали двоих смертников на казнь. Все тело Никколо изнывало от боли. Он лежал со связанными ногами в зловонной камере, по стенам которой ползали вши, и его флорентийский характер не выдержал. Именно там Никколо и сочинил сонет для Джулиано де Медичи, содержавший эти пронзительные строки: «Теперь сквозь утра светлого дремоту,/ и это всех сильней меня терзает,/ мне всякий раз ужасный мнится голос / «Настал твой час», — он говорит и тает».

Макиавелли всегда терпеть не мог глупцов, и случай с Босколи и Каппони лишь подтверждал флорентийскую поговорку: «Дуракам в раю не место» (Per I bischeri non c'e paradiso). Тем временем Никколо мог развлечь Джулиано еще одним сонетом, посвящавшимся некоему вымышленному господину и содержавшим нападки на знаменитого поэта Андреа Дацци и его «дрянную комедию». Вероятно, то, что Дацци обучался у первого наставника Макиавелли — Марчелло Виргилио Адриани, — не был случайностью, и Никколо затаил обиду на бросивших его давних коллег по канцелярии. Но у него еще оставались влиятельные друзья: сразу же после ареста Макиавелли его брат Тотто отправил с курьером письмо Франческо Веттори, который в тот момент был послом Флоренции в Риме, и просил справиться у кардинала де Медичи об освобождении Никколо. Однако свободу Макиавелли даровали совсем иные люди.

21 февраля 1513 года скончался Юлий II. «Причина разорения всей Италии» — именно такую эпитафию понтифику напишет в своем дневнике венецианский хроникер Марин

Санудо, а затем с ликованием добавит несколько ходивших по Риму виршей о папе. Кардиналы собрались на конклав и поначалу никак не могли выбрать преемника, пока Франческо Содерини не обратился к Джованни де Медичи с предложением, от которого тот не мог отказаться: амнистии для всех изгнанных Содерини и соглашения о брачном союзе между двумя семействами. До этого Медичи получил в свою пользу всего один голос (предположительно свой же), но Франческо использовал свое влияние на профранцузски настроенных кардиналов и склонил мнение конклава в пользу Джованни. 11 марта объявили, что новым папой под именем Льва X был избран кардинал Джованни де Медичи. Когда весть об этом достигла Флоренции, весь народ разразилось бурным ликованием.

Впервые в истории на папский престол взошел флорентиец. Все решили, что папство одного из их сограждан гарантирует всем благоприятные условия для торговли. Во время трехдневных празднеств, последовавших за избранием Льва X, власти Флоренции объявили общую амнистию для всех (за некоторым исключением) политических заключенных. В их числе оказался и страдавший в застенках Макиавелли, который благодарил судьбу за то, что папская амнистия избавила его от необходимости искать дополнительные деньги на уплату залога.

Вероятно, «Песнь блаженных духов» (Il Canto degli Spiriti Beati) Никколо сочинил сразу после освобождения. В этой карнавальной песне (canto carnascialesco) — стихотворном сочинении, исполнявшемся на карнавале, — Никколо изобразил, как на землю спускаются райские духи и приносят мир и процветание: в то время силы христианства объединились, чтобы бороться с османской угрозой.[66] Что касается карнавала, то Лев X был избран во время Великого поста, но строгие запреты временно отменили, чтобы Флоренция могла отпраздновать это событие как следует. Песнь во многом льстила Медичи и содержала несколько традиционных христианских мотивов, что было не очень характерно для Макиавелли. Угодив в темницу, пережив пытки и почти чудом избавившись от эшафота,[67] набожным католиком стал бы всякий, не только Никколо.

Дома Макиавелли написал Франческо Веттори, поблагодарив его и Паоло за попытки добиться его освобождения, и добавил: «Судьба меня всячески карала, но, слава Богу, все позади. Надеюсь, впредь мне не придется выносить то же самое, и не только потому, что я буду осторожнее, но и потому, что атмосфера вокруг меня станет свободнее и бремя подозрений спадет». Затем он порекомендовал Тотто на должность при дворе папы, попросив Франческо замолвить слово за него перед

понтификом. Также Макиавелли попросил Веттори передать Джулиано де Медичи прошение взять его к себе на службу, «поскольку я верю, что это принесет мне славу, а вам выгоду». Гораздо больше, чем высокопарные идеи о служении во благо государства, Макиавелли заботили две типичных для флорентийцев земных потребности — слава и выгода (honore et utile). В другом письме Франческо Никколо вновь просил содействия и благодарил друга за приглашение погостить у него в Риме. Макиавелли возлагал надежды на Веттори, так как именно он вместе с двумя родственниками Никколо собрал тысячу флоринов, которые после увольнения из канцелярии требовалось уплатить в качестве залога за надлежащее поведение. Более того, Паоло Веттори установил тесные связи с Джулиано де Медичи, которого Макиавелли видел в качестве возможного покровителя.

Но помочь Никколо не мог никто, даже Веттори. В поисках выгодных должностей в Рим приезжали толпы кандидатов, и Франческо, в отличие от Паоло (преданного сторонника Медичи), фаворитом папы не был. Вероятно, на отношение понтифика к Веттори повлияло его поведение во время изгнания Содерини, а также его мнение о том, что некоторые республиканские институты следует сохранить, и потому Франческо не рассчитывал надолго задержаться на своем посту. Об этом он написал Никколо 30 марта и получил гневный ответ крайне раздосадованного Макиавелли, который подписался как «бывший секретарь» (quondam secretarius). Также он сообщал, что по возможности приедет в Рим, чтобы лично просить понтифика о помощи, категорично решив: «Подожду до сентября», хотя и размышлял о том, разумно ли обращаться за рекомендацией к кардиналу Содерини. Кроме того, Никколо написал, что хотел бы обменяться с Веттори мнениями о текущих событиях. Франческо, удрученный тем, что не сумел предсказать избрание Льва X, возразил: «Я не желаю ничего обсуждать с позиции разума, ибо меня так часто сбивали с толку». На что Макиавелли ответил:

«Если Вам опостылело рассуждать о событиях, видя, что многое случается вопреки всем рассуждениям и замыслам, то Вы правы — подобное бывало и со мной. Впрочем, мне проще сказать Вам об этом, чем разрушить воздушные замки в голове, ибо фортуна устроила так, что я ничего не смыслю ни в шелкодельческом ремесле, ни в ремесле сукно-дельческом, ни в прибылях, ни в убытках, и мне годится рассуждать только о государстве; и нужно, чтобы я и далее рассуждал о нем либо решился вовсе замолчать».

Судя по этому отрывку, легко понять, как одиноко было

Макиавелли в таком городе, как Флоренция, где даже сегодня благодаря приземленности его жителей интеллектуальная беседа стала большой редкостью.[68] Кроме того, работая в канцелярии, Никколо был погружен в политику четырнадцать лет и теперь тосковал по всему, что хоть как-то могло вернуть его в те времена.

Что же касается работы, Макиавелли не собирался так легко сдаваться. 16 апреля он вновь обращается к Веттори настоятельно попросить Джулиано де Медичи, «который направляется туда», и кардинала Содерини подыскать ему должность, «ибо я не верю, что все же есть возможность найти способ использовать мои способности если не во благо Флоренции, то хотя бы на пользу Рима и папства». Он также подробно описал новости в жизни общих знакомых: Донато дель Корно открыл еще один магазин, где начали собираться содомиты; Джироламо дель Гуанто потерял жену, но, просидев несколько дней как «снулая рыба», решил жениться снова, о чем Никколо сплетничал с друзьями; Томмазо дель Бене «стал странным, грубым и докучливым» и, купив около семи фунтов телятины, настоял на том, чтобы Макиавелли с двумя приятелями разделил с ним стоимость ужина, что обошлось каждому в четырнадцать сольдо: «У меня нашлось только десять, и теперь он каждый день просит меня вернуть остальные четыре, даже вчера вечером он донимал меня на Понте Веккьо». Так Макиавелли усиленно намекал — если только Веттори способен был понять это — на то, что он отчаянно нуждался в должности.

Франческо ответил Макиавелли спустя несколько дней, сообщив о перемирии между Францией и Испанией, и добавил, что попытки переговорить с Содерини о его кандидатуре, скорее всего, приведут к обратному результату, «ибо, хоть он и замешан во многом и внешне пользуется благосклонностью папы, многие флорентийцы до сих пор его недолюбливают, и потому поддерживать вас было бы с его стороны неразумно. Кроме того, полагаю, у него и так нет ни малейшего желания этим заниматься, ведь вам известно, насколько он осторожен». В действительности Содерини оказался человеком не только осторожным, но и зачастую крайне скупым и алчным, о чем и Макиавелли, и Веттори должны были бы знать. Но в отличие от кардинала, который ни на что не решался, если это не сулило ему выгоды, Франческо предлагал другу бесплатно погостить у него в Риме, потому что его брат Паоло вошел в Комиссию Восьми по охране государства (что для Макиавелли означало бы конец ограничений на право передвижения), пытаясь завлечь Никколо возможностью «проводить время с девушкой, что живет по

соседству».

Никколо неизменно отказывался от предложения Веттори и в декабре следующего года объяснил, что в Риме ему придется посетить «тех Содерини» и что боится вновь угодить во флорентийскую тюрьму, «ибо эта власть прочна и надежна, но подозрения постоянно множатся». Если учесть, через что Макиавелли уже довелось пройти, он имел все основания вести себя благоразумно. Однако Веттори просил его не беспокоиться, ведь Никколо ничего не должен Содерини, и в любом случае Франческо сомневается, что бывший гонфалоньер вообще захочет его видеть.

В то время Лев X простил Пьеро Содерини, и тот обосновался у своего брата-кардинала в Риме. Понтифику действительно пришелся по нраву честный, хотя иногда и неуместно откровенный Пьеро, к тому же папа в любом случае имел все основания приглядывать за сторонниками бывшего гонфалоньера. Льва беспокоило положение дел во Флоренции, и особенно вопрос о неприкосновенности власти Медичи в городе. Он хотел, чтобы бал правил его брат Джулиано, человек пожилой и умудренный опытом, но сразу же после конклава Джулиано покинул Флоренцию, надеясь в Риме устраниться от беспокойства и суеты. Следующим кандидатом Льва X был его незаконнорожденный кузен Джулио, но тот был священнослужителем и считал, что в Риме у него больше карьерных возможностей, чем во Флоренции. Так или иначе, папе нужен был доверенный помощник, и несмотря на то, что после смерти Козимо де Пацци («Прими, Господи, его душу и всех его родичей», — напишет об этом Макиавелли, правда, насколько искренне — остается лишь гадать) архиепископом Флоренции он назначил Джулио, понтифик решил держать его рядом, в Ватикане.

Оставался только сын покойного Пьеро де Медичи, Лоренцо, но ему было только двадцать лет, и уезжать из Рима он не желал, сознавая, каким авторитетом там пользовались родственники понтифика. «Во Флоренции ему пришлось бы действовать с предельной осторожностью, тогда как в Риме осмотрительность ему была ни к чему», — напишет Франческо Веттори в своей работе «Краткая история Италии» (Sommario delle Istoria d' Italia). Более того, Лоренцо был под пятой своей матери, властной Альфонсины Орсини, для которой карьера сына была важнее собственных амбиций. Папа, из показной добродетельности, подробно наставлял племянника о том, как следует поступать: на ключевые должности назначать только людей проверенных, а если таковых не имеется, убедиться, чтобы посты достались

людям трусливым и без царя в голове; угождать честолюбцам из низших сословий, назначая их на мелкие должности; обязать Комиссию Восьми по охране государства докладывать обо всем; правосудие над людьми мелкими вершить быстро; в судебные тяжбы не ввязываться; но что важнее всего — склонить на свою сторону всех чиновников казначейства (Monte Сотипе), «ибо в нем сокрыто сердце города». Однако Лев X понимал, что влияние Медичи было тесно связано с папством и после его смерти никто не сможет гарантировать им власть во Флоренции. Избрание Льва буквально подбросило его семейство на верхушку иерархии: от управления итальянским государством средней руки до невиданных высот европейской монархии. И папа пойдет на все, чтобы эта власть закрепилась за ними как во Флоренции, так и за ее пределами.

Макиавелли же заботили куда более земные вещи: он все еще верил, что главным его козырем станет благосклонность Джулиано де Медичи. Вероятно, в это же время Бьяджо Буонаккорси (при участии Никколо) переписал и переплел ряд поэм таких авторов, как Лоренцо Великолепный де Медичи (отец Джулиано), Аньоло Полициано (учитель Джулиано) и сам Никколо Макиавелли, чьи поэтические сочинения были также обращены к некоей юной красавице, с которой отождествлялся Джулиано. Если учесть, что иллюстрации в книге приписываются Сандро Боттичелли (одному из любимых художников Медичи в период до 1494 года), возможно, Бьяджо и Никколо пытались создать некую историю близких отношений Макиавелли с тогдашними правителями Флоренции, надеясь тем самым произвести впечатление на Джулиано и добиться для Никколо нового назначения.[69]

Эти и другие попытки Никколо почти ни к чему не привели, а он крайне нуждался в деньгах, поскольку доходы его были более чем скромными, а долги ему никто не прощал. Тот факт, что Макиавелли, по собственному признанию, любил тратить деньги и просто «не мог не тратить», лишь усугубляло его и без того тяжелое финансовое положение. Соль на рану сыпал и Веттори, вечно ворчавший, что, дескать, его налоговые платежи повысились до четырех флоринов: «Я более не занимаюсь торговлей, и потому моих доходов едва хватает на жизнь, а у меня дочери, которым нужно приданое». Кроме того, власти приказали Никколо представить отчет о доходах, полученных за время службы в канцелярии, и потому несколько раз — с апреля по июль 1513 года — его допустили во дворец правительства. Видимо, отчет Макиавелли оказался достаточно убедительным, потому что больше об этом нигде не упоминается.

Увязнув в заботах, Никколо утешался письмами Веттори, в которых тот рассказывал о текущих событиях, и отвечал на его политические комментарии. Конечно, в отличие от Франческо, Макиавелли не имел возможности узнавать новости и оправдывался: мол, «по невежеству своему рассуждаю лишь на основе того, что вы мне присылали». Но в душе Никколо оставался теоретиком и просто не мог удержаться от умозрительных заключений (castelluci) о развитии межгосударственных отношений. Нередко они с Веттори вступали в словесную дуэль, обсуждая различные возможности, лежавшие перед европейскими государями.

Макиавелли все еще верил в могущество Франции, даже после того, как весной Людовик XII попытался отбить Милан, но 6 июня потерпел поражение в кровопролитной битве с войсками швейцарцев и миланцев при Новаре. К тому же французам еще предстояло отразить нападение англичан.

Однако самой серьезной угрозой Италии Никколо считал не османов (как утверждал Веттори), а швейцарцев: после Новары они формально контролировали герцогство Миланское, а сама битва доказала, что ранее французам удавалось побеждать лишь потому, что им противостояли наемные армии. Античная история показывала, что почти всегда побеждал тот, кто полагался на гражданское войско, а Ганнибал и Пирр, которым все же удавалось побеждать с наймитами благодаря своим способностям и характеру, лишь подтверждали правило.

Недальновидность Макиавелли легко критиковать задним числом, хотя верно и то, что он не принимал всерьез победы испанцев в Барлетте, Черриньоле и Гарильяно над армиями, состоявшими во многом из швейцарцев, которые в то время выступали именно в роли наемников под командованием французов. В силу того что Никколо не склонен был лгать себе, он не мог не задуматься над тем, почему непрофессиональная армия Флоренции потерпела в Прато столь сокрушительное поражение от наемников, которых он так презирал. Но подобных вопросов предпочитал себе не задавать, ибо ответы на них просто-напросто свели бы на нет его мировоззрение, зиждившееся на античных образцах, к тому же Макиавелли считал себя отцом ополчения и, подобно многим родителям, не замечал недостатков своего обожаемого дитяти.

После разгрома ополчения в Прато одержимость Никколо народной армией только возросла, и он был весьма озабочен намерениями новой власти распустить ополчение. На Совет Девяти уже соответствующим образом повлияли — командиров рот уволили, хотя само ополчение пребывало в подвешенном

состоянии, пока правительство думало да гадало, как с ним поступить. Макиавелли, вероятно, знал, что в этом вопросе мог рассчитывать на поддержку Франческо. Где-то в сентябре — ноябре 1512 года Паоло Веттори направил Джованни де Медичи служебный доклад, в котором он (тогда еще кардинал), кроме прочего, поднимал вопрос о том, так уж необходимо нанимать профессиональную армию для обороны Флоренции и насколько выгодно сохранить ополчение в контадо и дистретто и при случае подавлять с его помощью восстания. Его брат Франческо соглашался с тем, что «войска… нужно держать наготове, а в городской страже необходимо поддерживать дисциплину». Вторя замечаниям кардинала, в 12–14-й главах «Государя» Макиавелли подчеркнет важность гражданской армии для безопасности правителя.

В действительности Медичи нуждались в ополчении, поскольку найм крупного войска лег бы на плечи Флоренции тяжелейшим финансовым бременем, что, вероятно, вызвало бы негодование тех, кому правители хотели угодить. Кроме того, обучение новобранцев могло хотя бы внешне подтвердить факт того, что Медичи не намерены упразднять свободные институты власти и править железной рукой. Приняв во внимание все эти соображения, власти решили в мае следующего года возродить пешее ополчение под юрисдикцией Комиссии Восьми по охране государства, заменившей Советы Девяти и Десяти. Еще год спустя будет введена совершенно новая и эффективная структура военного командования.

25 августа Макиавелли написал Веттори с просьбой переговорить с Джулиано де Медичи о судьбе Донато даль Корно, который уже не раз тщетно пытался попасть в список кандидатов на государственные должности. Вмешательство Джулиано потребовалось, поскольку выборщики были крайне «разборчивы» и, вероятно, отказали Донато из-за его приверженности однополой любви, равно как из-за недостаточно высокого положение в обществе, хоть он и считался влиятельной персоной. Никколо славился великодушием по отношению к друзьям, однако, помогая Донато сделать политическую карьеру, он, возможно, рассчитывал на то, что и его друг не останется в долгу и однажды, заняв место в высшем эшелоне власти, пособит и ему. На письме Макиавелли местом отправления значилась Флоренция, однако с апреля предыдущего года Никколо перебрался в свое имение Сант-Андреа в Перкуссине. Там он прожил до февраля следующего года, изредка наведываясь во Флоренцию по делам, а все остальное время проводя «в глуши, вдали от людей».

Однако все обстояло не совсем так. В частности, Макиавелли жил со своей семьей, верной женой и подраставшими детьми, переехавшими к нему весной. Кроме того, имение хотя и располагалось в сельской местности Тосканы, но и глушью отнюдь не было, в чем нас убеждает Никколо. Через Сант-Андреа пролегал тракт, соединявший Рим и Флоренцию, благодаря чему в поселении можно было без труда узнавать новости, так как на постоялом дворе непременно останавливались путники и, по признанию самого Макиавелли, рассказывали о происходящем в кругах власти. Более того, жизнь в деревне позволяла Никколо работать над сочинениями, отстранившись от политической суматохи столицы.

Свою жизнь в деревне он подробно опишет 10 декабря, отвечая на письмо Веттори, полученное в конце предыдущего месяца и повествующее о праздной жизни Франческо в Риме. «Я вижу, сколь спокойно и размеренно вы исполняете обязанности своей службы», — съязвит Макиавелли в первом абзаце, не в силах скрыть зависти: совсем недавно Веттори получил повышение и теперь общался с послами, обедал с кардиналами и позволял себе любовные похождения на стороне. Затем Никколо рассказывал о своем времяпрепровождении — об охоте на дроздов и других птиц. Он поведал о забавной перебранке с дровосеком и о том, как пообещал друзьям отдать несколько связок дров, но, поразмыслив, сказал им, что дров у него не осталось, «причем все огорчились, особенно Баттиста, который причислил это к прочим последствиям поражения в Прато».[70]

По утрам Макиавелли гулял в лесу, прихватив с собой томик Данте, Петрарки «или кого-нибудь из второстепенных поэтов, Тибулла, Овидия», чтение которых служило ему утешением. Затем отправлялся в ближайшую харчевню, где беседовал с проезжими постояльцами. Отобедав с семьей и вкусив «пищи, которой меня одаривают бедное имение и скудное хозяйство», Никколо вновь отправлялся в харчевню и остаток дня проводил за игрой в карты и нарды с местными жителями. Чаще всего такие поединки заканчивались бурными перебранками, и, «не гнушаясь этими тварями, я задаю себе встряску и даю волю проклятой судьбе — пусть она сильнее втаптывает меня в грязь, посмотрим, не устыдится ли она, наконец». Возвратившись домой, Макиавелли снимал испачканные, запыленные одежды и, облачившись в мантию, подобающую его званию, беседовал с великими мужами древности, внимая их мудрым наставлениям.

Так, вдохновляясь этими беседами, Никколо начал небольшую книгу «О государствах» (De Principatibus), в которой рассматривал принципы государственного управления и которую

собирался посвятить Джулиано де Медичи. «И если вам когда-либо нравились мои фантазии, — писал он Веттори, — вы и эту примете не без удовольствия, а государю, особенно новому, она может пригодиться». А затем добавлял, что обсудил с Филиппо Казавеккиа, как бы ему улучить возможность и лично вручить свое сочинение Джулиано. Друзья взвесили все за и против, но Никколо все равно надеялся, что Медичи примет его на службу, «хоть камни ворочать». Вопреки всему он верил, что по его книге «будет видно, что я не проспал и не проиграл в бирюльки те пятнадцать лет, которые посвятил изучению государственного искусства, и всякий захочет использовать богатый опыт человека, готового им поделиться». Как бы ни сложилось его трудоустройство, в своих интеллектуальных способностях Макиавелли никогда не сомневался.

Спустя десять дней он вновь написал Веттори и в очередной раз попросил его похлопотать о Донато даль Корно, карьера которого, судя по всему, натолкнулось на подводные камни флорентийской политики. В ответ Веттори заверил друга, что уже предпринял некоторые шаги, чтобы помочь даль Корно, и что все это время присматривался, не подвернется ли работа для Никколо. К тому же Веттори добавил, что будет рад получить его сочинение и по прочтении выскажет свое мнение о том, стоит ли вручать его Джулиано. Но Макиавелли не мог ждать и, возможно, именно тогда и отправил Джулиано сонет под названием «Дрозды», приложив к посланию сверток с птицами. Вероятно, подобным жестом Никколо хотел намекнуть предполагаемому покровителю на то, что вскоре он пришлет ему нечто более значительное:

Я вашему Великолепью шлю
Немного дичи — скромный дар, не скрою, —
Чтоб о себе, обиженном судьбою,
Напомнить вам. Увы, за что терплю?
Коленопреклоненно вас молю:
Тому, кто брызжет на меня слюною,
Заткните глотку этою едою,
Чтоб злую клевету свести к нулю.
Возможно, мне заметит Джулиано,
Увидев дар, что я не прав и тут,
Что тощий дрозд — не пища для гурмана.
Но ведь Макиавелли тоже худ, —
Скажу в ответ, — однако, как ни странно,
Наветчики меня со смаком жрут.
Прошу не счесть за труд

Ощупать птиц, и вы поймете сразу,
Что лучше доверять рукам, чем глазу.[71]

Но и на этот раз мечтам Макиавелли не суждено было сбыться, и, возможно, разочарование автора еще больше усиливалось тем, что в письме от Веттори он не нашел ничего, кроме сплетен, анекдотов и причитаний по поводу ослабшей мужской силы. Никколо не желал тратить время на подобное самоуничижение и написал Франческо, что ему, «большому любителю женщин», по-видимому, придется приехать в Рим и развеять его аскетизм, «ибо, едва оценив ваше положение, я бы сказал: «Посол, проявите благоразумие, иначе вы зачахнете: здесь же нет ни юношей, ни девушек. На кой дьявол нужна такая жизнь?»».

По крайней мере, о собственной мужской силе Макиавелли беспокоиться не приходилось. С началом зимних холодов он вернулся во Флоренцию и большую часть времени проводил в лавочке Донато даль Корно и доме Кудряшки, несмотря на то, что его постоянное присутствие уже начинало раздражать хозяев. Донато окрестил его «магазинным клопом», а куртизанка — «клопом постельным».[72] Тем не менее Никколо обнаружил, что все нуждаются в его советах, и грелся подле жаровни Донато[73] и иногда в постели куртизанки. Дама, приземленная и сведущая в житейских делах, с трудом понимала возвышенные доводы Макиавелли. «Ох уж эти мыслители! На что же они живут? — однажды воскликнула она в недоумении. — По-моему, они просто переворачивают все с ног на голову».

Но с ног на голову оказались перевернуты не только мысли в голове Макиавелли. За несколько месяцев, проведенных Никколо в уединении, Лоренцо де Медичи взял под контроль Флоренцию, а Джулиано окончательно обосновался в Риме. Медичи неуклонно возрождали свою старую конституцию: балья восстановила прежние органы власти, которые до революции 1494 года позволяли семейству удерживать город в своих руках. Но не всё у правящего клана шло гладко. Сама балья выступила против инициатив, дающих Медичи еще большую власть над Флоренцией: в частности, был отклонен проект закона, предоставлявшего Джулиано неограниченно управлять фискальной политикой и выбирать кондотьера по своему усмотрению. Более того, даже приближенные к власти поняли, что Медичи, заняв папский престол, не всегда находили время для Флоренции. Неизменное отсутствие правителя в городе и вовсе пришлось не по нраву флорентийцам.

Сложившаяся ситуация не только ослабляла авторитет Медичи, но и оставляла лазейки для распрей между членами правительства. Джулиано пришлось самому вмешаться и прислать письмо, чтобы избавить своего протеже Джованни Берарди от посягательств его противников, ранее пытавшихся помешать ему занять пост гонфалоньера. Тот факт, что Берарди также оказался бывшим другом Содерини, свидетельствует о замысловатой политической игре, которую затеяли Медичи, чтобы склонить на свою сторону как можно больше флорентийцев. Но вопреки всем усилиям, с упразднением Большого Совета многие — больше, чем Медичи могли завлечь, — лишились политического влияния, которым пользовались на протяжении восемнадцати лет.

К тому же политическое переустройство 1512 года заставило «плакс», при Содерини отличавшихся сильной разобщенностью, сплотиться, и в итоге властям не раз приходилось усмирять монахов, читавших апокалипсические проповеди и речи в защиту Савонаролы (Макиавелли со свойственным ему сарказмом обычно посмеивался над подобными нравоучениями). Пытаясь бороться с инакомыслием, в 1513 году перед выборами на высшие посты правительство провело особую проверку кандидатов, по условиям которой в избирательные списки попадали лишь те, кого ранее уже проверяли на пригодность занимать менее значительные должности, что весьма воодушевило таких, как Донато даль Корно. Стало ясно, что без личного присутствия кого-нибудь из членов семейства Медичи невозможно было контролировать власть в городе.

Лоренцо де Медичи прибыл во Флоренцию в самый последний момент — 10 августа. В сравнении с Римом родной город мог предложить ему лишь головную боль и гарантированное безденежье. Уже в октябре он пожалуется понтифику на финансовую истощенность Флоренции, чтобы убедить его не высасывать из города деньги для своих походов (несмотря на все заявление о нейтралитете, незадолго до битвы при Новаре Лев X выделил швейцарцам 42 тысячи дукатов).

Кардиналу Джулио правитель сказал: «Ведь вам известно, сколь трудны и обременительны попытки выудить деньги у этого народа, особенно если ему ничего не угрожает».

Ничуть не меньше флорентийцы сопротивлялись его попыткам навязать им выгодную Медичи стратегию семейных связей. В частности, против перспективной женитьбы одного из Сальвиати на девушке из семейства Аламанни выступил сам Джакопо Сальвиати, который всем говорил: «Если Лоренцо попытается заставить меня дать согласие, я обращусь к папе и

Джулиано, которые никогда мне не отказывали». Очевидно, часть тех, кто снискал добрую репутацию (uomini dabbene), считала Лоренцо мелкой сошкой в сравнении с другими Медичи, к тому же его собственная казна иссякла. Мать Лоренцо донимала понтифика просьбами увеличить ежемесячное содержание сына, насчитывавшее 400 дукатов, и в итоге с помощью папского датария Сильвио Пассерини ей удалось вытянуть из папы увеличение расходов на содержание четырех коррумпированных ведомств до 10 тысяч дукатов в год.

Гораздо меньшего Альфонсина Орсини добилась, убеждая сына сдерживать свои траты: Лоренцо открыто заявил, что намерен радоваться жизни, пока это позволяют молодость и понтифик. Его дед (и тезка) пришел к власти примерно том же в возрасте, но благодаря уму, образованию и энергичности стал искусным интриганом, тогда как его внук оказался весьма неловким во всем, что касалось политики, и вместо того, чтобы приманивать нужных людей, напротив, отпугивал их.

В феврале 1514 года Альфонсина напишет сыну о расколе в многочисленном клане Медичи: одни объединились вокруг Джакопо и Лукреции Сальвиати, другие стали на сторону Лоренцо. Джакопо был в ярости, потому что, несмотря на его возражения, женитьба Сальвиати — Аламанни состоялась. Более того, папа не сдержал своего обещания сестре передать ее новым родственникам несколько прибыльных земель. Лукреция умоляла Льва, чтобы тот позволил Джакопо скрыться в Риме от дальнейших унижений. Лоренцо лишь пожал плечами, заявив, что был бы рад избавиться от столь надоедливого паразита. Кроме того, что Лоренцо без тени дипломатичности относился к Сальвиати, он сумел вызвать негодование и своих сторонников, подолгу задерживаясь в Риме и зачастую никого не предупреждая об отъезде и тем самым лишая их возможности принять то или иное решение без его ведома.

Поначалу поведение Лоренцо вызывало всеобщее восхищение. Он рано вставал, давал аудиенции и живо интересовался городской политикой и попытками властей реформировать государство. Видимо, первоначально и Макиавелли не оставила равнодушным честность и скромность Лоренцо, и он писал Веттори: «Он внушает скорее симпатию и почтение, нежели страх; что труднодостижимо и потому весьма похвально». Примерно в то же время Никколо задумал посвятить свою книгу не Джулиано, а Лоренцо, полагая, что тот скорее предоставит ему пост. Кроме того, Макиавелли мог не сомневаться в том, что Веттори не раз называл его имя в Риме и, вероятно, мог убедить понтифика Джулиано в его преданности.

Никколо, возможно, и не знал о семейных распрях Медичи и потому не понимал, что, приняв одну сторону, он автоматически становился врагом другой. Вне зависимости от исхода этого противостояния, такой мелкой сошкой, как Макиавелли, можно было с легкостью пожертвовать.

Однако Никколо все еще надеялся, что его памфлет поможет завоевать благосклонность Медичи. Он уговорил Веттори помочь ему и убедить фискальный комитет Флоренции снизить его налоговые вычеты: Франческо написал компетентным чиновникам, что Никколо «лишился доходов, оставшись без гроша и с детьми на шее». В какой-то момент Макиавелли наверняка требовал от Веттори дать ответ о своем трудоустройстве и судьбе своего сочинения, но, судя по его горестному посланию Франческо от 10 июня, ответ он получил негативный:

«Поскольку я вместе с семьей нахожусь в имении, Донато передал мне ваши письма через Бранкаччо. Я ответил вам надлежащим образом о своих личных делах, ваших любовных похождениях и прочем. Но, вернувшись во Флоренцию два дня спустя, я забыл о них, и, учитывая, сколь затруднительно будет их переписать, я вышлю их позже. И теперь пишу вам, чтобы вы знали, что письмо ваше благополучно дошло. Я кратко поясню мотивы, не позволившие мне приехать в Рим, поскольку меня удерживали причины, которые вы теперь пытаетесь разъяснить и которые я уже постиг самостоятельно.

Как и ныне я останусь среди моих вшивых крестьян, не имея возможности отыскать никого, кто бы помнил о моих заслугах или верил бы, что я хоть на что-то еще гожусь. Но я не в силах долго пребывать в таком положении, ибо я чахну, и если Бог мне не поможет, я буду вынужден уехать домой и, если не найдется ничего лучше, стану учителем или секретарем у какого-нибудь военачальника или забреду в какую-нибудь глушь и возьмусь обучать детей чтению; семью же оставлю здесь — пусть считают меня умершим, что, в самом деле, лучше, ибо от меня, привыкшего тратить и неспособного избавиться от этой привычки, одни убытки. Я пишу вам не для того, чтобы пробудить в вас беспокойство или заставить за меня тревожиться. Я лишь изливаю свою досаду, дабы никому более не писать о своем ужасном положении».

В ответном письме Веттори, разделяя несчастье своего друга, мог утешить его лишь добрым словом. Самому Франческо с трудом удавалось угодить политическим амбициям Донато даль Карно. Он все же убедил кардинала Джулиано отдать соответствующие распоряжения чиновникам, а также уговорил

Донато подкупить за сотню дукатов папского секретаря Пьеро Ардиньелли — которого насмешливо называл «приятелем», — однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки, потому что Ардиньелли хотел получить все деньги сразу. Веттори пытался объяснить Макиавелли, как трудно оказывать давление на влиятельных людей в Риме и если даже зажиточному Донато пришлось сдерживать свои амбиции, то бедному Никколо уж точно не стоило надеяться на лучшее обхождение. Очередное приглашение Франческо вновь побывать в Риме было не более чем дружеским жестом. Он понимал, что если Никколо не приедет и не завяжет дружеские отношения с приближенными Медичи, ему ни за что не получить столь необходимую ему должность.

Но как бы ни стремился Макиавелли в Рим, в ту же пору его сразил недуг, от которого не было лекарства, — он влюбился. В следующем письме Веттори он расскажет, что воспылал страстью к одной даме, живущей по соседству. Никколо начал навещать ее в различное время дня и ночи. «Я оставил помыслы о серьезных и великих делах, — писал Макиавелли, — мне больше не доставляет удовольствия читать о событиях древности или рассуждать о современных; весь мой ум занят галантными похождениями». Захваченный вихрем страсти, Никколо ответил Веттори только 4 декабря: еще раз посетовав на свою незавидную участь, он просил Франческо связаться с церковными властями, чтобы помочь сестре Никколо Тафани разрешить семейный спор с мужем, который, бросив ее, жил теперь в Риме.

Франческо, рассерженный молчанием Макиавелли, уже обратился к нему с превосходным предложением: понтифик искал совета о том, какую внешнюю политику следует вести, «дабы сохранить духовный, светский и политический авторитет церкви или его приумножить». Веттори предупредил Никколо, что передаст его мнение папе, и дал пару советов насчет того, в каких выражениях лучше составить ответ: «Взвесьте все, и поскольку мне известна утонченность вашего ума, я не верю, что после двух лет отлучки вы позабыли свое ремесло».

В действительности Лев X решил объединиться с врагами Франции, но одновременно вел с французами переговоры и даже подписал с ними договор. Знали ли друзья, что в сентябре понтифик заключил тайный союз против Франции с Фердинандом Арагонским? В ноябре во Флоренции поползли слухи о таком соглашении, но, так или иначе, Никколо благоразумнее было бы уйти от прямого ответа. Макиавелли, может, и не забыл свое «ремесло», но обязан был помнить, как из-за своей манеры вести дела он оказался в нынешнем положении.

10 декабря Макиавелли отправил письмо, написанное грубее некуда. Детально изложив все возможные сценарии, он заключил, что папе следует объединиться с Людовиком XII, если только союз с Францией не расторгнут венецианцы. И папа, и кардинал Джулио, просивший Веттори узнать мнение Макиавелли, с пониманием отнеслись бы к подобному замечанию, не будь в послании Никколо следующей фразы: «Независимо от того, кто одержит победу, я предвижу, что Церковь непременно окажется на милости победителя, и посему заключаю, что лучше быть на милости тех, кто разумен и известен издавна, чем тех, чьи намерения нельзя предугадать».

Очевидно, Никколо понял, что высказался слишком резко, и 20 декабря вновь написал Веттори, стараясь разъяснить некоторые аспекты, упомянутые в предыдущем письме. Макиавелли перечислил возможные угрозы для папы в случае сохранения им нейтралитета или выбора не тех союзников. Затем взялся страстно отстаивать свое мнение относительно альянса с Францией, альянса, который, по убеждению Никколо, возник не в силу «привязанности» (affectione), но по «разумному суждению» (guidizio saldo). Веттори ответил десять дней спустя, рассказав, что папа вместе с кардиналами Джулио и Довицци прочли оба письма, «подивились вашему уму и похвалили ваши выводы». Но тут же Франческо добавил: «Хоть кроме слов я ничего от них не добился, ибо я невезуч и не умею помогать друзьям, все же дружба столь высоких персон однажды может оказаться для вас полезной». Однако из последующей фразы становится ясно, что в действительности ни понтифик, ни кардинал Джулиано выводов Макиавелли не оценили: «Я хотел опровергнуть некоторые ваши аргументы, протянуть время и дать вам тему для рассуждений, но в силу занятости, о чем уже говорил, я отложил начатую работу; вероятно, закончив ее, я как-нибудь вышлю ее вам».

Вполне возможно, Никколо высказался правдиво, но ему уже пора было уразуметь суть флорентийской поговорки: «Правдолюбцев бьют камнями» (Le Verita attirano le sassate). Медичи не хотели объединяться с Францией и не желали слышать ничего, что хоть отдаленно попахивало республиканизмом, а страстный призыв Никколо стать на сторону французов отчасти напомнил им о «привязанности», которую испытывали многие во Флоренции. Более того, как мы убедимся позже, Лоренцо де Медичи изъявил желание освободиться от опеки понтифика и стал проводить собственную профранцузскую политику; таким образом, записка Макиавелли угодила как раз в эпицентр семейного конфликта. Никколо имел все основания винить в своих неудачах злой рок.

Макиавелли вновь упустил открывшиеся было ему возможности. В прошлый раз Веттори упомянул о возвращении во Флоренцию своего брата Паоло, который был весьма высокого мнения о Никколо, тем самым намекнув Никколо, что и для него занятие найдется. Все знали, что Паоло Веттори был близок Джулиано де Медичи, и, возможно, именно он в первые месяцы 1515 года написал «Размышления об устройстве армии» (I Ghiribizzi d'Ordinanza), краткое сочинение о реорганизации ополчения. Более того, папа решил сформировать государство, объединив земли Пармы, Пьяченцы и Модены (с любезного согласия императора в обмен на крупную сумму). Все предрекали Паоло важную роль в новой политике, и Макиавелли надеялся воспользоваться этим поворотом событий.

В письме Никколо, отправленном Франческо 31 января 1515 года, доминирует сплошной оптимизм, если не откровенное ликование: Макиавелли перечислил все советы (о том, как надлежит управлять владениями), которые Паоло по его просьбе передал Джулиано. Будучи по уши влюблен, он начал письмо с сонета, посвященного власти Купидона. Затем Никколо пошутил насчет своей переписки с Веттори, едко заметив, что те, кому в будущем суждено читать их письма, могут счесть их людьми «серьезными, целиком обращенными к вещам великим» и в то же время «легковесными, распутными и обращенными к вещам суетным». А затем добавил: «Мы лишь подражаем природе, которая столь разнообразна» (одно это раскрывает характер Макиавелли лучше любого его сочинения). Однако отнюдь не все разделяли восторги Никколо и не желали мириться с его недостатками.

15 февраля кардинал Джулио велел Пьеро Ардиньелли написать письмо Джулиано, чтобы развеять слухи о том, что он якобы собирается взять на службу Макиавелли, и напрямик заявил, что это не «послужит ни его [Джулиано], ни нашим нуждам». Кардинал решил, что подобные слухи распускал Паоло Веттори, и посоветовал Джулиано «не связываться с Никколо». Благодаря своему докладу Макиавелли стал главной политической обузой, а Паоло Веттори — персоной нон грата как для Джулио, так и для Лоренцо де Медичи. Но что еще хуже, Ардиньелли оказался дружен с давним врагом Никколо — Джакопо Сальвиати.

Надежды Макиавелли вновь рухнули, и ему оставалось только одно. В мае в сопровождении Франческо Веттори во Флоренцию вернулся Лоренцо, решивший силой высвободиться из душивших его объятий папы. Никколо ухватился за возможность втереться в доверие к правителю города: он написал

вступительное письмо и, приложив его к написанной двумя годами ранее книге, исправил посвящение с Джулиано на Лоренцо. Чтобы лично вручить Лоренцо свою книжицу (opuscolo), он добился аудиенции, вероятно, с помощью Франческо (хотя мог и действовать самостоятельно, вопреки советам друга и собственным убеждениям).

Но фатум все еще преследовал Макиавелли. Он представил свое сочинение Лоренцо, но тот не проявил ни малейшего интереса, увлеченный сворой собак, преподнесенной ему в дар другим просителем. Никколо просто рассвирепел и позднее якобы говорил друзьям, что «он был из тех, кто сам мог замышлять заговоры против государя, и все же если бы [Медичи] взглянули на методы [изложенные в книге], то сподобились бы уразуметь причины всех заговоров, будто давая тем самым понять, что этой книгой он и поквитается». Раньше Макиавелли боялся, что сочинение его останется без внимания, а теперь «госпожа удача» отвела ему роль завистника.

Небольшой трактат, на который Макиавелли возложил последнюю надежду заслужить благосклонность Медичи, в грядущие века станет самым знаменитым его произведением и обеспечит автору ярлык злодея. Рассуждавшие о «Государе» уже пролили целые моря чернил, и потому заниматься очередным разбором этой книги было бы излишне. Однако, учитывая широкую популярность этого труда, некоторые комментарии к нему все же необходимы, для чего будем иметь в виду следующие моменты: 1) происхождение книги в контексте биографии Макиавелли и цели, ради которых он ее писал; 2) характер Никколо, сочетавший в себе серьезность и легкомыслие; 3) его вера в свой многолетний опыт и интеллектуальные способности; 4) убежденность автора в том, что история, в особенности античная, способна ответить на любые вопросы современности; 5) ополчение как навязчивая идея Макиавелли; 6) его привычка указывать другим, как поступать, и нередко самым бестактным образом.

Многие идеи, высказанные Никколо в «Государе», прослеживаются в его переписке с Веттори лета 1513 года, а также во многих других источниках. В частности, вопрос о том, должен ли правитель добиваться народной любви или страха, еще за шестьдесят лет до «Государя» поднимал Микеле Савонарола (дядя куда более знаменитого Джироламо) в трактате «О благополучии Борсо д’Эсте» (Del Felice Progresso di Bor so d’Este). Но в отличие от Савонаролы, предпочитавшего любовь, Никколо выбрал страх, поскольку люди (лишь за некоторым исключением) отягощены пороками и обещают сделать все ради правителя,

когда угроза далека, и восстают против него, когда она близка.

Памятуя об исторических примерах, государь мог избежать ловушек, подкарауливающих всякого властителя, и посему ждет его стезя жестокости и одиночества. В словах этих слышны отголоски личного опыта Никколо, напоминающие о былом отношении флорентийцев к собственным правителям. И все же приведенные Макиавелли примеры настолько исключительны и запутанны, что остается лишь гадать, писал ли автор всерьез или насмехался над читателем, причем до такой степени, что часть толкователей склонялась к тому, что «Государь» — произведением не более чем сатирическое. Подчеркивая важность обмана, Никколо высмеивает высокопарные и зачастую морализаторские рассуждения о добром правителе. С присущим флорентийцам умением он ядовито и подчас жестоко высмеивает людей и различные ситуации, и его ухмылка проглядывает сквозь самые бесчеловечные рассуждения в трактате.

И все же нет никаких сомнений в том, что в 12–14-й главах, посвященных организации армии, Никколо говорил всерьез. Государственное войско (armi proprie) стало его навязчивой идеей, тем более во времена, когда казалось, что правительство Флоренции хотело избавиться от ополчения, а Макиавелли настолько им дорожил, что якобы, давая советы сначала Джулиано, а потом Лоренцо де Медичи, он на самом деле защищал плоды своих трудов. Действительно, можно сказать, что весь «Государь» выстроен вокруг вышеуказанных глав. В сущности, трактат Никколо представляет собой искусное и прекрасно изложенное собрание разрозненных идей, наспех слепленных воедино и зачастую противоречащих друг другу. В частности, Макиавелли утверждает, что выживание режима зависит от «хороших законов и хорошего войска», но во имя политического оппортунизма оправдывает Чезаре Борджиа, без суда казнившего Рамиро де Лорку. Если 15-я глава прославляет богиню Фортуну, то уже в следующей присутствует довольно много рассуждений о Боге в его христианском понимании. Благодаря бессистемной структуре «Государь» легко поддается неверной трактовке, что доказывают бесчисленные попытки подогнать книгу под ту или иную канву в соответствии с некоей идеологией, миропониманием или прихотью толкователя. Кроме того, весьма надменный и безапелляционный тон Макиавелли в сочетании с юношеским стремлением произвести впечатление отталкивали определенную аудиторию, что отнюдь не облегчало автору поиски должности, ради чего, по словам самого автора, книга и писалась. Никколо можно приписать многое, но только не умение быть политиком.

Впоследствии выяснится, что после официального издания «Государя» по рукам стали ходить его копии, возможно, распространявшиеся без ведома или содействия самого Макиавелли. Между 1515–1516 годами Бьяджо Буонаккорси отправил один экземпляр сочинения «нашего Никколо Макиавелли» своему другу Пандольфо Беллачи, заметив, что книга «недавно написана». Буонаккорси описывал и восхвалял работу, предупреждая Белаччи: «Будь готов всецело защитить ее от тех, кто из злобы или зависти может пожелать, как бывает в наши дни, изорвать ее в клочья».

Пауза в переписке Макиавелли и Буонаккорси, возникшая после 1512 года, побудила некоторых исследователей предположить, что друзья поссорились. Однако Буонаккорси оказался одним из первых, кто получил новые сочинения Макиавелли, как и в случае с трактатом «О военном искусстве», потому что он работал переписчиком. Посему логично предположить, что «наш» Никколо посылал Бьяджо то, что хотел тиражировать и распространить. Просьба Буонаккорси защитить «Государя» от тех, кто был готов изорвать его в клочья, вполне убедительно указывает на то, что подобное уже случалось ранее, когда люди судили о книге, сосредоточившись лишь на самых шокирующих высказываниях.

В июле 1517 года старший уполномоченный посол Флоренции в Ареццо Луиджи Гвиччардини получил письмо от сына Никколо, который в шутку предлагал ему отнестись к местным инакомыслящим «так же, как отнесся к ним описанный Макиавелли в его книге «О государствах» Иуриотто да Фермо, решивший стать правителем Фермо; но даже в этом случае нельзя всецело доверять тем, кому должно выжить». Ливеротто («Иуриотто», как называл его молодой Гвиччардини) стал правителем родного города, перебив всю свою семью, и нескрываемое восхищение этим поступком еще не раз припомнят Никколо в дальнейшем. Хотя Гвиччардини, как флорентийский интеллектуал, похоже, понимал, сколь циничный юмор скроется за описанием этих событий.

Более чем вероятно, Никколо не ожидал ни успеха книги, ни той шумихи, что она вызовет. Зимой 1438 года, спустя 11 лет после смерти Макиавелли, кардинал Реджинальд Поул отправился во Флоренцию с целью выяснить истинные причины возникновения столь нечестивой книги. Именно на «Государя» Поул возложил вину за все беды, выпавшие на долю Англии, когда в 1534 году парламент принял «Акт о супрематии» Генриха VIII, а также за преследование английских католиков, отказавшихся подчиниться королю, тайно спланированное лорд-

канцлером Томасом Кромвелем. Именно он и рассказал кардиналу о сочинении Макиавелли. Поул побеседовал с теми, кто знал Макиавелли:

«Эти флорентийцы отвечали мне тем же, чем, по их словам, ответил и Макиавелли, когда они возразили ему: в своей книге он и вправду высказал не только собственное суждение, но и мнение человека, для которого писал. И поскольку Макиавелли знал, что он [Лоренцо де Медичи] был человеком натуры тиранической, то включил в сочинение идеи, способные наилучшим образом угодить такой натуре. Однако же, подобно иным сочинителям, писавшим о том, как сделать человека королем или владыкой, и в соответствии с уроками опыта, [Макиавелли] рассудил, что правление такого государя не будет долгим, если он последует его советам. На это он весьма рассчитывал, ибо к правителю, для которого писал, воспылал ненавистью. Равно как не ожидал от книги ничего иного, кроме как, написав для деспота то, что ублажило бы деспота, направить его поступки так, чтобы привести его к полнейшему краху».

Судя по этим словам (если их и вправду произносили таким тоном), может показаться, что Макиавелли пытался, как гласит флорентийская максима, «сберечь вино, когда уж бочка пуста» (chiudere la stalia dopo che sonfuggiti I bovi).[74] По мнению многих читателей «Государя», одна из грубейших ошибок автора состоит в том, что он сводил роль религии всего лишь к орудию власти (instrumentum regnt), тогда как особое значение придавал человеческой способности подчинять судьбу своей воле, что попахивало пелагинством (убеждением в том, что человек может спастись сам, без Божественной Благодати). Обычному читателю может показаться, что «Государь» сводит все к человеческой воле, даже сам Никколо высказывался на этот счет не совсем ясно: Моисей поставлен на ту же ступень, что и другие великие деятели древности, обладавшие «личной доблестью» и удачливостью, хотя Моисей в то же время был лишь проводником Божьей воли.

В итоге Макиавелли удалось рассердить почти всех, причем разрозненность его рассуждений давала повод для различных придирок и позволяла людям принимать на свой счет задевавшие их негативные отрывки. Как писал по этому поводу Джованни Баттиста Бузини, «богачам казалось, что этот его «Государь» наставлял герцога [Лоренцо де Медичи] отобрать у них все их имущество, а беднякам — всю их свободу. Поборники Савонаролы сочли его еретиком, а люди благонамеренные — подлецом; самим же подлецам он представлялся негодяем еще большим, чем они сами, и к тому же удачливым; и посему его ненавидел каждый». Бузини написал эту изобличающую эпитафию спустя

много лет после смерти Макиавелли, сочинение которого к тому времени уже не раз переиздавалось. Однако большая часть критики в его адрес прозвучала еще при жизни Никколо.

Быть может, забота о репутации вынудила Макиавелли согласиться с тем, чтобы философ Агостино Нифо переписал его книгу в более приглаженном варианте, вероятно, благодаря содействию кардинала Джулио де Медичи. В переработанном виде сочинение было издано под заголовком «Об искусстве правления» (De Regnandi Perita) в 1523 году и, что любопытно, в тот же период, когда и Нифо, и Макиавелли, все-таки добившийся благосклонности Медичи, работали при Пизанском университете. Хотя это могло быть всего лишь совпадением, Никколо всегда крайне ревностно относился к своей интеллектуальной собственности и к тому же пользовался поддержкой могущественных покровителей, которые могли с легкостью пресечь плагиат Нифо, случись подобное.

В целом Нифо проделал великолепную работу. Он сохранил большинство примеров Макиавелли и прибавил несколько своих, но расположил их по-иному, дабы придать сочинению пристойный вид. Он также убрал некоторые слишком уж рискованные комментарии, касавшиеся политики и религии, например восхищение Чезаре Борджиа. Более того, трактат «Об искусстве правления» вышел в свет на латыни, что придавало сочинению академический дух, отсутствовавший у «Государя». По сути, Нифо попытался представить «корректный» вариант «Государя», но, поскольку истинные шедевры переживают свое время, впоследствии его труд окажется безрезультатным в сравнении с выдающимся трактатом Макиавелли. Вероятно, Макиавелли, сам того не осознавая, раскрыл правила политических игр, вовсю проводимых на практике, но в существовании которых редко признаются. Попытки Никколо заполучить таким образом должность для себя привела к непредвиденным и совершенно нежелательным для него последствиям.

Глава 12
Смех толпы

Одна награда только суждена —
Та, что любой кривится
И все, что зрит и слышит, — все клянет.

Никколо Макиавелли.
Мандрагора[75]

«Я стал бесполезен для себя самого, моих родных и друзей, ибо так уж угодно моей несчастливая судьбе», — напишет 16 февраля 1516 года удрученный Макиавелли своему племяннику Джованни Верначчи, занятому ремеслом в городе Пера (ныне район Стамбула). Последние два года Никколо писал Верначчи регулярно и в основном о семейных делах. Однажды он предложил племяннику жениться на одной из дочерей своего кузена Лоренцо Макиавелли, девушке «слегка хромоногой, но миловидной, доброй и умной». Но поставил условие, чтобы его будущий тесть выдал ему 2 тысячи запечатанных флоринов и позволил открыть собственную лавку по продаже шерсти. Теперь же Верначчи сказал, что не получал от дяди ни единого письма, и слова эти Макиавелли сравнил с «ударом ножом». Вокруг него все словно сговорились, и Никколо с ужасом смотрел, как его мир рушится, в то время как другие процветают.

За истекший год многое изменилось. Людовик XII умер, но его наследник, 21-летний Франциск I, нисколько не скрывал своих намерений продолжить завоевательную политику покойного монарха. Вероятность французского вторжения в Италию подталкивала папу римского и Лоренцо де Медичи к борьбе за влияние на внешнюю политику Флоренции. Лев X хотел, чтобы город объединился с Испанией и Швейцарией, тогда как Лоренцо — под давлением своих сторонников, опасавшихся негативных последствий для флорентийских купцов в Лионе, — явно отдавал предпочтение союзу с Францией. Во Флоренции позиции Лоренцо были весьма шаткими. Наместником на время своего отсутствия он избрал кузена Галеотто де Медичи, но тому недоставало ни опыта, ни влияния, чтобы справиться со столь сложной задачей. Все это вкупе с негодованием жителей в связи

высокими налогами вызывало недовольство режимом, и Медичи потерпели ряд политических неудач. Более того, в Риме планы Лоренцо натолкнулись на сопротивление, и он разъяренно наблюдал, как его дядя Джулиано становился главой псевдо-независимого государства, заключив брачный союз с Филибертой Савойской, а понтифик отказался увеличить денежное содержание Лоренцо. В Риме все его амбиции неизбежно оказывались в тупике, а дела во Флоренции требовали его личного присутствия. Но Лоренцо стремился быть себе хозяином и искал возможности заявить о своем праве на политическую самостоятельность.

И такая возможность представилась, когда Лев X повелел Флоренции собрать семь сотен тяжеловооруженных всадников, чтобы сражаться против французов на стороне испанцев и швейцарцев. Флорентийцы хоть и без особой охоты, но желанию понтифика все же подчинились. Оставалось решить, кого назначить командующим силами флорентийцев. Как утверждал Франческо Веттори, Джулиано де Медичи пообещал своему зятю, графу Женевскому, назначить его командующим с крупным жалованьем. Но Лоренцо, стремясь избавить Флоренцию от дополнительных затрат, ходатайствовал о назначении капитан-генералом себя самого, пусть и без армии и даже без всякого жалованья. Понтифик отклонил его просьбу на том основании, что прежде его кандидатуру должен одобрить Совет Семидесяти (на тот момент главный законодательный орган Флоренции), и не сомневался в отказе своему племяннику. Но Совет, напротив, одобрил желаемые Лоренцо полномочия, и Льву ничего не оставалось, как доверить их ему.

Свидетельство Веттори до некоторой степени сомнительно, если учесть, что Лоренцо уже довольно давно мечтал об этой должности, позволявшую заполучить и армию, и деньги.

После определенных политических манипуляций Галеотто сначала балья, затем и Совет Семидесяти разрешили Комиссии Восьми по охране государства призвать до пятисот всадников, и к возвращению Лоренцо во Флоренцию правительство уже не имело никаких поводов и законных оснований, чтобы и впредь отказывать ему в назначении главнокомандующим. Более того, в его контракте присутствовал любопытный пункт: городским властям и магистрату запрещалось судить и карать кого бы то ни было из подчиненных Лоренцо, кроме как в случае государственной измены. Данная привилегия сохранялась для капитан-генерала и старшего уполномоченного по военным делам. Разумеется, под знаменами Лоренцо собралось немало отпрысков знатных семей Флоренции, соблазнившихся размерами

жалованья и привилегиями. К счастью, папский кандидат на должность командующего — Джулиано де Медичи — занемог, и Лев X скрепя сердце доверил свою армию Лоренцо.

В августе вместе с войсками и в сопровождении старшего уполномоченного, а именно Франческо Веттори, капитан-генерал отбыл в Ломбардию. К тому времени Лев X, Джулиано и кардинал Джулио были крайне встревожены поведением Лоренцо. Все трое, Медичи старой закалки, родились и воспитывались во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Они желали контролировать город, но добиться этого намеревались конституционными методами, знакомым и привычным им еще с юности, и потому диктаторское поведение Лоренцо, попрание всех традиций и его откровенные симпатии к Франции их просто ошеломили. Впрочем, Лоренцо и его мать имели свои причины для опасений: отнюдь не исключалось, что в случае победы французы займут Флоренцию и для Медичи это закончится новым изгнанием.

В их рассуждениях присутствовало рациональное зерно, поскольку с июля предыдущего года понтифику доносили о том, что Франциск I налаживал связи с противниками Медичи во Флоренции. Над семейством нависла серьезная угроза мятежа, подобного тому, который произошел в 1494 году, и с этой точки зрения вполне понятно, почему Лоренцо, вопреки увещеваниям папы забыть о союзе с Францией, должен был проводить весьма осмотрительную внешнюю политику. Таким образом, его профранцузскую стратегию можно рассматривать и как попытку избежать проблем, с которыми пришлось столкнуться его отцу Пьеро, пытавшемуся угодить флорентийцам, и как попытку сформировать внешнеполитический курс, весьма отличный от того, который задумывался в Риме. Весьма любопытно, что, обращаясь к Лоренцо в последней главе «Государя» — которую Никколо, вероятно, добавил, едва Лоренцо стал капитан-генералом, — Макиавелли, правда, не впрямую, но окрестил испанцев и швейцарцев «варварами», считая их еще большей угрозой, нежели французов, и, как обычно, предлагал способ одолеть их. Так Никколо выражал не только собственное мнение о более приемлемом для Лоренцо союзнике, но и чаяния большинства флорентийцев.

Франциск I к внезапно перешел через Альпы неизведанным ранее путем и, миновав объединенные силы папы и испанцев в Пьемонте, маршем двинулся прямиком к Ломбардии. Лоренцо собрал свою армию в Пьяченце, а папа и вице-король Неаполя требовали, чтобы он, форсировав реку По, двинулся на Милан. К тому же Кардона предупредил его, что в случае поражения, ответственность за падение города ляжет на Лоренцо. Быть

может, капитан-генерал и хотел двинуться дальше, но Веттори без обиняков заявил ему, что в этом случае флорентийцы останутся, потому что никто во Флоренции не желал раздражать французов. Однако сам Кардона не горел желанием бросать своих солдат в бой, и в итоге встречать французов пришлось одним только швейцарцам, которым также пришлось считаться и с атаками венецианцев с востока.

13 сентября произошло сражение при Мариньяно, «битва исполинов», как позднее назвал ее Франческо Гвиччардини.

После двух дней ожесточенной борьбы французы оттеснили уцелевших швейцарцев с поля боя. Через несколько дней Франциск I вошел в Милан. Узнав о таком повороте событий, Лев X поспешил обсудить условия мирного договора лично с королем Франции. Узнав о битве, Макиавелли, вероятно, ощущал себя реабилитированным, даже если его анализ военного положения оказался не совсем точным: французы победили благодаря почти двойному перевесу в численности, хотя швейцарцы не раз были близки к победе в ходе сражения. Теперь же понтифик оказался на милости победителя, как и предсказывал Никколо.

По пути на север, в Болонью, где было решено провести встречу с Франциском, папа остановился во Флоренции, и местное правительство устроило в его честь триумфальное шествие, достойное древнеримского полководца. Когда он проезжал под аркой, временно сооруженной за одними из городских ворот, его встретило изображение его отца, Лоренцо Великолепного, под которым красовалась надпись: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».[76] Сейчас подобное использование слов Бога об Иисусе, заимствованных из Евангелия от Матфея, выглядит чуть ли не богохульством. Савонарола хотел, чтобы Флоренция стала новым Иерусалимом, но, сравнив Всевышнего с человеком, а его сына с Христом, флорентийские власти зашли в своем раболепии слишком далеко.

Макиавелли ранее заклеймили нечестивцем, но, похоже, не его одного. И все же нет никаких свидетельств того, видел ли Никколо папскую процессию, потому что, вероятнее всего, он предпочел остаться в Сант-Андреа, сокрушаться и оплакивать судьбу. Принимая во внимание обстоятельства, такое поведение было вполне оправданно, однако говорило о том, что Макиавелли все еще не был готов признать свою вину в своих же заключениях. Однако Фортуна уже была готова смилостивиться над Никколо, положив конец его добровольному затворничеству в «завшивленной деревне».

Когда именно Никколо стал частым гостем в садах Ручеллаи, ставших излюбленным местом встреч молодых интеллектуалов

Флоренции, неизвестно. Бернардо Ручеллаи умер в 1514 году, но его сыновья, Джованни и Палла, а также племянник Козимо, согласно семейной традиции продолжали и дальше проводить интеллектуальные диспуты на различные темы. С политической и социальной точек зрения кружок Ручеллаи состоял из представителей самых разных социальных прослоек: от богатых аристократов, как братья Строцци, до людей более скромного положения и достатка, как сам Макиавелли. Также среди них были, по крайней мере поначалу, умеренные сторонники Медичи, в особенности из числа оптиматов и сторонников закрытого правительства. Неизвестно, кто именно привел Макиавелли в сады, однако косвенные свидетельства указывают на Филиппо и Лоренцо Строцци.

Может показаться странным, что отпрыски Строцци подружились с Никколо, учитывая то, что он, как известно, выступал против брака Филиппо и Клариче де Медичи, но и на это можно возразить: в то время Макиавелли мог действовать не по своей воле, а согласно пожеланиям его руководителей. Кроме того, родственник его жены, Франческо дель Неро, оказался одним из близких соратников Филиппо, к тому же он и Мариетта происходили из семейств, симпатизировавших Медичи. Возможно, сначала дель Неро представил Макиавелли братьям Строцци, и Филиппо, наверняка разглядев в нем родственную душу: оба любили женщин и прочие радости жизни. Как бы то ни было, начиная примерно с весны 1516 года Никколо, по-видимому, начал регулярно посещать сады Ручеллаи, поскольку во вступлении трактата «О военном искусстве» он упоминает, что диалог, составивший сочинение, произошел примерно в апреле того же года. Для Макиавелли стать членом кружка Ручеллаи было выгодно во многих отношениях. Происходившие там интеллектуальные беседы стимулировали его сочинительство, а собиравшаяся компания молодых флорентийцев наслаждалась как творениями Никколо, так и его обществом. Кроме того, они сочли необходимым несколько улучшить его незавидное финансовое положение, поддержав Никколо небольшими суммами денег. Наконец-то Макиавелли обрел общество подходящих людей со связями, которых так долго искал, и ему очень льстил негласный статус властителя дум.

О влиянии Никколо на членов кружка свидетельствуют отрывки из докладов Лодовико Аламанни, написанных в 1516 году для Лоренцо де Медичи и Альберто Пио ди Карпи, императорского посла в Риме. Лодовико вместе с братом Луиджи входил в группу Ручеллаи, а также дружил и переписывался с Никколо, посему неудивительно, что в его сочинениях

обнаруживаются отголоски размышлений Макиавелли. В первом докладе Аламанни советует Лоренцо, как удержать власть во Флоренции, иногда кратко перефразировав выдержки из «Государя», а во втором подчеркивает, насколько важно для государства иметь собственное войско (arrni proprie), сформированное из обученных добровольцев. В то время вопрос об организации армии стал главной темой дискуссий среди флорентийских мыслителей, хотя не все разделяли убежденность Никколо в том, что можно воссоздать ополчение по образцу и подобию гражданской армии Древнего Рима. В частности, Франческо Гвиччардини сомневался в том, что, следуя этой модели, можно добиться успеха, прозорливо указывал на то, что едва ли прошлое станет достойным образцом для настоящего, поскольку ход времени всегда коверкал и затуманивал историческую память.

Пока Аламанни писал свои доклады, Лоренцо де Медичи, кроме как прислушиваться к дебатам интеллектуалов, было о чем поразмыслить. В марте того же года, к великой печали Льва X, скончался Джулиано де Медичи. Понтифик возлагал большие надежды на то, что его брат сумеет основать династию Медичи, и теперь осуществить его честолюбивые замыслы мог лишь Лоренцо. Более того, условия мирного договора с Франциском I предписывали ему возвратить Парму и Пьяченцу императору, а Модену и Реджо — д'Эсте.

Государство Медичи в Северной Италии таяло на глазах, и Лев X, отчаянно пытаясь обрести для своей семьи стабильный суверенитет, обратил свой алчущий взор на герцогство Урбино.

Понтифик имел свои причины ненавидеть герцога Франческо Мария делла Ровере: во время французского вторжения летом предыдущего года он неизменно отказывал папе в военной помощи. В надлежащее время была подготовлена специальная булла, лишавшая Франческо титула и владений. И тем временем Лев X добивался того, чтобы Франциск I хотя бы на словах пообещал, что не станет вмешиваться, если после смерти Фердинанда Арагонского папа надумает захватить Неаполь. Франциск I хоть не доверял Льву X, но все же уступил его просьбе, опасаясь, что в противном случае понтифик, объединившись с Максимилианом, будет представлять серьезную угрозу Венеции. Лоренцо де Медичи без особого труда овладел Урбино, но флорентийцы в целом остались недовольны исходом сражения, поскольку именно им пришлось оплатить большую часть военных расходов. Более того, Лоренцо вместе с матерью вскоре отбыл в Рим, так как теперь, после смерти Джулиано, он унаследовал собственное государство и титул герцога Урбинского

и во Флоренции его уже ничего не удерживало.

Флорентийцы вздохнули бы с облегчением, глядя, как покидает город эта парочка — своей надменностью Альфонсина Орсини снискала особую ненависть горожан, — если бы только Лоренцо проявил мудрость при выборе наместника. К несчастью, выбор пал на Горо Гери, что горожане сочли крайне оскорбительным, поскольку Гери был родом из зависимого города Пистойи и не испытывал ни малейшего уважения к жителям города, управлять которым его назначили. Он не доверял флорентийскому патрициату, не скрывал неприязни к нему, но и флорентийцы более или менее искренне ненавидели его. Что еще хуже, Альфонсина продолжала вмешиваться в политику Флоренции, даже будучи в Риме, вызывая еще большее недовольство городской аристократии правлением Медичи. Притом что еще была свежа в памяти республика, оптиматы не могли ничего предпринять, кроме как кипеть от злости и пытаться голосованием блокировать самые дерзкие попытки Гери властвовать единолично. Из двух зол (Альфонсина и Гери) флорентийцы выбрали меньшее.

Лоренцо еще не раз будет возвращаться во Флоренцию, но лишь чтобы собрать деньги для очередной войны. Лишившись герцогства, Франческо Мария делла Ровере укрылся у своего тестя, маркграфа Мантуи, и все это время напряженно думал над тем, как вернуть свои владения при поддержке венецианцев и феррарцев. В середине января 1517 года он начал кампанию против Лоренцо, быстро захватив все земли Урбино, кроме почти неприступной крепости Сан-Лео. Понтифику нужны были деньги, чтобы помочь племяннику, поскольку Франциск I, видя, что Лев X не вернул Модену и Реджо, отказался вмешиваться. К счастью, в Риме был раскрыт заговор с целью убийства папы. Среди заговорщиков оказалось несколько кардиналов, в том числе Франческо Содерини. Более удачного случая собрать денег понтифик не мог и вообразить: теперь он не только вымогал огромные штрафы у виновных прелатов, но и принимал в кардиналы других в обмен на крупные суммы.

Тем не менее Лоренцо уже вытаскивал из Флоренции последние деньги, и весной одобренные правительством дополнительные налоги опустошили кошельки горожан. В итоге Медичи переждали бурю, потому что делла Ровере не хватило средств для продолжения войны, а Венеция и Феррара перестали оказывать ему военную помощь. И для Льва X, и для Лоренцо цена конфликта оказалось непомерной как в финансовом, так и в политическом отношении. Флорентийцы уже почти не скрывали своего недовольства Медичи, и многие ждали следующего похода

Франциска I в Италию, надеясь пережить повторение событий 1494 года. Но в этот момент Медичи решили слукавить — присоединиться к тем, кого не могли одолеть, — и воспользоваться своим козырем, предложив Лоренцо брак с француженкой. Тем самым папа не только лишил флорентийских оппонентов потенциального покровителя, но и убедил купечество в том, что отныне их интересы во Франции будут под защитой. Франциск ответил согласием, и 2 мая 1518 года в замке Амбуаз Лоренцо сочетался браком с Мадлен де ла Тур, графиней Овернской, состоятельной дамой, находившейся в кровном родстве с королевской семьей. Одним умелым маневром, достойным отца, Лев X обезоружил и Франциска, и противников Медичи во Флоренции.

Несомненно, политическую ситуацию во Флоренции обсуждали и в садах Ручеллаи. Вклад Макиавелли в эту дискуссию можно обнаружить в его незаконченной сатирической поэме «Золотой осел» (Asino d'oro), которая представляет собой пародию на «Божественную комедию» Данте Алигьери и «Метаморфозы» Луция Апулея. Макиавелли изображает, как спускается в ад в сопровождении женщины (с которой ему удается переспать), где встречает множество зверей, олицетворяющих известных политиков. Поэма изобилует шутками, над которыми смеются в садах его собеседники. Никколо определенно собирался прочесть свое сочинение друзьям, о чем свидетельствует его письмо от 17 декабря 1517 года, адресованное Лодовико Аламанни, в котором он сетует на то, что Лудовико Ариосто запамятовал включить его в число итальянских поэтов, упомянутых в «Неистовом Орландо». Макиавелли замечает: «И то, что он совершил в своем «Орландо», я не стану повторять в «Осле»».

Макиавелли, вероятно, был лично знаком с Ариосто, поскольку пишет Аламанни: «Если он [Ариосто] будет рядом, кланяйтесь ему от меня» — эти слова явно трудно связать с обидой.[77] Так или иначе, возможность поквитаться Никколо не представилась, поскольку его поэма обрывается на восьмой главе, прежде чем главный герой превращается — что вполне в духе Апулея — в осла. Почему поэма так не была закончена, остается лишь гадать, но, вероятнее всего, причину этого следует искать в том, что Макиавелли переключил свое внимание на другие, более близкие сердцу сочинения.

Никколо, едва завершив «Государя», тут же взялся за написание книги о сущности республиканского государства. Он неоднократно прерывал работу (и виной тому то его апатия, то разочарование, то очередная влюбленность), пока одна беседа в

садах Ручеллаи не вдохновила его продолжить работу. Что примечательно, завершенную рукопись «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) Макиавелли посвятил своим собеседникам, Дзаноби Буондельмонти и Козимо Ручеллаи. И во вступлении Макиавелли выразил радость в связи с тем, что, наконец, после долгих лет пренебрежения он нашел достойных слушателей:

«И поверьте, меня утешает уже одна мысль о том, что, обманываясь во многом, я не ошибусь, отдавая первым читателям моих «Рассуждений» предпочтение перед всеми прочими. С одной стороны, мне представился случай доказать, что я умею быть благодарным; с другой — я отступил от общего обыкновения сочинителей преподносить свой труд какому-нибудь государю и приписывать ему, в видах тщеславия или корыстолюбия, все возможные добродетели, закрывая глаза на пороки, которые следовало бы осудить. Стремясь избежать подобной ошибки, я избрал не государей, но тех, кто благодаря своим бесчисленным достоинствам заслуживает этого звания; не тех, кто мог бы осыпать меня чинами, почестями и богатствами, но тех, кто, по крайней мере, мог бы мне их пожелать. Ведь если рассудить по справедливости, то уважения заслуживают истинно щедрые, а не те, кто лишь в состоянии быть щедрым; точно так же достоин уважения не тот, кто стоит во главе государства, но тот, кто умеет им управлять».

О «Рассуждениях» написано уже немало, и потому нет смысла подробно исследовать это сочинение. В сущности, Макиавелли вновь сравнил тяжелое положение Флоренции с золотым веком воображаемой Римской республики. В этом сочинении Никколо раскрывает уже известные темы: необходимость ополчения, толковых законов и гражданской добродетели. Во остальном книга сумбурна и, подобно «Государю», представляет собой скорее собрание размышлений, нежели органичное целое, явившееся итогом различных бесед в садах. В посвящении Буондельмонти и Ручеллаи Макиавелли во многом сам это признавал: «Вы заставили меня взяться за сочинение, которого я без чужого побуждения не написал бы». В «Рассуждениях» он раскрывает свою безграничную веру в античную историю, убежденный в том, что именно там сокрыто лекарство от любых политических недугов.

Тем самым Никколо зачастую искажает исторические примеры в угоду доказательствам своему тезису, и Франческо Гвиччардини весьма успешно разбил в пух и прах, указав на эти несоответствия. Он намекал на то, что Макиавелли не смог понять, насколько редко прошлое предоставляет полезные

примеры для абсолютно иной политической и психологической атмосферы. Более того, книга скорее отражение текущей политической ситуации во Флоренции, нежели достоверное описание Древнего Рима, поскольку представление его концепции «независимости» со всеми необходимыми историческими и гуманистическими атрибутами было тесно связано с правительственными институтами, под началом которых он ранее служил в период, когда значительная часть флорентийцев пользовалась почестями и выгодой (honore et utile). Мало чем отличавшееся от деспотизма правление Лоренцо де Медичи оттолкнуло многих горожан. И молодые интеллектуалы из высшего общества, посещавшие сады Ручеллаи, обратили ностальгические взоры на времена минувшие, дни Республики, когда флорентийцы, невзирая на огрехи политической системы, сами решали свои дела. В этом смысле в своих «Рассуждениях» Макиавелли был далеко не одинок.

Дискуссии в садах в значительной степени стимулировали литературную деятельность Никколо. С 1516 по 1520 год он создал не только «Рассуждения», «Бельфагора» и незавершенную версию второй части «Десятилетий», но и один из величайших шедевров драматургии: пьесу «Мандрагора». Театр издавна интересовал Макиавелли, о чем свидетельствует его не дошедшая до нас комедия «Маски» (Le Maschere), а около 1517 года он перевел пьесу Теренция «Андриа» («Женщина с острова Андроса»), освежив содержание простым и повседневным языком, зачастую грубоватым, что сделало вполне доступными для флорентийской публики явные параллели с современностью. «Мандрагора», по построению и тематике хоть и основывалась на традициях древнегреческого и римского театра, представляла собой детище Никколо, возможно, самый наглядный из примеров его отношения к жизни.

Действие происходит во Флоренции примерно в 1504 году, в центре повествования молодой человек по имени Каллимако Гуаданьи (между прочим, Гуаданьи были крупными лионскими банкирами). Только что вернувшийся из Франции молодой Гуаданьи добивается любви местной красавицы, бездетной Лукреции, супруги подозрительного, раздражительного, скаредного и надменного доктора права по имени Нича Кальфуччи. Ради достижения цели Каллимако с помощью некоего бездельника Лигурио переодевается врачом и убеждает Ничу в том, что его супруге, чтобы забеременеть, необходимо перед тем, как провести ночь с мужчиной, отведать настой корня мандрагоры. Но есть одна закавыка, а именно: когда Лукреция выпьет зелье, первый, с кем она вступит в связь, вскоре умрет.

Однако Каллимако тут же предлагает план действий: похитить какого-нибудь молодого бродягу, напоить его зельем, а потом уж уложить в постель к Лукреции. Хоть и не сразу, но Нича все же соглашается, Лукреция тоже уступает и увещеваниям своей матери, и льстивым доводам продажного монаха фра Тимотео. У последнего, впрочем, не остается иного выхода, как участвовать в похищении, поскольку в роли бродяги выступает не кто иной, как Каллимако. В результате ему удается переспать с Лукрецией, которая, в свою очередь, возмущенная глупостью, эгоистичностью и лицемерием своего окружения, клянется Каллимако в вечной любви.

Главные герои пьесы — собирательные образы и в то же время типичные флорентийцы. Людей, подобных Нича — среднего достатка, недалеких и при этом снедаемых невероятным самомнением, — можно увидеть где угодно во Флоренции, впрочем, как и негодяев, как упомянутый фра, в любом монастыре. На самом же деле в этой пьесе нет ни одного положительного героя, ибо даже Лукреция и та не блещет добродетелями, что находится в явном противоречии с образом ее тезки — исторической персоны, супруги Луция Тарквиния Коллатина, покончившей собой после того, как ее обесчестил Секст Тарквиний. И Макиавелли явно из эпатажа измыслил сцену, где Фра Тимотео убеждает Лукрецию изменить мужу, ссылаясь на то, что, дескать, «грешит воля, а не тело», тем самым намеренно исказив слова Коллатина, тщившегося успокоить осрамленную супругу: «Грешит тело, а не разум».

Заядлого книгочея-эрудита отнюдь не удивят отсылы Никколо к самым различным источникам, как древним, так и современным, равно как и упоминания реалий повседневности, которым он либо сам был свидетелем, либо узнал о них из уст других людей. В результате изображаемое в «Мандрагоре» мало чем отличается от того, что мы видим в «Государе», правда, на этот раз с явно негативным уклоном. «Мандрагора» не есть оправдание супружеской измены, а горькое признание того, что жители Флоренции явно не блещут добродетелью (virtus), и в то же время злая сатира, осуждающая тупость, ограниченность и легковерность этих людей. Ведь Нича — не просто флорентиец, он — сама Флоренция.

До сих пор неизвестно, где и когда состоялась премьера «Мандрагоры». Рукописный оригинал пьесы датирован 1519 годом, но, поскольку календарный год во Флоренции начинался 25 марта, следует учитывать и первые три месяца 1520 года. Не исключено, что премьеру решили приурочить к карнавалу 1520 года, но, так или иначе, постановка возымела успех.

«Мандрагору» ставили многократно еще при жизни Макиавелли, а фрагменты ее в 1525 году были положены на музыку. С самого начала слава произведения была столь велика, что сам папа римский приказал поставить его в Риме ради собственного развлечения, и даже такой скептик, как Лев X, окрестивший начало протестантской Реформации «перебранкой монахов»,[78] наверняка покатывался со смеху, глядя на Фра Тимотео. 26 апреля того же года Баттиста делла Палла, один из участников кружка Ручеллаи, писал Макиавелли, что, по его мнению, Лев X смотрит на Никколо «весьма благосклонно», добавив, что понтифику не терпелось своими глазами увидеть пьесу. Делла Палла также добавил, что он вместе с друзьями пытались убедить папу и кардинала Джулио доверить Никколо какое-либо литературное или «иное» занятие.

А «иное» уже само шло в руки. Весной 1518 года Макиавелли ездил в Геную с поручением вызволить из беды нескольких флорентийских купцов, пострадавших по причине банкротства одного банкирского дома; поручение, конечно, не Бог весть какое, но оно хотя бы позволило Никколо сменить обстановку, покинуть ненадолго Сант-Андреа в Перкуссине, да и подзаработать денег. Карло Строцци, один из купцов, был родственником и протеже Филиппо Строцци, и, возможно, именно благодаря ему Макиавелли и дали это поручение. Учитывая его близость не только к Лоренцо де Медичи, но и к папе и кардиналу Джулио Филиппо, он мог помочь Никколо в обход вездесущего Горо Гери. Судя по всему, Гери даже одобрил, что для выполнения небольшой дипломатической миссии в Лукку избрали именно Макиавелли. Колесо Фортуны медленно раскручивалось в пользу Никколо, чего никак нельзя сказать о других.

4 мая 1519 года скончался Лоренцо де Медичи. Это произошло всего три недели спустя после появления на свет его дочери Екатерины, будущей королевы Франции, и кончины его супруги в результате послеродовой инфекции. Существуют спорные свидетельства, что в последний год жизни Лоренцо тщетно пытался уговорить понтифика назначить его правителем Флоренции, однако в любом случае он невооруженным глазом видел и понимал, что приближенные Льва всячески препятствовали проведению им профранцузской политики — в особенности Джакопо Сальвиати и его жена, которые ненавидели Лоренцо и его мать. Когда в январе 1519 году в Рим пришла весть о смерти императора Максимилиана, Лоренцо желал, чтобы папа поддержал кандидатуру Франциска I на императорский трон, но вместо этого Лев X решил поддержать Карла Габсбурга, внука Максимилиана, ставшего в 1516 году преемником другого своего

деда — короля Испании Фердинанда Арагонского.

Карл был законным образом избран при финансовой поддержке немецких банкиров, в результате чего Франция оказалась зажата между Испанией и Священной Римской империей. Лев X сделал верный политический выбор, поскольку Карл V (так отныне величали внука Максимилиана) прекрасно знал, что флорентийцы от души ненавидели режим Медичи. Проигравший по всем статьям и опальный Лоренцо во время болезни отказался от помощи врачей, желая видеть у своей постели лишь двоих ближайших друзей — Филиппо Строцци и Франческо Веттори. Он рассорился с матерью, хваткой Альфонсиной, ужасно ревновавшей его к невестке; он разругался и с кардиналом Джулио, который ранее прибыл в Флоренцию, чтобы избавить своего занемогшего кузена от бремени власти. Флорентийцы, узнав о смерти Лоренцо, особенно не горевали, скорбели по нему лишь немногие. Тот, которого Макиавелли некогда превозносил до небес как спасителя Италии, не сумел даже сохранить уважение тех, кто привел его к власти.

Глава 13
История лжи

С некоторых пор я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, если же мне случается сказать правду, я скрываю ее под таким ворохом лжи, что ее и не сыщешь.

Николо Макиавелли — Франческо Гвиччардини

«Я с радостью узнал, что вы приняли Макиавелли в дом Медичи, ибо он принадлежит к числу тех, кто, получив толику господского доверия, способен одолеть немалый путь», — писал 17 марта 1520 года Филиппо Строцци своему брату Лоренцо. Строцци понимали, что для Никколо наилучшая возможность добиться чего-либо была связана с покровительством кардинала Джулио. После смерти Лоренцо де Медичи прелат де-факто взял на себя правление Флоренцией. В наследство ему достался разбитый на множество группировок город, представлявший собой довольно мрачное зрелище. Но по крайней мере один источник разногласий был снят в связи со смертью Альфонсины Орсини в феврале 1520 года, и, вероятно, далёко не случайно месяц спустя Макиавелли представили кардиналу Джулио.

Увы, но до нас не дошло содержание их бесед, однако одна из особенностей натуры Никколо наверняка поразила Джулиано, потому что он вскоре после встречи обратился к Никколо с просьбой изложить свое мнение насчет того, как следовало бы реформировать Флорентийское государство, сославшись на то, что такова, дескать, воля папы. И по складу ума, и по уровню образования кардинал принадлежал скорее к веку XV, нежели XVI, и, как и его кузен, понтифик доверял флорентийской конституции, действовавшей до 1494 года. Действительно, оглядываясь на золотой век Флоренции своей молодости, Медичи и их приближенные окружили политическую систему Лоренцо Великолепного неким мифически-возвышенным ореолом — в точности так же, как и республиканцы — конституцию Савонаролы. В 1512 году Медичи не предприняли ничего нового, за исключением того, что возродили властные структуры, которые, по их мнению, положительно зарекомендовали себя в

былые времена. Однако от внимания жителей города не ускользнул полнейший крах этого политического эксперимента, от которого здорово отдавало археологией, и вполне логично предположить, что кто-либо, не уступавший по уму и способностям кардиналу Джулио, предпримет попытки добиться политической стабильности в условиях правления Медичи.

Переданный Макиавелли документ представляет собой занятную помесь республиканизма и монархизма, по-видимому, довольно неуклюжую попытку угодить всем сразу. Начал Никколо с постулата о главной проблеме Флоренции, заключающейся в том, что их государство — и не республика, но и не княжество. Далее он предпринял экскурс в историю города начиная с последнего десятилетия XIV века, виня во всех грехах то, что лишь несколько человек реально воздействовали на политику, тогда как остальные жители города «в ней не участвовали». Лишь войны с герцогом Миланским, а позже такие одаренные правители, как Козимо де Медичи и Лоренцо Великолепный, способствовали поддержанию статуса-кво, хотя именно Медичи навязали городу свою власть через парламенты, избавляясь от неугодных. Однако положение республики не улучшилось, ибо многих разочаровали итоги переворота 1494 года, и пожизненно занимавший свой пост гонфалоньер парадоксальным образом, с одной стороны, обладал огромной властью, с другой — явно недостаточной.

Макиавелли приводил доводы в пользу того, что Флоренция уже не может и дальше идти тем же путем, которым шла до изгнания Медичи. Изменилась внешнеполитическая ситуация, да и сами Медичи из первых лиц итальянского города средней величины превратились в правителей государства, игравшего заметную роль в жизни всей Европы.

Не разрешило бы проблемы и многопартийное правительство (govemo largo), если речь шла лишь об увеличении численности представителей законодательного органа. Затем Никколо переходил к сути своих рассуждений. В каждом государственном образовании существуют три прослойки граждан — высшая, средняя и низшая, — и каждой нужно угодить. Флоренции, утверждал Макиавелли, необходимо упразднить приорат и остальные высшие чиновничьи должности, а вместо них учредить орган из 64 горожан, избранных из главных и второстепенных гильдий с той же долей представительства, как и в нынешнем приорате (то есть три четверти из главных гильдий, остальные — из второстепенных). Этот орган исполнял бы функции Синьории и совещательных комитетов, а во главе его стоял бы избираемый пожизненно либо на два-три года гонфалоньер. Подобным же

образом следовало бы вместо разного рода советов учредить один новый орган численностью до 200 горожан — представителей высших и средних прослоек. Что же касалось мелких торговцев и ремесленников, Никколо предложил возродить Большой Совет, наделенный правом избрания всех должностных лиц города, за исключением гонфалоньера, Совета Шестидесяти Четырех, Совета Двухсот и Комиссии Восьми по охране государства, избираемых папой римским и кардиналом Джулио.

Предложенный Макиавелли проект представляется едва ли не утопическим, и остается лишь гадать, всерьез ли полагал сам Макиавелли, что выдвинутые им идеи способны решить проблемы города. Вероятно, он разрывался между Медичи, своими друзьями по кружку Ручеллаи — теперь еще сильнее критиковавшими правящий режим, — а также собственным, вскормленным Античностью республиканизмом. Чуть позже Алессандро де Пацци назовет предложение Никколо «весьма оригинальным и необычным». Хотя план реформ самого Пацци во многом отражал идеи Макиавелли, главным его отличием было то, что он представлял себе Медичи в роли конституционных глав государства, а компетенцию Большого Совета предлагал сузить до права избрания лишь мелких чиновников. Следует отметить, что все же некоторые идеи Никколо, такие как учреждение органа из 200 горожан, впоследствии станут частью конституционных изменений 1532 года, хотя к тому времени исторические события уже навеки похоронят Большой Совет.

И папа, и кардинал Джулио воздержались от проведения каких-либо реформ, возможно, в силу своего политического консерватизма. Но на сей раз Макиавелли не пострадал от последствий предпринятых им действий; более того, кардинал, пропустив мимо ушей его политические предложения, вынужден был признать талант Никколо и решил использовать их — пусть даже с известной осмотрительностью. Микеле Гуиниджи из Лукки задолжал нескольким флорентийцам 1600 флоринов, но отказывался вернуть долг под предлогом того, что все его имущество в виде наследства перешло к детям. Макиавелли было официально поручено отправиться в Лукку и убедить тамошнее правительство санкционировать рассмотрение упомянутого дела третейским судом. Поручением Никколо явно был обязан Джулио, и кардинал использовал Макиавелли для выполнения другого рода поручений политического характера, пока тот пребывал в Лукке.

20 июля Джулио написал ему добросердечное послание, обратившись к Никколо как к «почтеннейшему сударю и моему ближайшему другу» и попросив потребовать от местных властей

выдворения со своих земель трех сицилийцев, бывших студентов, отчисленных из Пизанского университета, но продолжавших докучать своим бывшим однокашникам. «Проявите благоразумие и разузнайте обо всем, как надлежит, — добавил Джулио, — но мы считаем излишним далее наставлять вас, ибо знаем, что вы исполните вам порученное с должным усердием и тщанием». Должно быть, Макиавелли имел все основания для довольства, в особенности когда он после нескольких месяцев переговоров, все же сумел убедить местные власти удовлетворить его просьбу о проведении заседания третейского суда. Кроме того, Никколо также сумел собрать некоторые, не подлежавшие широкой огласке сведения, пусть и не всегда достоверные, о местном обществе, которые озаглавил «Краткий очерк о положении дел в Лукке» (Sommario delle Cose della Citta di Lucca), как всегда снабженные его комментариями о разумно управляемых республиках. В сущности, Лукка располагала кое-какими преимуществами в сравнении с Флоренцией — лучшей судебной системой, равно как и недостатками — к примеру, многие представители правительства не обладали ни соответствующими личными качествами, ни образованием для того, чтобы занимать соответствующие должности. И в подтверждение своих тезисов Никколо вновь ставил в пример Древний Рим и современную Венецию.

Что гораздо важнее, во время пребывания в Лукке Макиавелли изыскал время для написания краткой биографии одного из бывших правителей Лукки, прославленного Каструччо Кастракани. В качестве источника он использовал сочинение на латинском языке Никколо Тегрини «Жизнь Каструччо Антельминелли» (Castrucci Antelminelli Vita), существенно переработав его в соответствии с образцами, заимствованными из трудов античных классиков. Параллели между сочинением Макиавелли и биографическим повествованием Диодора Сицилийского об Агафокле, тиране Сиракуз, очевидны. Более того, Макиавелли приписывает Кастракани изречения, которые можно обнаружить в трудах Плутарха и Диогена Лаэртского. Друзья, которым он послал книгу, тут же указывали на подобные совпадения, однако воздали хвалу усердию Никколо. И все же «Жизнь Каструччо Кастракани» едва ли можно считать историческим трактатом, это, скорее, биографическое произведение, причем с весьма вольной трактовкой отдельных фактов явно в угоду тогдашним политическим воззрениям.

Для Макиавелли Каструччо являл собой пример идеального правителя и в некотором смысле «Жизнь Каструччо Антельминелли» в трактовке Макиавелли — побочный продукт

«Государя». Если верить Макиавелли, Кастракани побеждал врагов обманом: «Если мог одержать победу хитростью, никогда не старался одержать ее силою, считая, что славу дает победа, а не способ, каким она далась». И в то же время книга его — своего рода гимн Фортуне и манифест военных идей Макиавелли: Кастракани побеждал флорентийцев, потому что предпочитал пехоту кавалерии, — нагляднейший пример пристрастия Никколо к историческим анахронизмам. Если сложить воедино «Жизнь Кастракани» и доклад для кардинала Джулио, остается только гадать, какую политическую систему Макиавелли считал лучшей: республику или некое подобие монархии?

Учитывая многочисленные сходства биографии Кастракани и «Государя», простейший ответ на этот вопрос заключается в том, что «Жизнь…» есть попытка переписать и несколько сгладить наиболее острые моменты в «Государе»: Кастракани представлен человеком безжалостным, хотя «с друзьями он был ласков, с врагами — беспощаден, с подданными — справедлив, с чужими — вероломен». Его политические шаги и великодушие представителя знати идут рука об руку, и по той же самой причине в данной биографии Никколо даже умудрился похвалить льстецов, коих он столь резко осуждал в своих ранних произведениях, — создается впечатление, что Макиавелли учел горький опыт того, что раболепие перед владыками куда выгоднее противоборства с ними. Несколькими годами позже Агостино Нифо попытается адаптировать «Государя», сделав его чуть более удобоваримым для представителей образованной прослойки, примерно ту же цель преследовал и Макиавелли написанием биографии Кастракани.

Так или иначе, друзья Макиавелли приняли «Жизнь Каструччо Кастракани» одобрительно, и благодаря этой книге он снискал репутацию историка в кругах Медичи. 17 ноября Филиппо де Нерли, один из приятелей по садам Ручеллаи, написал Никколо о некоем трактате, посвященном жизни Александра Македонского, сочиненном для Лукреции Сальвиати неким «болваном» (nuovo pesce). Книгу эту не одобрила ни сама дама, ни Нерли, и Филиппо попросил Макиавелли приукрасить это сочинение, «добавив сообразно ее пожеланиям те отрывки, которые сочтете подходящими». У Лукреции были весьма высокие запросы, письму и чтению эта женщина обучалась у великого гуманиста Анджело Полициано и посему была знакома с творчеством классиков. Волею случая кардинал Джованни Сальвиати, ее сын, также частенько захаживал в сады Ручеллаи и предположительно также способствовал тому, чтобы смягчить враждебность Сальвиати к Макиавелли. Нерли также умолял

своего друга, чтобы Дзаноби Буондельмонти выслал ему экземпляр новой книги Никколо «О военном искусстве» (De re Military), поскольку кардинал Джулио пожелал прочесть ее, иначе непременно «сочтет меня лжецом».

Речь шла о труде «О военном искусстве», который Макиавелли завершил примерно тем же летом, потому что к началу сентября Бьяджо Буонаккорси уже получил для себя один экземпляр книги. В работе над книгой Никколо использовал работы классических авторов: Вегеция, Фронтина, Публия и Ливия, а также последний трактат Роберто Вальтурио De re Militari («О военном деле»), и Никколо действительно позаимствовал из этого источника изрядную долю сведений. Трактат был составлен в виде воображаемого диалога, имевшего место в садах Ручеллаи летом 1516 года между знаменитым военачальником Фабрицио Колонной и несколькими друзьями Никколо. И это сочинение тоже отличает известная противоречивость, если учесть, что Макиавелли заставляет кондотьера Колонну отстаивать идею гражданского ополчения и ценность древних методов ведения войны в противовес современным. Колонна также бросается из одной крайности в другую, в одном из отрывков защищая свое ремесло командира наемников, а в другом — восторгаясь гражданским ополчением.

Существует огромное количество мнений, объясняющих, почему Макиавелли решил сделать Фабрицио главным собеседником диалогов, причем кое-кто находил весьма замысловатое объяснение тому, что, по сути, представляет элементарную проблему. Колонна на самом деле мог встречаться с представителями кружка Ручеллаи во время визита во Флоренцию летом 1516 года. Кроме того, он снискал репутацию одного из выдающихся военачальников Италии, и в свое время Пьеро Содерини даже выдвигал его на пост капитан-генерала флорентийской армии. И его смерть в марте 1520 года сыграла на руку Макиавелли, поскольку никто не мог поймать его на лжи. Избрав Колонну, Никколо попросту использовал человека весьма опытного, сведущего в военных делах, который не стал бы с ним спорить. Однако следовало бы упомянуть и еще одно обстоятельство, не связанное ни с достоинствами, ни с огрехами самого трактата.

Сама по себе книга выставляет напоказ невежество Макиавелли в военных делах, невзирая на его опыт в управлении войсками. Ему никогда не доводилось ни участвовать в сражениях, ни даже наблюдать их со стороны (разве что несколько осадных операций). И едва ли продолжительная осада Пизы смогла сделать из него эксперта в военных вопросах. Все его

познания о войне были почерпнуты из книг и разговоров с профессиональными вояками. В итоге Макиавелли имел весьма смутное представление об использовании артиллерии и вообще огнестрельного оружия, а его одержимость Античностью заставляла восхищаться всякого рода учениями и тактическими схемами сомнительной ценности. О том, что Макиавелли считался типично кабинетным стратегом, свидетельствует история, пересказанная одним монахом-доминиканцем Маттео Банделло. Банделло рассказывает об эпизоде, произошедшем в 1526 году, когда Никколо находился при армии Коньякской Лиги. Прославленный полководец Джованни де Медичи, сын Катарины Сфорца, во всех отношениях на нее похожий, обсуждая военные вопросы с Никколо, предложил ему — с присущим флорентинцам чувством злобного черного юмора — попытаться поупражнять свое войско согласно методе, описанной в его трактате «О военном искусстве». Находившийся в тот момент неподалеку Банделло, так пересказывает случай самому Джованни:

«В тот день мессер Никколо более двух часов продержал нас на солнцепеке, пытаясь выстроить три тысячи пехотинцев сообразно маневру, который он сам некогда описал, но так ничего и не добился… Видя, что мессер Никколо и не думает останавливаться, Вы сказали мне: «Банделло, пора вызволять нас из этой заварухи, дабы мы, наконец, перекусили». И Вы попросили мессера Никколо посторониться и позволить Вам взять дело в свои руки, и в мгновение ока при помощи барабанщиков Вы заставили солдат выполнить маневры и построения, вызвав всеобщее восхищение тех, кто наблюдал за сим действом. Затем Вы позвали меня присоединиться к Вашей трапезе, пригласив и Макиавелли. После трапезы Вы попросили мессера Никколо развлечь нас одной из его забавных историй. Будучи человеком учтивым и благовоспитанным, он согласился рассказать потешную басню, которая Вас весьма развеселила, после чего Вы попросили меня записать ее».

Хотя некоторые и сомневаются в достоверности рассказа Банделло (впрочем, не приводя доказательств своей точки зрения), но «если это и ложь, то уж очень убедительная» (se non Vero ben trovato), поскольку позволяет нам понять, что современники хоть и считали Никколо умозрительным теоретиком, но и ценили в нем прекрасного собеседника. Справедливости ради следует сказать, что Никколо не предсказывал будущее на хрустальном шаре и многие люди того времени пытались отыскать действенные методы и средства ведения войны в эпоху стремительного развития вооружений. Действительно, начиная со второй половины XV века на эту тему

было написано довольно много трактатов. Макиавелли попросту был лучше известен на издательском рынке, и то, что «О военном искусстве» увидел свет в 1521 году, служит доказательством интереса общества к этой теме.

Книга была принята тепло — по крайней мере, друзьями Макиавелли. Кардинал Джованни Сальвиати превозносил самобытность сочинения и то, как автору удалось соединить античную мудрость с современными познаниями, добавив, что благодаря методе, описанной Макиавелли, армия станет неуязвимой. Восторженный отзыв Сальвиати мог быть продиктован скорее обычной вежливостью, нежели его мнением, но нет сомнений в том, что в то время военные вопросы занимали очень многие умы. Война в Пизе способствовала возникновению во Флоренции собственных военных традиций, получивших дальнейшее развитие во время похода Лоренцо де Медичи в Северную Италию и завоевания Урбино. Довольно многие флорентийцы сделали военную карьеру, и в рядах вышеупомянутого войска Джованни де Медичи отыскалось бы немало земляков Никколо. Таким образом, трактат Макиавелли следует рассматривать не просто как сочинение о войне, но как попытку установить по-настоящему деловые взаимоотношения между мирными жителями и военными в самой Флоренции: профессиональные наемники тоже не сбрасывались со счетов при условии, что они обладали чувством гражданского долга. Под этим углом зрения Никколо и выбрал капитана Колонну в качестве апологета гражданского ополчения, что вполне логично, даже если для этого Никколо пришлось наделить Фабрицио вымышленными чертами.

Исторические экскурсы Макиавелли принесли плоды. Друзья советовали ему продолжать в том же духе и даже предприняли определенные шаги, обратившись с просьбой к кардиналу Джулио дать Макиавелли соответствующее позволение. Дзаноби Буондельмонти писал Макиавелли в Лукку о том, что им следовало бы обсудить «тот наш замысел, о котором вам известно». После возвращения во Флоренцию в первой половине сентября Никколо, судя по всему, ожидал весьма приятный сюрприз: предложение написать историю Флоренции. Это предложение исходило от Пизанского университета, где брат его жены, Франческо дель Неро, занимал важный пост.

Макиавелли явно питал большие надежды, что поручения явится для него не только почетным, но и значительным финансовым подспорьем. Несколько позже он изложил свои условия дель Неро: определенный срок, скажем в несколько лет, при постоянном жалованье и дозволение писать по-итальянски

или на латыни, на усмотрение автора. И бедняге Никколо в очередной раз довелось пережить крушение планов, пусть отчасти: университет принял его на работу всего на один год с возможностью продления срока еще на год, обязавшись выплатить ему 100 флоринов «на исследовательские расходы» (di studio) — в обесцененной расчетной валюте, по курсу чуть ли не вдвое ниже большого флорина. Но все же это была работа, и теперь Макиавелли получил возможность перевести дух.

Трудность состояла и в том, что Никколо был лишен возможности писать то, что думал, как надеялся вначале. Особую тщательность предписывалось соблюдать при описании предыдущего века флорентийской истории, ибо речь шла о приходе к власти Медичи. Было очень нелегко балансировать между фактологической точностью и необходимым приукрашиванием нелицеприятных фактов. Не раз Макиавелли оказывался в затруднительном положении и 30 августа 1524 года написал Франческо Гвиччардини, чьи дипломатические способности весьма ценил: «Сижу в деревне и занимаюсь написанием истории, и я отдал бы десять сольдо, а то и больше, чтобы вы были здесь и я мог бы показать вам, куда добрался. Ибо, имея дело с определенными фактами, я хотел бы знать ваше мнение касательно того, сколь оскорбительно я поступаю, приукрашивая либо, напротив, преуменьшая их значимость. Как бы то ни было, я намерен еще поразмыслить и все же рассказать правду, никого при этом не задев».

Желание, несомненно, достойное похвалы, однако стоило ему приступить к написанию биографии Кастракани, как Макиавелли стал довольно фривольно относиться к историческим фактам, искажая и переиначивая их по собственному усмотрению. Среди источников, которыми он пользовался, были и фундаментальные труды Флавио Бьондо (Flavius Blondus) и Леонардо Бруни, но последний удостоился резкой критики Никколо, та же участь выпала и Поджио-Браччолини за то, что он недостаточно обстоятельно описал «гражданские раздоры», сотрясавшие Флоренцию не один год, «либо потому, что события эти показались им маловажными и не заслуживающими сохранения в памяти поколений, либо потому, что они опасались обидеть потомков тех, чья честь пострадала в ходе описываемых событий. Вышеперечисленные причины — да не прогневаются на меня эти историки — представляются мне совершенно недостойными великих людей». Подобной злобной клеветой Макиавелли не только пытался принизить значение работ других авторов, но и скрыть тот факт, что, в сущности, его «История Флоренции» есть не что иное, как искусная пропаганда Медичи. Никколо, конечно,

оправдывал свое отношение тем, что считал историю некоей вспомогательной дисциплиной в сравнении с политикой (в данном случае ее служанкой), а документальную достоверность событий — излишней роскошью. Впоследствии подобная трактовка вызовет гневный комментарий историка Сципиона Аммирато:

«[Макиавелли] путает даты, переставляет имена, искажает факты, утаивает причины, добавляет, сокращает, удаляет и своевольно, презрев любые правила, творит все, что только взбредет ему в голову. Но более всего раздражает то, что он зачастую действует намеренно, заблуждаясь либо не ведая подлинных событий; вероятно, дабы избегнуть пресности и приукрасить стиль… Словно факты надлежит приноравливать под стиль, а не наоборот».

Аммирато оказался прав по двум причинам: «История Флоренции» — не заслуживающее доверия и жульническое сочинение, хотя и блестяще структурированное и столь же блестяще написанное. Некоторые примеры вопиющего искажения фактов касаются его отношения к наемным солдатам как к изменникам, вероломным, нечестным, трусливым, что он пытается доказать, приводя в качестве примеров ряд сражений XV века: битву при Загонаре (1425), где погибли лишь трое (утонули в трясине), битву при Ангиари (1440), где погиб всего один человек (его затоптала лошадь), и битву при Молинелле (1467), где вообще обошлось без жертв. (В действительности современные источники этих сражений, о которых Никколо несомненно знал, свидетельствуют о гораздо большем количестве убитых и раненых.) Макиавелли так и не смирился с разгромом флорентийского ополчения в Прато и теперь пером мстил наемникам, превознося до небес гражданский долг, позволивший создать войско из жителей города. В битве при Молинелле на самом деле было немало убитых, но все они погибли под огнем артиллерии, однако признать это означало для Никколо опровергнуть собственные утверждения об артиллерии, высказанные им в трактате «О военном искусстве».

Не преуменьшая значимости вышесказанного, Макиавелли, несомненно, удавалось блестяще передать атмосферу и эмоциональную обстановку описываемых событий. Прекрасный пример тому — описание участи Луки Питти, высокопоставленного сторонника Медичи до участия в заговоре 1466 года. Макиавелли, несомненно, понимал, что значит лишиться власти, и мог соотнести собственный опыт с тем состоянием, в котором в тот момент пребывал Питти:

«В доме его, где постоянно бывало много народу, воцарились

пустота и безмолвие. Когда он появлялся на улицах, друзья и родственники не то что не шли за ним толпою, а даже приветствовать его и то боялись, ибо одни утратили всякий почет, другие часть имущества и власти не оставляли их в покое. Едва начатое строительство великолепных зданий было заброшено; прежде расточаемые ему знаки внимания обернулись оскорблениями, почести — поношениями. Дошло до того, что многие, некогда одарившие его ценностями, потребовали их обратно, будто вещи, пожалованные ему на время, а те, кто имел обыкновение превозносить его достоинства, ныне обвиняли его в неблагодарности и жестокости».

Никколо писал «Историю Флоренции» несколько лет, завершив работу кончиной Лоренцо Великолепного в 1492 году. По обрывкам, обнаруженным среди его бумаг, в том числе из документов канцелярии, мы можем судить, что Макиавелли намеревался продолжить работу над своим сочинением, по крайней мере, до возвращения Медичи в 1512 году, но что примечательно — невзирая на повышение жалованья, он намеренно затягивал работу: описание периода Флорентийской республики могло завести его на минное поле, угрожало подорвать его репутацию и сильно навредить его отношениям с покровителями из лагеря Медичи. Ему уже приходилось прибегать к логической эквилибристике, чтобы объяснить сущность правительственной системы Медичи после 1434 года, и он счел своим долгом оправдаться за это перед молодым Донато Джаннотти, который впоследствии прославится как деятель, ратовавший за республиканскую систему:

«Донато, начиная от прихода к власти Козимо [де Медичи] и до кончины Аоренцо [Великолепного], я не в силах излагать эту историю так, как излагал бы, будь я свободен от всех ограничений. Событиям приличествует достоверность, посему я не намерен ничего изымать и воздержусь лишь от трактовки общих причин. То есть опишу исключительно те события, которые сопровождали восхождение Козимо к власти, но не пути и методы, коими эта власть была добыта. Те же, кто жаждет их понять, пусть пристальнее вглядятся в слова, которые я вложу в уста его [Козимо] противников, ибо пусть все, что не желаю говорить я, будет сказано его врагами».

Можно бесконечно думать и гадать над тем, то ли Джаннотти намеренно пытался выгородить своего друга, защитить его память от нападок флорентийских республиканцев (к тому времени, как Донато писал это признание, Макиавелли уже умер), или же сам Макиавелли в очередной раз повел себя неискренне. Не стоит удивляться тому, если верным окажется как раз второе

предположение: слишком долго пришлось сражаться Никколо за обретение вновь некогда утраченных почестей и выгоды (honore et utile), и у него не было ни малейшего желания вновь расстаться с ними.

Макиавелли медленно, но верно завоевывал расположение Медичи. 11 мая 1521 года он получил не совсем обычное поручение от Комиссии Восьми (Otto di Pratica): отправиться к генеральному капитулу братьев миноритов (францисканцев) в Карпи, что неподалеку от Модены, и попытаться заручиться их согласием на предложение собрать монахов во флорентийских землях в отдельной административной единице. Этот шаг был продиктован стремлением облегчить возможность держать под контролем их поведение и моральный облик. Миссию поддержали как Синьория, так и кардинал Джулио, очевидно стремившийся удержать в узде потенциальных бунтовщиков и противников Медичи. Спустя несколько дней Макиавелли получил еще одно поручение, на сей раз от флорентийской гильдии шерстянщиков, просивших его подыскать проповедника для собора, которым они желали видеть некоего Джованни Гвальберто, известного как Il Rovaio, то есть «северный ветер», или «трамонтана».

Макиавелли прекрасно понимал парадоксальность такого поручения, причем не только из-за своей явной и хорошо известной неприязни к монахам: во Флоренции выражение dare dei calci al rovaio означало «болтаться на виселице».

Тем не менее комизм ситуации оценил папский наместник в Модене Франческо Гвиччардини. Они с Макиавелли знали друг друга уже давно, хотя и близкими друзьями так и не стали, несмотря на то что жили во Флоренции по соседству. Но все знали об антиклерикализме Никколо, и в письме от 17 мая Гвиччардини отмечал, что для Макиавелли получить задание подыскать проповедника было все равно что попросить Пакиеротто и мессера Сано — двух знаменитых содомитов — подыскать друг другу добрую и обходительную женушку. Он также предупредил Никколо о том, что в его возрасте пора было подумать о душе, «поскольку вы всегда жили иначе, в случае, если вы переменитесь, люди решат, что причиной тому возраст, а не пробудившаяся вера в Бога». Также Гвиччардини предупредил Макиавелли о двух грозивших ему опасностях: во-первых, пообщавшись с монахами, он сам мог превратиться в лицемера; во-вторых, поскольку сам воздух Карпи обращал людей в лжецов и «коли вам случится гостить в доме кого-либо из горожан, исцелить вас от этого недуга уже не будет никакой возможности».

Явно развеселившийся Макиавелли ответил в тот же день. «Я

был в нужнике, когда прибыл ваш гонец, — начал он, — и как раз раздумывал о том, какого проповедника на свой лад я выбрал бы для Флоренции». И продолжил: «По правде говоря, я заблуждаюсь насчет своих сограждан: они желают проповедника, который научил бы их, как попасть в рай, я же хочу найти такого, чтобы отправил их к дьяволу». Он полагал, что для своего времени лучше всех подходил тот, который был бы безумнее Понцо, хитрее Савонаролы и лицемернее фра Альберто,[79]«дабы соединить в одном монахе все то, что мы наблюдали у нескольких», потому что «праведный путь в рай — это хорошенько изучить дорогу в ад, дабы избегнуть ее». По его мнению, «видя, каким доверием пользуется негодяй, действующий под личиной благочестия, легко себе представить, чего достигнет достойный, если на деле, а не из притворства двинется по стопам святого Франциска».

Макиавелли ненавидел лицемерных церковников, хотя и был готов признать собственные огрехи в этом смысле: «Вашей милости известна поговорка здешних братьев, что если кто утвердился в благодати, у дьявола нет больше власти искушать его. Поэтому я не боюсь заразиться лицемерием от этих монахов, ведь я, кажется, утвердился вполне». Что же касается умения жителей Карпи лгать, то здесь Никколо не было равных, поскольку «я давно превзошел эту науку». В том же тоне он попросил Гвиччардини об одной услуге: дабы произвести впечатление на монахов, не мог бы любезный Франческо слать письма непрерывно? Когда гонец ранее вновь прибудет с посланием Гвиччардини, все присутствующие откроют рты от изумления, а Макиавелли сможет воспользоваться случаем и предаться разглагольствованиям.

Гвиччардини был рад услужить другу, и, будучи человеком холодным и расчетливым, он тем не менее разделял любовь Никколо, да и многих флорентийцев к всякого рода розыгрышам. Он тут же отписал принимавшему Макиавелли Сигизмондо Санти и секретарю местного правителя Альберто Пио, описав Никколо как «весьма важную персону». Санти, судя по всему, сноб до мозга костей, тут же составил пылкое письмо, попросив рассказать ему поподробнее, однако Гвиччардини отвечать на него не стал, дабы разжечь в Санти любопытство. На всякий случай он предупредил Макиавелли, чтобы тот извлек из сложившейся ситуации как можно больше пользы для себя и никогда не забывал библейское выражение: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня — не всегда».[80] Он также иронично убеждал Никколо внести разлад в ряды монахов или хотя бы посеять семена раздора, которые взойдут позже, «что, как я полагаю, совершить совсем нетрудно,

учитывая их честолюбие и зловредность».

Макиавелли обрел в лице Гвиччардини того, кто не уступал ему в антиклерикализме; Гвиччардини заявил ему о том, как выгодно было бы для Макиавелли оставаться историком, тем, кто прежде вел переговоры с государями и правителями, оставаясь при этом в «республике деревянных башмаков» (Генеральном капитуле францисканцев) и вместе с этим вышучивая страсть Макиавелли отыскивать и находить исторические прецеденты всему на свете. Вместе с другим посланием более практического характера, поскольку заботился о том, чтобы Никколо поили и кормили надлежащим образом, он отправил к нему гонца с кипой писем, среди которых были и новостные листки (avvisi) из Цюриха, поскольку Франческо знал наверняка, что такая кипа бумажек никак не ускользнет от внимания Санти. Санти был «человеком подлым и склонным к пересудам», и Гвиччардини намеревался пустить ему пыль в глаза, «лишь бы еда на столах не скудела». Что же касается И Rovaio, Франческо считал его никудышным кандидатом, полагая, что гильдия шерстянщиков ожидала от Макиавелли — учитывая его репутацию эксцентрика, которому отнюдь не чужда страсть к новизне, — подыскать для них подходящего монаха, то есть такого, которого нет в природе.

Уловка Гвиччардини сработала: 18 мая Макиавелли написал, что Санти клюнул, проглотив приманку вместе с леской и грузилом, хотя сложившаяся ситуация привела его в некоторое замешательство и он стал подозревать, что скармливаемые ему сведения чистейшая ложь. Но Никколо тем временем наслаждался гостеприимством — «обжираюсь, как шестеро псов и трое волков», — благодаря чему сэкономил значительную сумму. Ему даже стало жаль одураченного Санти, и он даже подумывал о том, чтобы отплатить ему за гостеприимство, если хозяину дома доведется попасть во Флоренцию. В конце концов, Сигизмондо вскоре понял, что его надули, так как на следующий день Макиавелли писал:

«Черт подери! Надо быть умнее, когда имеешь дело с этим человеком, ибо он хитер, как тридцать тысяч дьяволов. И по-моему, подозревает о вашей хитрости, поскольку, едва прибыл курьер, как он воскликнул: «Покажите! Это должно быть важно, раз курьер так спешил». Затем, прочитав ваше письмо, сказал: «Полагаю, наместник дурачит нас обоих». Я притворился, будто ничего не знаю, и в ответ пояснил, что у нас с вами имеются во Флоренции незавершенные дела, и я, мол, попросил вас держать меня в курсе на случай, если прибудут какие-нибудь вести, которые и послужили причиной вашего послания. Но у меня трясется зад от страха, что рано или поздно он поганой метлой

прогонит меня. Посему молю вас завтра ничего не писать, дабы не испортить нашей шутки, хотя испытанных мною удовольствий у меня уже не отнять: прекрасных яств, мягчайшего ложа и тому подобного, так что за последние три дня я чувствовал себя помолодевшим».[81]

В остальном дела шли не так уж хорошо. Проповедник Il Rovaio, как оказалось, не желает ехать во Флоренцию, недовольный тем, что город так и не смог обязать местных жриц любви носить определенный тип одежды, да и опасаясь того, что, ежели он станет проповедовать не то, чего от него ждут, его отправят на галеры, как это некогда произошло с «отцом Анджелико» (известным самозванцем). Генеральный капитул не спешил принимать решение о создании флорентийской провинции, и Макиавелли забеспокоился, как бы эту неудачу не поставили ему в вину. Но зато ему удалось разузнать кое-что об ордене францисканцев: «Теперь, взявшись описывать безмолвие, я смогу сказать: «Тише монашеской трапезы»». Примерно 20 мая он описал кардиналу Джулио сложившуюся ситуацию, утверждая, что монахи запросили дополнительные письма касательно провинции от Комиссии Восьми (Otto di Pratica) и самого кардинала. Он не преминул похвалить работу Санти: в знак благодарности за то, что нагло объедал Сигизмондо. А к тому времени Макиавелли отправился из Карпи в Модену под предлогом того, что его якобы сразил некий «недуг». На самом же деле его тянуло в общество Франческо Гвиччардини, в обществе монахов людей подобного интеллектуального уровня не было и быть не могло.

Глава 14
Непостоянство удачи

Всякий, знающий о своей удачливости, способен действовать с большей смелостью. И все же следует помнить, что удача не только переменчива со временем, но и зависима от разных обстоятельств. И потому мы иногда видим, как удачливый в одном бывает в другом неудачлив.

Франческо Гвиччардини

1 декабря 1521 года внезапно умер папа Лев X, и его кончина в значительной степени осложнила положение Медичи. Без папской поддержки позиция клана во Флоренции могла подвергнуться опасности, и 27 декабря кардинал Джулио вошел в конклав с твердым намерением стать понтификом. Он обнаружил, что на его пути встал не менее решительно настроенный кардинал Франческо Содерини, хоть и не претендовавший на папскую тиару, но готовый предпринять все, лишь бы не допустить на престол Джулиано. Хоть Содерини и не до конца использовал возможностями, которыми располагал, за него было то, что Лев X злоупотребил своим положением: чрезмерные траты, непомерное и вопиющее кумовство. В итоге 9 января 1522 года конклав неожиданно для всех избрал папой почти никому не известного кардинала, епископа Тортузского, Адриана Флоренса из Утрехта, который, взойдя на папский престол, решил оставить данное ему при рождении имя, став папой Адрианом VI.

В какой-то степени это избрание было выгодно Медичи, поскольку вновь избранный папа был тесно связан с лагерем Габсбургов и в свое время был вице-королем при Карле V в Испании. Правители Флоренции могли вздохнуть с облегчением, ибо настроенный профранцузски понтифик мог укрепить положение противников Медичи в городе. Однако в условиях войны Франции со Священной Римской империей, вновь вспыхнувшей на севере Италии, кардиналу Джулио следовало быть настороже, чтобы не оказаться застигнутым врасплох неожиданным поворотом событий на международной арене.

Смерть Льва X развязала руки тем, кто стремился изменить правящий режим во Флоренции, объединив Франциска I, его союзников в папской курии и недовольных правлением Медичи во Флоренции. Кардинал Джулио был буквально завален предложениями о конституционной реформе, и хотя был не прочь ввести ряд изменений, экстремизм отдельных предлагаемых ему идей беспокоил его. Оказавшись в затруднительном положении, Джулио прибегнул к хорошо известной тактике Медичи: выждать и обернуть события в свою выгоду. Долго ждать ему не пришлось. Кардинал Содерини активно планировал заговор с целью свержения Медичи при поддержке французов и в марте 1522 года вместе с кондотьером Ренцо ди Чери организовал военный поход на Флоренцию, рассчитывая на поддержку местных противников Медичи.

Чери дошел лишь до Сиены, намереваясь сначала восстановить в городе власть Петруччи, но его войско стало разбегаться из-за нехватки денег и провианта. 7 апреля армия империи нанесла французам сокрушительное поражение при Ла-Бикокке, причем решающую роль сыграло огнестрельное оружие. Франциск I был вынужден покинуть Ломбардию, а противники Медичи лишились главного военного союзника. Хуже того, флорентийцы пленили французского курьера и узнали от него о существовании заговора с целью устранения кардинала Джулио и восстановления республики.

Джулио, по-видимому, был ошарашен тем, что нити заговора вели в сады Ручеллаи и что все заговорщики оказались друзьями Макиавелли и теми, кто стремился восстановить «свободу» Флоренции по примерам из древней истории. Джакопо Нарди, один из членов кружка, действительно назвал Макиавелли в числе косвенно виновных в заговоре, поскольку именно он заронил идеи о заговоре в головы потенциальных бунтовщиков. «Они высоко ценили его труды, — писал Нарди, — посему Никколо можно считать отчасти виновным в помыслах и деяниях этих юношей». Другой член кружка, Филиппо де Нерли, соглашался с ним, но с важной оговоркой: «Они не были знакомы с тем, что Макиавелли изложил о заговорах в своих «Рассуждениях», в противном случае либо вообще ничего не стали бы замышлять, либо действовали бы куда осмотрительнее».

В своей книге Никколо предупреждал об опасности заговоров, считая их трудноосуществимыми и, кроме того, зачастую приводящими к непредсказуемым результатам. Так или иначе, Макиавелли не угодил в соучастники государственного преступления, хотя, если верить одному из заговорщиков, вопрос о его предполагаемом участии обсуждался, «но, поскольку он не

был другом этому славному роду [Медичи], ни беднякам, было решено, что его участие привлечет излишнее внимание». Это утверждение весьма любопытно, ибо подразумевало, что Никколо считали ярым противником режима, невзирая на все его попытки доказать свою лояльность ему. Тем не менее не следует принимать на веру это суждение, поскольку его высказавший пытался спасти свою шкуру и заодно втереться в доверие к Медичи. Несмотря на его солидные теоретические знания о республике, Макиавелли, как и большинство его сограждан, ставил почести и выгоду (honore et utile) выше идеологии.

Макиавелли, вероятно, почуял опасность еще годом ранее, когда получил письмо из Рима от Пьеро Содерини. Бывший гонфалоньер предложил Просперо Колонне взять Никколо к себе на службу в качестве старшего распорядителя с годовым жалованьем в 200 золотых дукатов и оплатой всех расходов, «что для вас, полагаю, куда лучше, чем оставаться там, где вы сейчас, и писать исторические книги за запечатанные флорины», — убеждал он Никколо. Хотя Содерини также предложил Макиавелли тайно уехать «и прибыть сюда, прежде чем люди во Флоренции поймут, что вы покинули город». Возможно, Макиавелли и прельстило высокое жалованье, но, скорее всего, он заподозрил неладное: Колонна не только оказался близким другом кардинала Содерини, но и был на ножах с Львом X (все изменилось в июне следующего года, когда папа назначил Колонну главнокомандующим своей армией). Принять такое приглашение означало бы свести на нет годы усилий, потраченных Никколо на попытки вернуть себе расположение Медичи, завоевав статус пешки в политических играх кардинала Содерини с весьма вероятным катастрофическим итогом.

Мудро поступил Макиавелли, отделавшись от Содерини и заговорщиков 1522 года, и последствия провалившегося заговора его не коснулись. Однако многие из его друзей вынуждены были бежать из города: Дзаноби Буондельмонти, Батиста делла Палла, Луиджи ди Пьеро Аламанни и другие, тогда как Джакопо да Диаччето и Луиджи ди Томмазо Аламанни сложили головы на плахе. Вместе с заговорщиками были похоронены и проекты конституционных реформ, кардинал Джулио отныне имел великолепный повод всячески оттягивать на неопределенный срок любое решение касательно изменений властных структур Флоренции. А Никколо оставалось лишь с печалью и смятением взирать, как распадается образовавшийся в садах Ручеллаи кружок, в течение шести лет являвшийся для него интеллектуальным стимулом. Вновь Содерини с присущей им политической безграмотностью несли ответственность за все

беды. Смерть Пьеро Содерини, последовавшая 13 июня 1522 года, и проклятие его семьи флорентийскими властями не принесли облегчения Макиавелли. И все же приведенная выше запоминающаяся эпитафия бывшему гонфалоньеру достаточно красноречиво говорит о его отношении к покойному Содерини.

Макиавелли впал в еще большее уныние в связи со смертью своего брата Тотто, ставшего одной из многочисленных жертв эпидемии чумы, свирепствовавшей в тот год во Флоренции. 8 июня Никколо получил письмо от гонфалоньера Роберто Пуччи, в котором тот сообщал, что Тотто при смерти и что он возьмет на себя заботы о приходе младшего Макиавелли. Никколо добивался, чтобы его брат занял какой-либо пост в церковной иерархии, и не без труда ему удалось выбить для Тотто один из приходов неподалеку от Сан-Кашано, находившихся под патронатом его семьи. Дело в том, что один из этих приходов присвоил себе один священник. Так продолжалось до тех пор, пока Аодовико, второй сын Никколо, три года спустя пригрозил, что лично возьмется за этого нечестивца священника. К тому времени Аодовико уже приобрел репутацию вспыльчивого человека, не гнушавшегося и насилием, но Макиавелли куда больше заботили иные аспекты его поведения. Возможно, сам Никколо и был бабником и даже развратником, но никогда не переходил определенных границ приличия. Он сетовал Франческо Веттори на поведение своего сына и в ответ получил любопытное послание:

«На Виа Сан-Галло, неподалеку от городских ворот, есть монастырь, известный как обитель Святого Климента. Франческо [дель Неро], будучи человеком благочестивым, стал весьма дружен с монахинями, и с тех пор, как чума поразила окрестности, он часто говорил им, что владеет поместьем — не припомню, в Патерно или Вилламанье, — куда самые молодые из них без труда могли бы уехать, дабы избегнуть близившейся эпидемии. Чума стала столь смертоносной, что пятнадцать монахинь, припомнив обещание дель Неро, отправились в его поместье. Получив ключи из рук его посыльного, они принялись молоть зерно, попивать вино и пользоваться мебелью и прочей утварью, как своей собственностью. Отдав ключи монахиням, посыльный возвратился во Флоренцию, где случайно на правительственной площади повстречал Франческо и поведал о том, что произошло. Едва услышав сей рассказ, дель Неро бросился за своим братом Агостино — можете себе представить, как он мчал, а за спиной у него трепетал плащ, — неустанно силясь до него докричаться. Догнав брата, он повелел ему запрячь в повозку шестерку лошадей, ехать в имение, а затем

выгнать монахинь, если придется, то и силой, и отправить их обратно в монастырь на лошадях. Брат повиновался и выдворил монахинь, преодолев их хилое сопротивление, и эта история «дошла до Небес». А посему, что же удивительного в желании его племянника Лодовико назначить своего исповедника, когда он вдохновлен, если не этим примером, то своим отцом Энеем или, по крайней мере, дядей Гектором?[82] Но мы в преклонном возрасте стали с лишком робкими и прихотливыми, позабыв о деяниях молодости».

Ответ, написанный Веттори на изящной латыни, в сущности, представляет собой череду шуток.[83] Под «монахинями» подразумеваются дамы, чье расположение можно было купить за деньги, причем самые красивые во Флоренции, не раз одаривавшие милостью важных персон города, в том числе дель Неро и Филиппо Строцци. Нет нужды говорить, что «исповедником» Лодовико Макиавелли оказался юноша, и Веттори насмехался над тем, что, вполне возможно, он взял с собой и его, чтобы «избавить от мора». Куда сильнее связи Лодовико с этим «эфебом» Никколо беспокоило то, что его собственный сын спал со своей любовницей в загородном доме семейства. Кроме того, вполне можно предположить, что, упоминая о том, «что мы творили в молодости», Веттори пытается утешить его, действуя по принципу известной пословицы «Горе на двоих — полгоря» (Mali Сотипе, mezzo gaudio). Так или иначе, правила приличия требовали, чтобы внебрачный секс происходил вне стен дома или даже вообще за пределами города (extra moenia), и, отругав сына за такое поведение, Макиавелли, видимо, проявил свойственную среднему классу озабоченность своим добрым именем (bella figura), чего вряд ли можно было ожидать от человека, чье поведение в схожей ситуации могло бы показаться весьма возмутительным.

С годами Макиавелли стал гораздо консервативнее, суровая школа жизни и нужда превратили некогда весьма словоохотливого и откровенного секретаря в осторожного и даже коварного субъекта. Его постоянно заботили дела финансовые, и он неоднократно обращался к Франческо дель Неро с просьбой, используя свои связи, выжать из Пизанского университета большее жалованье. В конце концов, именно благодаря связям с Медичи жалованье Макиавелли удвоилось. И 27 июля 1525 года дель Неро написал ему: «Ваше счастье преумножилось», добавив, что вместе с сотней золотых дукатов, полученных, дабы продолжить «Историю Флоренции», он, наконец, сможет вложить деньги в приданого своей дочери Бартоломеи (Баччины).

Упомянутое дель Неро «счастье» было обусловлено

переменами, произошедшими как во Флоренции, так и в Риме.

14 сентября 1523 года, к великой радости римлян, скончался папа Адриан VI, этого строгого, аскетичного голландца в Риме не любили. Кардинал Джулио де Медичи умело разыграл карты в ходе последующего конклава и, воспользовавшись враждой между различными членами коллегии кардиналов и переманив на свою сторону некоторых своих врагов, сумел убедить кардинала Колонну проголосовать за него, пообещав, что помилует Франческо Содерини, которого папа Адриан заточил в замок Сан-Анджело, обнаружив его причастность к еще одному заговору. 18 ноября Джулио получил папскую тиару, взяв имя Климента VII.

Для флорентийцев его избрание, хоть и было с восторгом принято сторонниками Медичи, означало возврат ко временам Горо Гери. Вновь избранный папа отправил кардинала Сильвио Пассерини управлять городом — якобы для поддержки молодых и не наделенных соответствующими правами Ипполито и Алессандро де Медичи. Как и Гери, Пассерини был родом из Кортоны, одного из подчиненных Флоренции городов, и его присутствие могло лишь отвратить гордых флорентийцев. Предчувствуя недоброе, ярые сторонники Медичи, такие как Франческо Веттори, Лоренцо Строцци, Роберто Акциайоли и Джакопо Сальвиати, умоляли Климента позволить флорентийцам самим решать дела родного города до достижения Ипполито и Алессандро совершеннолетия и обретения необходимого опыта для управления делами города. Папа тут же проявил один из признаков тревоги: нерешительность. Он полагал, что время — главный его союзник, и обдумывал решения бесконечно долго, перед тем как принять их. Это был человек искренне верующий, благочестивый, в отличие от своего кузена Льва X, но тем не менее ему недоставало политического чутья своего предшественника и умения быстро принимать решения в случае необходимости.

Насколько Никколо стал осмотрителен в своих пристрастиях при вступлении в отношения с кем бы то ни было, настолько он не проявлял признаков нерешительности в моменты, когда был движим стремлением к действию. Теперь, когда на папском престоле вновь воцарился представитель рода Медичи, Макиавелли возлагал большие надежды на свое будущее и принялся тщательно отшлифовывать все то, о чем писал в трактате «История Флоренции», горя желанием лично вручить свой труд понтифику. Часть его друзей не разделяла подобного воодушевления. В марте 1524 года вечно подозрительный Франческо Веттори в письме Франческо дель Неро признавался, что хотя и верил в то, что папа примет Никколо и его книгу

благожелательно и, возможно даже, прочтет пару отрывков, Макиавелли рискует покинуть Рим «с меньшей суммой в кошельке, чем по прибытии» туда. Климент не был склонен раздавать направо и налево денежные вознаграждения, и его образ жизни на самом деле отличался умеренностью. Макиавелли, напротив, любил изысканные яства, веселую компанию и красивых женщин. Он стал частым гостем в доме одного нувориша: некоего Якопо Фальконетти, прозванного Форначайо (il Fomaciaio), что означало «кирпичник», поскольку он владел фабрикой по обжигу кирпичей. Фальконетти входил в состав Совета Двенадцати Добрых Мужей, однако по непонятной причине был отстранен от должности и находился под домашним арестом у себя дома, неподалеку от ворот Порта Сан-Фредиано. Он наслаждался обществом привилегированных особ, в том числе интеллектуалов и художников, оказывая им весьма щедрое гостеприимство: как однажды заметил Роберто Ридольфи, во Флоренции «предубеждение проглатывают вместе с закуской».

Так или иначе, Макиавелли никогда не отказывался от возможности досыта наесться задарма, и поскольку дом Форначайо располагался примерно в пятнадцати — двадцати минутах ходьбы от его собственного, он зачастую забегал провести время в обществе Фальконетти и его друзей. Но не только еда и роскошь привлекали Макиавелли. Щедростью Форначайо пользовалась и молодая вдова, некая Барбара (или Барбера) Раффакани, красавица и талантливая певица и актриса. Никколо мгновенно очаровался ею и, похоже, влюбился по уши. Франческо Веттори считал такой оборот только на пользу Никколо, полагая, что это отвлечет Макиавелли от попыток снискать расположение папы в Риме. В письме Франческо дель Неро он просил его передать Никколо: «Полагаю, что временами гораздо лучше обедать с Барберой за счет Форначайо, чем проводить обеденные часы здесь [в Риме], стоя у двери, которая даже после долгого ожидания так и не откроется».

Однако другие придерживались иного мнения. 1 марта 1525 года обеспокоенный Филиппо дель Нерли писал Франческо дель Неро о том, что стали циркулировать слухи о любовных похождениях Макиавелли; Филиппо считал, что почтенному отцу семейства, каким был Никколо, отнюдь не к лицу путаться с особой вроде Барберы: «Нет ничего хуже, чем седина в бороду, да бес в ребро» (Non ce cosa peggiore che In membra Vecchie II pizzico d'amore), как выражались флорентийцы. Кое-кто считал это следствием характера Макиавелли. Летом 1525 года Франческо Гвиччардини попросил Макиавелли проинспектировать недавно приобретенную им недвижимость. Об одной вилле в Финоккието

(il Finocchieto) Никколо составил довольно мрачный отчет, сравнив здание с подземельем, расположившимся словно посреди аравийской пустыни, предложив Гвиччардини продать его после косметического ремонта. 7 августа 1525 года несколько раздраженный, но все же отнюдь не недовольный Франческо прислал Макиавелли длинное письмо, будто написанное самим зданием в Финоккието, причем от лица женщины. Так он и дал Никколо и язвительный, и в то же время вполне серьезный совет касательно его любовной истории.

«Дом» начинает с того, что дает отповедь Макиавелли за его недобрый отзыв, полагая, что тот ошибся: «Я не могу гневаться на причины твоих заблуждений, виной которым женщина и только она; причем явно аморальная». Затем Гвиччардини переходит к сути дела: «Ты путаешься со своей Барбарой, которая, как и другие, ей подобные, старается нравиться всем и стремится казаться, но не быть», тогда как самому Макиавелли, «столько читавшему и написавшему и столько повидавшему в жизни», следует остерегаться женщины, которая «живет со всеми подряд и не любит никого», вместо того чтобы подумать о добродетельности и надлежащих манерах. Далее «дом» принимается нахваливать то, что Макиавелли в нем недооценил, поскольку она[84] нравится другим за свою «строгость и суровость», подобно ее хозяину, способному разглядеть то, что скрыто за внешностью.

Завершается письмо прощальным уколом: «Теперь ты видишь, Макиавелли, какой я заслуживаю похвалы и сколь следует мной дорожить, по той самой причине, которая тебе так не по нраву; учись в другой раз меньше доверяться себе и зрело поразмыслить о некоторых вещах прежде, чем о них судить, ибо многое можно простить другим, но не человеку твоего ума и опыта». Одним ударом Гвиччардини сумел поразить и одержимость Никколо Барберой, и его склонность осуждать других: считая себя, по-видимому, вправе судить обо всем и обо всех, Никколо тем не менее был склонен идти на поводу своих чувств и чужих мнений, вычитанных из книг, не говоря уже о склонности подпадать под влияние могущества, богатства и внешности других.

Макиавелли усмотрел все три перечисленных качества в Форначайо, который не только ценил талант Никколо, но и обладал необходимыми финансами, чтобы выступать в роли мецената. Осенью 1524 года еще один денежный мешок, Бернардо ди Джордано, организовал постановку «Мандрагоры» у себя в доме, наняв декораторами маститых художников: Андреа дель Сарто и Бастиано да Сангалло. Желая соперничать с ним по части расточительства и роскоши, Форначайо попросил Макиавелли

написать пьесу для постановки ее на вечере, который он собирался устроить 13 января 1525 года в ознаменование истечения срока своего домашнего ареста. Никколо рьяно взялся за дело, вероятно подгоняемый желанием угодить Барбере, и к назначенной дате сумел завершить свою третью по счету известную комедию «Клиция», созданную по мотивам пьесы Плавта «Касина», но действие которой (как и «Мандрагоры») перенесено во Флоренцию XVI века.

Постановка с декорациями Бастиано да Сангалло и музыкой Филиппе Вердело, прежде сочинявшего мадригалы, стала заметным событием, имевшим огромный успех (если верить Джаннотти, даже невзирая на буйное проявление чувств отдельных представителей флорентийской молодежи). Огромная толпа зрителей, состоящая из людей всех социальных слоев, включая Ипполито и Алессандро де Медичи, стоя аплодировали после завершения спектакля. 22 февраля Филиппо де Нерли, находившийся в тот момент в Модене, писал Макиавелли, что молва об успехе его комедии распространилась повсюду. Он попросил прислать ему экземпляр текста пьесы, но Макиавелли, как обычно, запамятовал. «Клиция» значительно отличается от «Мандрагоры», хотя обе пьесы имеют и общие черты. И в «Клиции», и в «Мандрагоре» речь идет о похоти и обмане, однако «Клиция» несет в себе мораль, которой нет в ранней пьесе. Сюжет весьма незамысловат, даже откровенно прямолинеен. Старик Никомако влюбился в свою молодую протеже Клицию и намерен выдать ее замуж на своего слугу Пирро, чтобы получить возможность спать с ней. Его жена Софрония после недолгих пререканий уступает его желанию, но затем, устроив фиктивную свадьбу, подсовывает в альков Клиции другого слугу, Сиро, который потом награждает ее незадачливого супруга тумаками. Наутро побитый и униженный Никомако полностью исцеляется — избавляется от страсти, осознав, что, если бы о случившемся узнали, это подорвало бы его репутацию и социальный статус во Флоренции. Клиция теперь была вправе выйти замуж за его сына Клеандро, также воспылавшего страстью к девушке. Никомако — плохо скрытая пародия на самого Макиавелли, что чувствуется уже по имени главного героя (Ник[кол]о-Мак[иавелли]-о), тогда как под маской долготерпеливой и сметливой Софронии скрывается Мариетта Корсини. С характерной для флорентийцев самоиронией Никколо смеется над собственной старческой влюбленностью, щелкнув по носу тех, кто ее порицал. Однако он прекрасно понимал, что без должного благоразумия и осторожности подобные эскапады опасны. В отличие от благополучно завершившегося адюльтера в «Мандрагоре», точно

рассчитанная супружеская измена в «Клиции» чревата подрывом семейных и общественных моральных устоев. В обеих пьесах жертвами стали два старых глупца, охваченные буйной страстью, — Нича пожелал заставить жену родить ему ребенка, а Никомако вожделел тела Клиции, — в результате чего оба не проявили необходимой «политической» смекалки, чтобы избежать обмана. В этом смысле «Клиция» отражает убежденность Макиавелли в том, что, доверив власть в доме, равно как и в государстве, неумехам, лишенным чувства гражданской этики, можно привести его к катастрофе.

Успех «Клиции» наверняка укрепил репутацию Макиавелли, поскольку, когда он поинтересовался у Франческо Веттори относительно возможности представить свой исторический трактат лично папе, Веттори ответил, что Климент как-то сказал ему: «Пусть приходит, и я полагаю, что его книга окажется приятной и занимательной». Однако Веттори со свойственной ему осмотрительностью предупредил Макиавелли не слишком тешить себя надеждами на финансовое вознаграждение, «если только вы не останетесь совсем без гроша», поскольку текущая политическая ситуация «не благоприятствует ни чтению, ни одариванию».

Действительно, для Климента времена настали мрачные. Чтобы воспрепятствовать продвижению войск империи в Италию, он заключил союз с Франциском I, однако 24 февраля французы были наголову разбиты при Павии, а сам король Франции угодил в плен к Карлу V. Папа второпях заключил союз с императором, дав согласие оборонять герцогство Миланское, которым теперь вновь правил один из представителей семьи Сфорца. Взамен Карл обязался защитить владения церкви и правление Медичи во Флоренции. Ко всему иному и прочему император запросил и 100 тысяч дукатов. Чтобы наскрести необходимую сумму, безденежному Клименту вновь пришлось доить флорентийскую «корову». Во Флоренции обременительные налоги вкупе с ненавистью народа к кардиналу Пассерини грозили превратиться во взрывоопасную смесь.

Карл не рвался честно исполнить свою часть сделки. Один из пунктов соглашения вынуждал герцога Феррарского вернуть церкви Реджо, но на деле император уже договорился с Альфонсо д'Эсте о сохранении статус-кво и явно не собирался исполнять эту часть соглашения. Крайне обеспокоенный Климент решил отправить к Карлу послов во главе с кардиналом Джованни Сальвиати. Что весьма удивительно, его отец Джакопо тогда предложил на должность секретаря делегации Никколо Макиавелли. Хотя Климент был категорически против,

предложение Джакопо было знаменательным. Вместе с такими личностями, как Роберто Акциайоли и Лоренцо Строцци, Джакопо составлял то, что можно назвать «конституционным» крылом фракции Медичи, то есть он был на стороне тех, кто, смирившись с гегемонией Медичи во Флоренции, тем не менее стремились к тому, чтобы их правление осуществлялось в границах традиционной флорентийской конституции, и поэтому решение папы править городом через доверенного посредника кардинала Пассерини было им явно не по душе. К этому времени Макиавелли уже пользовался репутацией человека лояльного Медичи, но вместе с тем не скрывавшего своего умеренного республиканизма. Предложение Джакопо представляется попыткой ввести Макиавелли в сферу покровительства семейства Сальвиати и, таким образом, превратить его в полезного союзника в политической борьбе за создание более приемлемой формы правления во Флоренции. Кроме того, никто не ставил под сомнение дипломатический опыт Никколо, что нашло подтверждение в меморандуме, составленном им чуть раньше и представленном Рафаэлло Джиролами накануне отъезда последнего в Испанию в статусе посла.

Этот документ сам по себе весьма любопытен, поскольку представляет собой квинтэссенцию практического опыта Никколо и в то же время сочетание реального и желаемого. Его рекомендации, несомненно, попали в точку. Он разъяснил Джиролами, как послу надлежит вести себя, как собирать сведения, как высказывать желания своего правительства и как составлять отчеты о работе. Никколо намекнул Джиролами, что, дескать, тот должен использовать любые возможности для сбора необходимых сведений, в том числе и развлечения. В принципе Макиавелли был прав, и все это понимали, однако флорентийское правительство снискало недобрую славу скупердяев, и лишь люди обеспеченные могли позволить себе устраивать обеды и ужины, куда приглашались полезные люди. Но, даже будучи не из бедных, Франческо Веттори видел мало проку в этом, считая неофициальные беседы со знакомыми дипломатами куда менее обременительными для кошелька и куда более полезными.

Макиавелли, вероятно, не знал о том, что происходило у него за спиной при дворе понтифика, впрочем, его больше заботило в тот период другое. В конце мая он отправился в Рим представить свою «Историю Флоренции» Клименту VII, который теперь пребывал в несколько более приподнятом расположении духа, несмотря на трения с императором. Должно быть, книга произвела впечатление на папу, ибо он пожаловал Никколо 120

золотых дукатов из личного кошелька. Но этим дело не ограничилось: Никколо также получил и более значительную награду, отправившись из Рима в Фаэнцу с папским письмом в кармане, адресованным местному правителю, которым был не кто иной, как Франческо Гвиччардини. Франческо были даны указания выслушать Макиавелли и высказать свое мнение по изложенному послом вопросу.

Тема обсуждения оказалась как раз любимым коньком Никколо: сбор и обучение ополчения в Романье для обороны папских владений. Не исключено, что идею папе подал сам Макиавелли, однако не стоит забывать и о том, что его труд «О военном искусстве» создал ему репутацию эксперта в военном деле. В любом случае Клименту VII ничего не стоило изучить возможность создания дешевого войска. Гвиччардини внимательно выслушал посланника понтифика, но категорически отверг идею. Чисто теоретически набор людей в ополчение особого труда не представлял, что же касалось практических аспектов, то, по мнению правителя Фаэнцы, они вряд ли позволили бы успешно применить подобный план. Народ Романьи бедствовал и был политически разрознен, неуправляем, неблагонадежен и враждебен правительству. Куда лучше было бы, если бы вместо этого папа рассмотрел возможность ослабления налогового бремени для этого региона. Климент принял во внимание просьбу, потому что в письме Макиавелли от 6 июля папский секретарь Джакопо Садолето сообщил ему, что папа «желает еще подумать». Но любой, кто знал характер понтифика, тут же понял бы, что подобный ответ означал отсрочку на неопределенное время.

Макиавелли, прождав в Фаэнце до 26 июля, под предлогом «срочных дел» вернулся во Флоренцию с пустыми руками — возможно, еще и задолжав кому-то, поскольку в Фаэнце связался с куртизанкой по прозвищу Марискотта (La Mariscotta), которая, как писал ему Гвиччардини, «была весьма высокого мнения о Ваших манерах и Вашем обществе». Ненасытный взор никогда не позволял Никколо сосредоточить внимание лишь на одной женщине, будь то жена, возлюбленная или дама полусвета.

Осмотрев поместье Гвиччардини, Макиавелли снова отправился в путь, на сей раз в Венецию, от имени и по поручению гильдии шерстянщиков для возвращения собственности флорентийских купцов, незаконно захваченной одним венецианцем. По прибытии он встретился с папским нунцием Лудовико Каносса, который позже писал Франческо Веттори: «Я предложил ему помощь, умоляя воспользоваться ею. Но больше я его не видел: полагаю, мой совет оказался несколько

иным, нежели Ваш, и он решил не прибегать к моей помощи, предпочитая действовать по собственному разумению».

Неизвестно, справился ли Макиавелли со своей миссией, но зато до нас дошли сведения о том, что как раз тогда он предавался азартным играм и, как поговаривали, удача сопутствовала ему, хотя полностью верить этому не стоит, ибо 6 сентября Филиппо де Нерли писал ему из Флоренции, поздравляя с выигрышем в «две или три тысячи дукатов», умоляя Никколо никому об этой удаче не сообщать — ни друзьям, ни родственникам, ни любимым. Нерли сообщил ему и одну весьма приятную весть: Макиавелли получил право занимать государственные должности и еще о том, что назначение на пост весьма вероятно, поскольку выборщики решили пренебречь ограничениями (divieto), распространявшимися на Никколо. С изрядной долей злорадства Филиппо заметил, что такой благосклонностью судьбы он обязан, скорее всего, «варварам» (возможно, намекая на влияние Барберы) или «иным вашим благожелателям». И все же Нерли предостерег Макиавелли не пренебрегать друзьями, иначе Фортуна вновь отвернется от него, а если о его крупном выигрыше в лотерею станет известно, ему никак не обойтись без поддержки влиятельных людей, хотя бы ради возможности скостить налоги, которыми облагались выигранные суммы.

Сомнительно, чтобы Никколо на самом деле выиграл или вообще держал в руках столько денег, хотя, если он и выиграл, у него наверняка хватило бы рассудка не вопить об этом на каждом углу. Однако опасения Нерли были более чем просто дружеским советом, ибо он не скрывал сожаления, что Никколо в отъезде: «Теперь вы далеко, и здесь нет ни игры, ни посиделок в тавернах, ни прочих шалостей… Без вас ведь некому собрать нашу братию». Куда больше его интеллектуальных трудов о политике или даже сатирических сочинений, друзья ценили в Макиавелли его умение радоваться жизни.

Вернувшись во Флоренцию, Никколо продолжил переписку с Гвиччардини, обсуждая с ним политические вопросы, язык «Мандрагоры», будущие свадьбы — все с немалой долей юмора. Гвиччардини собирался поставить «Мандрагору» в Фаэнце, и Никколо обсуждал этот вопрос с Аодовико Аламанни и Барберой. Он даже подумывал переработать часть текста, адаптировать пьесу для постановки в Фаэнце. Аламанни предложил Барбере и ее труппе остановиться у его друзей, но Никколо, напротив, посоветовал Гвиччардини поместить ее в мужской монастырь. «И если они [братья монахи] не лишатся разума, — добавил он, — платы с них я не возьму». В конце концов, «по скудоумию»

местной публики вместо «Мандрагоры» была поставлена другая пьеса, хотя Гвиччардини просил Макиавелли набросать новое сочинение и прибыть в Фаэнцу для его постановки, «ибо я ни за что не ввязался бы в это, заведомо зная, что вы не приедете». Уныние Франческо объяснялось еще и царившей в Италии обстановкой и нерешительностью папы: «Ибо я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь с приближением непогоды не искал себе убежища, кроме нас самих, кого непогода застигает прямо посреди дороги».

Вполне возможно, что даже такой прозорливец, как Гвиччардини, и тот не мог предвидеть грядущей бури над Италией.

Глава 15
Упущенные возможности

Вам известно, сколько было упущено возможностей. Не упускайте и эту. Не доверяйтесь больше выжиданию, не полагайтесь на фортуну и время, ибо со временем не всегда происходит одно и то же, и фортуна не всегда одна и та же.

Никколо Макиавелли — Франческо Гвиччардини

Письмо Франческо Гвиччардини об отмене постановки «Мандрагоры» не сразу попало к Макиавелли, который 3 января 1526 года все еще тревожился о том, что «какие-то любовники» Барберы попытаются отговорить ее от поездки в Фаэнцу и как ее все же соблазнить ехать туда за соответствующее вознаграждение. Никколо, должно быть, разочаровало решение Гвиччардини потребовать от него сочинить и переложить на музыку пять песен для исполнения между актами. Однако, если Фаэнца отказалась от постановки пьесы, Венеция как раз согласилась. 28 февраля Джованни Манетти написал Макиавелли из венецианской лагуны, что «Мандрагора» была весьма тепло встречена зрителями и с легкостью обогнала итальянскую версию пьесы Плавта «Два Менехма», «эту прекрасную комедию древности с отличными актерами, которая в сравнении с Вашим творением оказалась сущей мертвечиной». Успех был столь велик, что Манетти просил Никколо прислать ему что-нибудь еще, «уже написанное или задуманное Вами», для постановки на венецианской сцене в мае следующего года.

Снискав репутацию прекрасного драматурга, Никколо вновь обратил пристальное внимание на международную политику. В Франческо Гвиччардини он обрел достойного интеллектуального оппонента, схожего в чем-то с Франческо Веттори, но обладавшего куда большими политическими связями. Против воли отца — старший Гвиччардини противился желанию сына жениться на даме из более привилегированного рода и к тому же без крупного приданого — он взял в жены одну из дочерей Аламанно Сальвиати, тем самым войдя в избранную группу противников Пьеро Содерини, и к возвращению Медичи сумел

сделать стремительную карьеру при дворе понтифика. Франческо, по образованию законовед, обладал острым критическим умом, который шел рука об руку с граничившей с безжалостностью решимостью. Будучи правителем Модены, он жестоко подавил заговор, не погнушавшись пытками, изгнанием и казнями виновных. Однако Гвиччардини обладал озорным и поистине флорентийским чувством юмора, а также даром разбираться в людях и ситуациях. Франческо и Никколо происходили из одной и той же культурной среды (Гвиччардини был учеником прославленного гуманиста Марсилио Фичино), обоих отличала любовь к истории и живой интерес к искусству государственного правления. Однако в отличие от Никколо, который прежде всего был теоретиком, Франческо подходил к политике чисто практически и, кроме того, был наделен способностью непременно доводить начатое до конца, которой явно недоставало Макиавелли. Раз за разом несгибаемая логика Франческо разрушала воздушные замки Никколо. И все же он отдавал должное способностям и опыту Макиавелли. Более того, он оказался для него надежным другом, который без долгих колебаний решил поднять Никколо на более высокий уровень политики. И на самом деле деятельность Макиавелли за последние два года все теснее связывалась с деятельностью Гвиччардини.

В середине января 1526 года Карл V и плененный король Франциск I подписали Мадридский мир, согласно которому в обмен на его освобождение король Франции официально отказывался от своих притязаний на Милан, Неаполь и Бургундию, а также соглашался помиловать и полностью реабилитировать Карла, герцога Бургундского, вернув ему право на конфискованные земли (коннетабль Франции и правитель Милана Шарль де Бурбон повздорил с королем из-за наследства и территориальных притязаний). Весть о мирном договоре застала многих врасплох, в том числе и Макиавелли. Но Гвиччардини предсказывал Никколо, что Карл никогда не освободит Франциска I, и, даже узнав о соглашении Франции с империей, он непреклонно верил в то, что император никогда не освободит короля, но, правда, тут же добавлял, что если такое и произойдет, стало быть, Карл поступит крайне опрометчиво. В любом случае Франциску придется придерживаться условий договора из боязни лишиться королевства, как он уже лишился Италии. И теперь итальянцам вновь пришлось самим бороться за свою независимость — при возможном содействии французов, — и тут Никколо предложил свой генеральный план: папа должен ввести в игру Джованни де Медичи — отважного и талантливого

военачальника, вселявшего страх в испанцев. Таким образом, Климент VII получал возможность собрать достойную армию и, возможно, склонить французского монарха на свою сторону.

Макиавелли изложил свои соображения в письме Филиппо Строцци, который 26 апреля ответил, что дал прочесть письмо Никколо папе. Но Климент VII возражал против использования Джованни на том основании, что раз Франциск I на свободе, то он обязательно будет соблюдать соглашение. Более того, Джованни не мог бы собрать армию, не располагая соответствующими средствами, а как только понтифик предоставил бы ему их, все сразу же разгадали бы их хитрость — Медичи оказались бы на службе у Франции, а финансировать его было равнозначно объявлению войны императору. Климент имел веские основания, чтобы действовать осмотрительно, поскольку несколькими месяцами ранее герцог Милана Франческо Сфорца попытался с помощью своего секретаря Джироламо Мороне (также пытавшегося убедить командующего армией империи Фернандо д'Авалоса, маркиза Пескары, переметнуться от Карла V к Франциску I), в результате чего Мороне был арестован, а испанцы заняли крепости Сфорца в Ломбардии. В связи с этим инцидентом Макиавелли сравнивал Сфорца с укрощенным соколом, заявив: «Теперь ему надели на голову кожаный колпачок, и та же участь ждет и остальных правителей [Италии]. Спасения нет: так было предрешено свыше». Примечательно, что Никколо добавил к своей подписи полушутливый титул «историк, трагик и комедиант». Макиавелли оказался прав насчет вскоре последовавшего наступления Габсбургов на Италию, хотя, учитывая его весьма скромный успех как политического аналитика, предсказание можно отнести скорее на счет стечения обстоятельств, нежели его проницательности. Его прогноз относительно освобождения Франциска оказался ошибочным, и еще более ошибочными были его предсказания того, сдержит ли король данное им слово, оказавшись на свободе. Едва успев пересечь границу Франции, Франциск I отверг Мадридский мир, заявив, что подписал его под давлением обстоятельств, и все это невзирая на факт, что в соответствии с условиями договора его сыновья оставались в качестве заложников в Испании. Узнав об этом, Климент VII увидел для себя возможность сыграть в старую игру Медичи «Разделяй и властвуй», и 22 мая Франция, Венеция, герцог Миланский, понтификат и — скрепя сердце — Флоренция объединились в так называемую Коньякскую Лигу с намерением изгнать Габсбургов из Италии. На бумаге пункты договора призывали восстановить статус-кво, существовавший до сражения при Павии, до освобождения французских принцев и до запрета

Карла V ступать на земли Италии с войсками, разве что со скромной свитой. В случае отказа императора принять эти условия союзники поклялись начать войну и изгнать его из Неаполитанского королевства.

Никто не питал иллюзий насчет того, что император примет столь унизительные условия, и Климент VII уже приступил к планированию нанесения удара по Габсбургу. 3 апреля Макиавелли получил письмо от Франческо Гвиччардини от имени папы, содержавшее указание отправиться вместе с знаменитым инженером, а тогда — военным архитектором Педро Наварро — бывшим специалистом по проведению осады, перебежчиком и пиратом — для осмотра крепостных стен Флоренции и подготовки к возможной осаде города. Выбор пал на Никколо, поскольку его считали знатоком военного дела: седьмая глава его трактата «О военном искусстве» отдельно посвящалась осадам городов — и, по общепринятому мнению, была лучшей во всей книге. Сыграла свою роль и поддержка Гвиччардини и Строцци, оба переговорили об этом с понтификом.

На следующий день Макиавелли ответил Гвиччардини, сообщив ему о беседах с кардиналом Пассерини касательно различных вариантов, предложенных Климентом VII для усиления обороны Флоренции. Никколо без промедления отбросил его предложение продолжить стену в южном направлении для прикрытия ею монастыря Сан-Миниато: для охраны этого участка потребовались бы многочисленные силы. Что же касалось второго предложения, сузить кольцо укреплений и снести целый квартал Санто-Спирито, Макиавелли считал, что это будет «сложно и непонятно». Иными словами, жители квартала, включая самых ярых сторонников Медичи, не потерпят, чтобы их жилища снесли. Вместо этого Никколо предложил компромиссный план: частично сократить, частично растянуть и частично снести укрепления на южном берегу Арно. Но он обещал дождаться прибытия Наварро и только потом передать для понтифика официальный отчет.

На следующий день Макиавелли вместе с инженером обошел стены Флоренции, подробно рассказав о полученных им данных. В сущности, Наварро предложил уменьшить высоту башен над городскими воротами, возвести редуты, снести небольшой участок стены от ворот Сан-Никколо до ворот Сан-Миниато. Их предложение было реалистичным и с военной, и с политической точек зрения: камень после перестройки башен можно было бы использовать для усиления крепостных стен, а подлежавший сносу квартал в те времена — впрочем, в известной степени и поныне — был населен простым людом, и посему Клименту VII

было особенно нечего опасаться. Несколько дней спустя Макиавелли отправился в Рим представить свои соображения лично папе и примерно к концу месяца вернулся во Флоренцию с весьма хорошими новостями для себя. 9 мая по приказу Климента VII Совет Ста постановил учредить новый орган — Коллегию Пяти по укреплению стен (Procuratori delleMura), секретарем которой стал Никколо.

В этом статусе он сумел добиться назначения своего сына Бернардо одним из его помощников, что было первым шагом юноши на пути, который впоследствии станет примером блестящей политической карьеры во властных структурах Флоренции. Макиавелли имел все основания считать этот день памятным: годы усилий, унижений, прошений, переписки, нужды и случайных заработков наконец-то принесли плоды. Сама должность не отличалась ни почетом, ни обилием полномочий, но обеспечивала Никколо право вновь переступать порог правительственного дворца в качестве государственного служащего, не подотчетного никому, кроме разве что папы. Франческо Гвиччардини напишет своему брату Луиджи следующее: «Тебе решать, относиться ли к нему подобающим образом, предоставляя все, что он затребует, поскольку он и вправду этого заслуживает».

Но каждую похвалу Макиавелли пришлось отрабатывать, поскольку иметь дело со столь нерешительным человеком, как Климент VII, было нелегко. 17 мая Никколо напишет Гвиччардини о том, что голова его «занята бастионами», подчеркнув, что задержки, с которыми ему пришлось столкнуться, заставили его задуматься над тем, на самом ли деле папа готов довериться его плану. Франческо ответил через несколько дней, заверив друга, что понтифик имеет все основания действовать согласно плану, что доказывается срочной заменой одного из членов Коллегии Пяти по укреплению стен, ибо у одного из них случился удар. И все же Макиавелли продолжали преследовать неудачи в немалой степени еще и потому, что Климент имел обыкновение изменять решение в зависимости от последнего данного ему кем-нибудь из доброхотов совета.

2 июня Николо вновь написал Гвиччардини, сетуя на то, что Папа передумал и вернулся к прежнему плану, согласно которому монастырь Сан-Миниато должен располагаться внутри стен крепости. Этот план Никколо считал затратным, непрактичным и просто неразумным. Однако в следующем послании того же дня он все же согласился, что включение монастыря в оборонительную систему Флоренции имеет и свои

положительные стороны: его легко смогут оборонять как союзники, так и (не дай Бог) неприятель: «Ибо если кто-нибудь, наделенный властью, явится во Флоренцию благодаря смуте, как в 1494 году король Франции, вас наверняка заставят прислуживать». Что любопытно, как в «Государе», так и в «Рассуждениях» Макиавелли выступал против крепостей как средства удержать город, однако реалии войны, судя по всему, заставили его пересмотреть свое мнение. И действительно, во время осады Флоренции 1529–1530 годов Сан-Миниато сыграл ключевую роль при обороне города, когда его превратил в бастион не кто иной, как Микеланджело Буонарроти. И на самом деле, хоть об этом нет никаких упоминаний в докладе Макиавелли, дошедшие до нас эскизы оборонительных сооружений Микеланджело могли навести на мысль, что он каким-то образом ознакомился с отчетом Наварро и Макиавелли о крепостных стенах Флоренции. (Между прочим, Никколо познакомился с Микеланджело, именно будучи секретарем Десятки.)

В письме Гвиччардини от 17 мая Никколо также яростно настаивал на том, что папа не должен трепетать перед императором или заключать с ним союзы, ибо другого лучшего момента остановить Карла V не представится. Никколо даже перефразировал Ливия в своей мольбе: «Освободите Италию от вечной тревоги, истребите этих свирепых зверей, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса».[85] Гвиччардини просил его не беспокоиться, потому что все шло своим чередом, хотя, если приходится иметь дело с таким количеством участников, разного рода задержки — дело обычное. И все же Франческо, как никто другой, сознавая все превратности политики, сомневался, что члены Лиги останутся верны своему слову: «Надеюсь, что все исполнят свой долг, пусть и не так скоро, как нам бы того хотелось, и у нас еще останется в запасе немного времени».

Задним числом Климент VII, вероятно, не стал бы отказываться от восстановления дружеских отношений с Карлом V. Император был готов заключить мир в обмен на 150 тысяч дукатов от папы и обещание от Франческо Сфорца выплачивать 4 тысячи дукатов в месяц Бурбону в обмен на герцогство Миланское. Однако Карл V приберег в рукаве и другие козыри, велев своим командующим в Италии тайно связаться с кардиналом Помпео Колонной — одним из тех, кто избрал на престол Климента VII, но всецело поддерживал империю и являлся наследником одного из самых воинственных родов в Италии, — на тот случай, если папа вдруг станет упорствовать.

Однако понтифик в кои-то веки был настроен весьма решительно, оставаясь верным избранному курсу, он объединил силы с венецианцами и вторгся в Ломбардию. Объединенная армия де-факто находилась под командованием Франческо Мария делла Ровере, к тому времени сумевшего вернуть себе герцогство Урбино, а также Франческо Гвиччардини, в генеральском звании, и Джованни де Медичи, стоявшего во главе папского войска.[86]

Делла Ровере был не самой лучшей кандидатурой на этот пост, поскольку превратился в весьма — некоторые считали, что даже чрезмерно, — нерешительного командующего. Он также затаил обиду на Медичи за то, как с ним обошелся Лев X. Нежелание Флоренции участвовать в этом походе отражалось и на низкой степени боевой выучки войск, и Макиавелли, следуя распоряжениям Комиссии Восьми, примерно в середине июня отправился на север для наведения хотя бы подобия порядка в войсках флорентийцев. Его взору предстала весьма удручающая картина: беспорядок и неспособность к принятию решений, которую он в деталях обрисовал в письме другу.

Гвиччардини был в бешенстве от нерешительности герцога Урбинского и в беседе с Роберто Акциайоли высказал сомнение в том, что Никколо в силу обстоятельств сумеет добиться существенного изменения статус-кво: «Макиавелли здесь. Он прибыл для укрепления воинской дисциплины, но, столкнувшись с их непослушанием и поняв, что ничего не изменить, впал в отчаяние. Посему остается, чтобы посмеяться над их огрехами, ибо он не в силах их исправить». Акциайоли на самом деле не верил, чтобы такому теоретику, как Макиавелли, удалось бы успешно решить чисто практические вопросы. «Я рад, что навести порядок в войсках поручили Макиавелли, — писал он, — и да поможет ему Бог завершить задуманное. Однако я сомневаюсь, что у него выйдет республика Платона, ведь до сих пор ему не удавалось ни создать ее, ни перестроить сообразно своим замыслам. Полагаю, было бы лучше, если бы он вернулся во Флоренцию и укреплял бы крепость, что в наступившие времена куда важнее». Все с этим согласились, потому что стало ясно, что Макиавелли был скорее мыслителем, нежели практиком. После вышеупомянутого случая, когда он наломал дров с армией Джованни де Медичи, полководец заметил: «Никколо умел хорошо писать и мог преуспеть на этом поприще».

Макиавелли был движим и личными мотивами. Уже давно не было вестей от Барберы, и это тревожило его куда сильнее разложения в войсках. Хотя он понимал, что она — дама развязная, более того, даже распущенная, ее безразличие к нему задевало Никколо. «Она доставляет мне больше беспокойств, чем

сам император», — писал он Гвиччардини несколькими месяцами ранее. Не в силах больше терпеть, Никколо в письме Джакопо Фальконетти описал свои тревоги и заботы. И Форначайо ответил 5 августа, сообщив, что встретился с Барберой, побеседовал с ней, устыдив ее за ее бессердечие. Певица пообещала писать и просила простить ее за долгое молчание, сославшись на длительное отсутствие и признав, что иногда намеренно пыталась его позлить, чтобы таким образом выяснить, действительно ли тот ее любит.

Даже если позабыть о муках любви, контакт с Барберой имел и чисто практическую сторону для Макиавелли, ибо только ей был известен ключ к особому шифру, используемому им в переписке с друзьями. Франческо Веттори также использовал его в письмах Макиавелли тем летом, передавая ему свежие вести о текущих событиях в стране и за ее пределами, среди прочего сообщив и о том, что объединенная армия Флоренции и понтифика была отброшена гораздо меньшими силами при попытке сменить власть в Сиене: «Ты знаешь, что не верю во вмешательство потусторонних сил, но это событие столь поразительно, если не сказать волшебно, в сравнении с любым другим, происходившим на войне с 1494 года; оно напоминает библейскую историю, когда охваченные ужасом воины бежали с поля битвы непонятно от чего». Веттори также предупреждал Макиавелли о том, что Лиге необходимо выиграть эту войну или хотя бы добиться ощутимых успехов до конца ноября, иначе «папа будет вынужден принять условия императора, а в том, что они окажутся жесткими, сомнений нет».

Но победа ускользнула от войск Лиги именно вследствие ее пассивности, нежели из-за успехов противника. Герцог Урбино снял осаду Милана и разбил лагерь у Кремоны, а в сентябре Гвиччардини, видя, что это не принесло никаких результатов, направил Макиавелли к делла Ровере, чтобы убедить того либо принять решительные меры, либо отправить войска на подмогу генуэзцам под командованием Андреа Дориа. Макиавелли мало чего добился и позже излил досаду в письме другу Бартоломео Кавальканти. 13 сентября на генеральном совете командующих войсками он решительно отстаивал проведение осады Кремоны и даже набросал план взятия города. Герцог и остальные военачальники наотрез отказались, и хотя Кремона спустя десять дней сдалась, с наступлением зимы ни о каком проведении новых широкомасштабных боевых действий и говорить не приходилось. Более того, громом среди ясного неба прозвучала весть из Рима о том, что трагические события вынудили папу согласиться на перемирие с императором.

Пока Франческо Мария делла Ровере пребывал в нерешительности, Карл V не сидел сложа руки. Кардинал Помпео Колонна удалился в свое имение неподалеку от Рима, тайно собрал силы и пригласил к себе дона Уго де Монкаду, одного из заслуживавших внимания командующих войсками императора в Италии. Климент VII, как обычно, находился во власти мрачных предчувствий касательно Лиги во многом потому, что вклад Франциска I в кампанию, похоже, был минимальным. Подавленное настроение папы не улучшилось, когда ко двору понтифика прибыл французский посол с требованием своего короля отчислить одну десятую часть церковных доходов в пользу Франции и даровать кардинальскую мантию для королевского канцлера Антуана Дюпра. Воспользовавшись моментом, Колонна захватил Ананьи, а после этого потребовал переговоров с Климентом VII. Перемирие было подписано 26 августа — папа обязался помиловать кардинала Помпео и гарантировать сохранение собственности его семье, в обмен на это Колонна пообещал покинуть Ананьи и вывести войска в Неаполитанское королевство.

Почувствовав себя в безопасности и невзирая на предостережения, Климент, движимый желанием сэкономить деньги, урезал численность римского гарнизона до немногим более пятисот человек. Именно этого и ждали кардинал Помпео и де Монкада: утром 20 сентября Колонна значительными силами атаковал Рим, предав Ватикан и другие районы разграблению, и на следующие два дня воцарился в Вечном городе. После этого он с добычей в размере около 300 тысяч дукатов вывел войска из Рима. Оказавшемуся в осаде в замке Святого Ангела с ничтожным провиантом Клименту ничего не оставалось, как согласиться на условия Монкады: заключить перемирие с императором сроком на четыре месяца, вывести войска из Ломбардии и объявить всеобщую амнистию для всех членов семьи Колонна. Вдобавок он должен был отдать в заложники Филиппо Строцци и одного из сыновей Джакопо Сальвиати в качестве гарантов соблюдения условий перемирия.

Едва весть об этом достигла лагеря союзных войск, как все стали спешно покидать театр боевых действий во главе с герцогом Урбино: армия императора, на несколько тысяч солдат превосходившая их, сосредоточилась у Больцано. Макиавелли задержался на несколько дней и за это время составил подробный анализ ситуации. По его мнению, главными виновниками провала были делла Ровере и понтифик. В особенности Климент VII, отказавшийся собирать средства тем же путем, что и его предшественники (то есть торгуя кардинальскими мантиями за

крупные суммы) и позволивший запереть себя в Риме, «как напроказившего ребенка». Печальный вывод Макиавелли состоял в том, что «все так перепуталось, что даже самому Христу не распутать».

По пути назад во Флоренцию Никколо несколько дней провел в Пьяченце с Франческо Гвиччардини, который отправил его в Борго-Сан-Доннино (ныне — Фиденца), неподалеку от Модены, с поручением, хотя в качестве уполномоченного Макиавелли предпочел бы следовать за идущей на выручку папе в Рим флорентийской армией (следует упомянуть, что понтифик не горел желанием выполнять условия Колонны и намеревался отомстить ему, как только настанет подходящий момент). Пребывание Никколо в Северной Италии означало, что впоследствии кому-то придется его заменить, о чем сильно сокрушался Климент VII, заявивший Гвиччардини, что, дескать, очень хотел бы, чтобы Макиавелли прибыл в Рим.

Однако Никколо предстояло завершить еще одно дело, а именно: чуточку опомниться от череды малоприятных событий. Когда-то в Сан-Доннино он повздорил с неким Филиччиафо из-за того, что постоянно обращался к нему как к podesta (то есть как к главе административной и судебной власти города), «отчего тот негодовал, полагая, что вы насмехались над ним, заведомо преуменьшая его ранг…», как 30 октября писал Макиавелли измотанный, но не утративший чувства юмора Гвиччардини. Пристрастие Никколо высмеивать дураков и пустозвонов вновь дало о себе знать, но эти люди были не из тех, кто способен воспринять поведение Никколо как шутку.

Сколь силен был гнев Филиччиафо, можно заключить из письма Макиавелли правителю Модены Филиппо де Нерли от 1 ноября. На Нерли, которому не следовало слишком удивляться поведению Макиавелли, обрушился весь гнев уполномоченного — ив известной степени гнев Гвиччардини. Филиппо просил Никколо выслать ему, как и было обещано, первые две части «Истории Флоренции». Он также просил передать привет «старичкам», и особенно Донато даль Карно, «который поступит как истинный аристократ, если зимой не пустит вас в свой магазин, чтобы вы не рассиживались у очага и не портили ему воздух».

Прежде чем вернуться во Флоренцию, Макиавелли завернул в Модену и оттуда написал Гвиччардини, чтобы тот утихомирил разбушевавшегося Филиччиафо. Он встретился и с Нерли, который приветствовал его словами: «Возможно ли такое, чтобы я хоть раз что-то сделал правильно?» Никколо был к этому готов и, смеясь, ответил:

«Милорд губернатор, не удивляйтесь, ибо виноваты во всем не вы, но нынешний год. Ибо никто не исполнил своих обязанностей должным образом, и все пошло вкривь и вкось. Император мог поступить и того хуже: отказаться посылать какую бы то ни было помощь, и поступил бы так с легкостью. Испанцы могли причинить нам немалое беспокойство, но не имели к тому возможности. Мы могли победить, но не имели к тому способности. Папа полагал, что росчерк его пера защитит его куда надежнее тысячи пехотинцев, и лишь сиенцы повели себя как подобает, а посему не следует удивляться, если в эти безумные времена лучше всех проявили себя безумцы.[87] Посему, милорд губернатор, было бы гораздо хуже, если бы вы не совершили ни единой ошибки».

Чуть успокоившись, Нерли ответил, что, если все обстоит именно так, он более не будет волноваться. Вскоре после этого обмена любезностями прибыл граф Гвидо Рангони — один из командующих папской армией, на которого Гвиччардини был неимоверно зол. Он осторожно осведомился, гневался ли на него папский наместник, на что Макиавелли насмешливо ответил: «Нет, ибо предмет его гнева исчез». Затем они вдвоем какое-то время обсуждали неважное настроение Гвиччардини, и Рангони напрямик заявил, что предпочел бы отправиться в изгнание в Египет, лишь бы не служить под его началом. Макиавелли стал на защиту Гвиччардини и в итоге сумел убедить всех, что от присутствия его друга на поле боя куда больше пользы, чем вреда. Гвиччардини не ошибся, доверившись Никколо.

Макиавелли вернулся во Флоренцию в начале ноября, но долго там не задержался. В конце месяца он получил задание от Комиссии Восьми отправиться в Модену и посоветоваться с Гвиччардини насчет того, как защитить Флоренцию в нынешних обстоятельствах. Флорентийские власти прекрасно понимали, что, как только соглашение между папой и императором истечет, им придется удерживать вражеские войска на севере Италии, если только те не решат наступать на Тоскану, что было вполне вероятно и наверняка возымело бы катастрофические последствия. Комиссия Восьми желала получить точную оценку военной ситуации и в особенности узнать, что намерены предпринять венецианцы, герцог Феррары, испанцы и все остальные. Особую озабоченность правительства вызывали тысячи германских солдат, известных как ландскнехты, стоявших лагерем в окрестностях городка Фиоренцуола-д'Арда под командованием грозного военачальника Георга фон Фрундсберга.[88]

Власти Флоренции имели серьезные основания для

беспокойства, поскольку венецианские шпионы выяснили, что Бурбоны намерены двинуться на юг и на Флоренцию где-то в конце декабря — в начале января. Единственной надежной силой, могущей противостоять войскам империи, были «Черные повязки» (BandeNere) Джованни де Медичи, судя по слухам, находившиеся на службе у Франции. К несчастью, Джованни Медичи умер 30 ноября от последствий ранения, полученного в стычке с имперскими войсками при попытке задержать их продвижение на юг. Несколькими днями ранее ландскнехты сумели переправиться через реку По благодаря предательству маркиза Мантуи, формально одного из союзников Климента, который был весьма рад дать кому-либо еще изведать вкус войны.

2 декабря Макиавелли представил Комиссии Восьми безрадостный отчет о сложившейся ситуации. Немцы двинулись на юг, и в любой момент могли объединить силы с шедшими из Милана испанцами. Герцог Урбино бездействовал, а венецианцам нельзя было доверять. Хотя Лига располагала на этом участке примерно 20 тысячами солдат, и если бы им как полагается заплатили и соответствующим образом организовали, можно было бы хоть чего-то добиться. Если же искать мирные пути, лучше всего было бы провести переговоры с доном Уго де Монкадой, незадолго до этого высадившимся неподалеку от Порто Санто-Стефано на юге Тосканы со значительной армией. В постскриптуме письма Никколо отметил смерть Джованни де Медичи, «чью кончину оплакивали все». В другом послании, отправленном на следующий день, Макиавелли сообщал правительству, что по некоторым признакам полагает, что герцог Феррары решил присоединиться к императору и что германцы направлялись к Пьяченце. Гвиччардини верхом поспешил туда, и Макиавелли изъявил намерение вернуться домой.

Резко осложнившаяся международная обстановка и ненастье иссушили его чувство юмора, тогда как бремя прожитых лет и выпавших на его долю испытаний сказывались на его здоровье. Еще раньше для улучшения пищеварения Никколо принимал пилюли из смеси алоэ, кардамона, шафрана, мирры, чистеца, бедренца и болюса. «Они вернули меня к жизни», — однажды написал он Гвиччардини, приложив к письму две дюжины пилюль, чтобы тот сам испробовал снадобье. «Принимайте по одной после ужина, — писал он, — если поможет, на том и остановитесь. Если же нет, принимайте по две, три, четыре, но не более пяти. Что же до меня, я ни разу не глотал больше двух, и лишь дважды в неделю, или же если чувствовал тяжесть в животе или в голове». Однако Макиавелли, по-видимому, усмотрел в этих пилюлях панацею, возможно, в связи с прогрессирующим

заболеванием кишечника, усугублявшимся вследствие его склонности к обильной еде. Возраст и недуги развили в Никколо созерцательность, чему способствовали и непростые политические задачи, которые он увлеченно распутывал и для которых так и не мог в тот момент отыскать верного решения.

Возможно, по возвращении во Флоренцию, во время Рождественского поста, Макиавелли и написал одно из наиболее противоречивых своих сочинений — по крайней мере, по мнению некоторых. Несомненно, «Слово увещательное к покаянию» (Esortazione alia Penitenza) занимает особое место среди прочих трудов Макиавелли, а его христианский посыл заставил многих ученых чесать затылки и делать самые различные заключения, исходя из собственных политических убеждений. Джулиано де Риччи, внук Никколо, утверждает, что Макиавелли принадлежал к нескольким религиозным братствам, члены которых посвящали себя молитвам и благим деяниям, что в целом было обычным явлением среди флорентийцев, которые в силу прирожденного индивидуализма и презрения к жульничеству никогда не обращали особого внимания на церковную жизнь. Управляющий совет неназванного братства попросил Макиавелли сочинить покаянную речь, и Никколо блестяще с этим справился.

Примеры, которые он приводит в доказательство милосердия Божьего, касались троекратного отречения святого Петра от Христа и прощения, дарованного раскаявшемуся Давиду, невзирая на его грехи прелюбодеяния и убийства. Может показаться странным, что склонный к сарказму автор «Мандрагоры» в одном из своих сочинений использует такие фразы, как «Помилуй меня, Боже» (MiserereremeiDominef,[89] хотя не следует слишком удивляться этому, учитывая, что флорентийцы могли одновременно проявлять и почтение, и пренебрежение как к Богу, так и к людям. И все же последняя фраза этого религиозного наставления раскрывает состояние души Макиавелли в тот период и едва ли не служит предчувствием неминуемой смерти: «Устыдимся же всех совершенных нами дурных деяний и покаемся, осознав в итоге, что все соблазны мира сна короче…» Никколо по-своему всегда был мечтателем: он представлял и теоретизировал идеальное государство, лучшую армию, свободу итальянских держав и идею о способности человека самому определить свою судьбу вопреки намерениям Фортуны. И теперь, после долгих лет утраченных иллюзий и разочарований, он очнулся.

Реальный мир напомнил о себе теоретику, когда войска империи на севере Италии ожидали срока истечения перемирия между Климентом VII и Карлом V. Понтифик подумывал

продлить соглашение даже ценой 200 тысяч дукатов, именно такую сумму потребовал вице-король Неаполя Шарль де Ааннуа. Узнав о победе папской армии при Фрозиноне над испанским экспедиционным корпусом, Климент, в очередной раз проявив непоследовательность, объявил, что он не станет выполнять столь жесткие условия. И все же переговоры о продлении перемирия продолжались, Ааннуа стремился вытянуть из понтифика как можно больше денег и, вероятно, усыпить его бдительность, внушив ему ложное ощущение уверенности, тогда как папа полагал, что время и непогода на его стороне. Многие очевидцы утверждали, что имперские силы уже не могли противостоять ненастью, недоеданию и хворям.

В начале февраля 1527 года немцы все еще находились близ Фиоренцуола-д'Арда, южнее Пьяченцы, а лагерь испанцев располагался к западу от них; на севере была развернута многонациональная армия численностью около 8 тысяч солдат, состоявшая в основном из итальянцев, многие из которых всего несколько месяцев назад служили под знаменами папы. Ненастье не позволяло им двигаться дальше, но тяготы пути вместе с хроническими невыплатами жалованья и нехваткой провианта создали взрывоопасную ситуацию. Вопреки обязательствам по перемирию солдаты безудержно грабили села. Герцог Урбино подобрался к имперскому войску на расстояние выстрела, но, проявив свойственное ему благоразумие, воздержался от каких-либо шагов. У него были все основания быть осторожным, поскольку герцог Феррары перешел на сторону Карла V, а маркизу Мантуи нельзя было доверять.

Действуя стратегически верно и перекрыв путь, соединявший Северную Италию с Южной, имперские войска могли нанести удар в любом направлении, которое сочли бы необходимым, однако большинство полагало, что в конце концов они двинутся либо на Флоренцию, либо на Рим.

3 февраля весьма озабоченная создавшимся положением Комиссия Восьми направила Макиавелли в Парму, чтобы убедить союзных военачальников выставить свои войска и тем самым воспрепятствовать продвижению сил империи. Никколо прибыл в Пьяченцу 7 февраля «в связи с действиями неприятеля» и без промедления проконсультировался с Гвиччардини и герцогом Урбино. Последний согласился с тем, что наступление имперской армии следует остановить, но в свойственной ему манере первый шаг делать не стал. Принимая во внимание неуступчивость делла Ровере, Макиавелли всю следующую неделю лишь информировал правительство об обстановке, сообщая о расположении врага, предполагая, в каком направлении тот может двинуться. И все-

таки Никколо не скрывал умеренного оптимизма, по крайней мере вначале, относительно возможного развития событий, приняв во внимание лишения, которые терпели войска империи:

«Что они предпримут, одному Богу ведомо, поскольку есть вероятность, что они и сами этого не знают. Если бы знали, то уже перешли бы к действию, объединив свои силы. Но некоторые полагают, wzo в таком положении им долго не продержаться, если только наша собственная нерасторопность не сыграет им на руку. И все присутствующие здесь знатоки военного дела полагают, что мы одолеем их, если только не отступим из-за нехватки денег или доброго совета. Но доступные нам силы таковы, что мы могли бы восполнить эти недостатки: во-первых, составив достойный план, и, во-вторых, Его Святейшество должен быть в этом заинтересован».

Но слишком уж много существовало непредсказуемых сценариев, но в конечном итоге все упиралось в заинтересованность понтифика. По правде говоря, Макиавелли было известно не больше, чем другим, даже если он и пытался подыскать разумный выход из столь абсурдного положения.

Дела имперских войск шли из рук вон плохо. К концу февраля они все же объединили силы и двинулись на юг, миновав Парму, а затем снег с дождем остановили их у Сан-Джованни-ин-Персичето, в четырнадцати милях к юго-западу от Болоньи. Изголодавшиеся, промокшие до нитки и продрогшие до костей солдаты, оставшись без единого гроша, 16 марта взбунтовались, требуя оплаты. У Фрундсберга случился удар, когда он пытался успокоить своих ландскнехтов, а казармы Бурбона были разграблены мятежными солдатами. А когда гонец от Ааннуа явился с вестью о том, что папа вновь готов заключить перемирие на этот раз в обмен на 60 тысяч дукатов, их положение только ухудшилось.

Опьяненная возможностью и дальше безнаказанно мародерствовать солдатня тут же отвергла этот вариант, и Бурбону лишь оставалось уведомить Климента VII, что его армия пойдет на Флоренцию или даже на Рим. Возможно, добавил имперский командир, это решение еще удастся переменить, если его святейшество к 15 апреля вышлет 150 тысяч дукатов. Папа почувствовал себя обманутым, подозревая, что это требование было не более чем уловкой, цель которой — выудить у него побольше денег, причем без каких-либо обязательств. Климент VII догадался, что Бурбон уже не контролировал свое войско, и, как бы ни угнетало осознание этого, нерешительность Папы не позволяла ему принять меры, чтобы противостоять угрозе.

Опасность стала ощутимой 31 марта, когда Бурбон начал

наступление на юг, преодолевая вялое сопротивление и оставляя после себя одни руины. Макиавелли изначально предложил Флоренции выиграть время, откупившись, «ибо тот, кто обладает временем, обладает жизнью». Но предупредил правительство о необходимости готовить город к обороне, ибо все попытки подкупить неприятеля обречены на провал: как только Бурбон получит деньги, его армия, вероятнее всего, тут же потребует от него еще, в любом случае она изыщет повод для возобновления боевых действий, независимо от того, передадут флорентийцы названную сумму или же нет. Однако Гвиччардини, вопреки всему, полагал, что имперскую армию можно подкупить, изложив свои соображения в записке своему брату Луиджи, недавно избранному гонфалоньером.

И все же Гвиччардини понимал, что без соответствующего войска Флоренция окажется отданной на милость врага. Франческо Мария делла Ровере командовал единственной достаточно большой армией, но до сего времени не торопился воспользоваться находившимися в его распоряжении силами для оказания помощи Лиге. Более того, обеспокоенный тем, что его собственные владения оказались под угрозой, он направил несколько тысяч воинов на их оборону. Герцога Урбино обвинили в намеренном бездействии, но не следует забывать о том, что, если не принимать в расчет его ненависть к Медичи, герцог хранил верность в первую очередь Венеции и не мог рисковать армией того, кто его нанимал.

При этом герцог, разумеется, был весьма заинтересован в решимости понтифика и стремился извлечь как можно больше выгоды из сложившейся ситуации. Гвиччардини понимал, что потребуется некий стимул, чтобы побудить делла Ровере к действию. Стратегически важная и почти неприступная крепость Сан-Лео осталась в руках папы после того, как Медичи лишились герцогства Урбино, и Гвиччардини неустанно пытался убедить Климента VII вернуть Сан-Лео Франческо. Хоть и с неохотой, папа все же дал согласие, и делла Ровере, наконец, двинул войска на юг.

Макиавелли с нарастающим чувством тревоги наблюдал за развитием событий, о чем свидетельствуют его письма Франческо Веттори. К началу апреля он был близок к отчаянию, видя, что никаких мер для того, чтобы остановить наступление имперской армии, не предпринимается. Более всего Никколо опасался, что целью империи может стать незащищенная Флоренция. К этому времени его уверенности в Клименте VII как не бывало, и теперь ему оставалось лишь в ужасе взирать на совершаемые папой политические ошибки. 5 апреля Макиавелли написал Веттори,

что после отказа Бурбона подписать перемирие Гвиччардини предложил понтифику три возможных варианта: первый — продолжать войну, чтобы унять опасения французов и венецианцев насчет заключения Римом сепаратного мира; второй — понтифику необходимо добиваться заключения мира любой ценой «и предать себя в руки судьбы»; третий — если же Климент отвергнет оба предыдущих варианта, остается один, тот, который «…значения не имеет и обсуждений не стоит», а именно: Клименту придется покинуть Рим. Папа избрал второй вариант, доверившись Ланнуа, что, по мнению Никколо, было сопряжено с немалым риском, ибо имперская армия, столкнувшись с достойным противником, «не захватила бы и печки».

Возможно, до Макиавелли еще не дошла весть о том, что папа, договорившись о перемирии с вице-королем, ради экономии денег распустил большую часть оставшихся солдат. Уныние Макиавелли еще более усилилось спустя десять дней, когда он предупредил Веттори, что договор, мол, необходимо обеспечить демонстрацией силы, иначе Флоренцию ждет гибель. 16 апреля он вновь написал другу о неопределенности ситуации и возможных вариантах развития событий, которые приведут либо к войне, либо к миру. Тревога явственно ощущается в последнем абзаце послания: «Я люблю мессера Франческо Гвиччардини, люблю свою родину больше, чем собственную душу.[90] И с высоты того опыта, который мне дали шестьдесят лет жизни, говорю вам, что едва ли можно очутиться в более трудных обстоятельствах, чем теперь, когда мир насущно необходим, но и от войны нельзя отказаться, к тому же мы располагаем государем [Климентом VII], который толком не способен добиться ни войны, ни мира». Опасаясь, что наступающая армия учинит расправу над его семьей и разграбит принадлежащее ей имущество, Макиавелли написал домой, повелев вывезти все ценности из его имения во Флоренцию или близлежащую крепость Сан-Кашано. 18 апреля он вновь пишет Веттори, умоляя его «ради Бога» убедить власти прекратить все переговоры, поскольку никакое перемирие теперь уже невозможно: бесконечные обсуждения приведут к катастрофе, и всякое иное мнение мог высказать лишь «болван». Никколо сомневался, что имперской армии не позволят войти в Тоскану или же изгнать оттуда без боя. Флоренции придется взвалить на свои плечи бремя двух армий, причем «бремя дружественной будет непереносимее бремени вражеской». Он тосковал по Флоренции, и 2 апреля написал сыну Гвидо, сообщив ему среди прочего, что подружился с кардиналом Инноченцо Чибо (двоюродным братом кардинала Сальвиати) и это так «прекрасно, что я до сих пор изумляюсь, и он будет тебе

полезен». Как и его дядя Тотто, Гвидо впоследствии станет священнослужителем, и Никколо до самой кончины готовил почву для своих детей, создавая сеть влиятельных знакомств.

Франческо Гвиччардини одолевали иные заботы. Убедившись, что из Рима никакой помощи не прибудет, засыпал просьбами герцога Урбино, чтобы тот направил свою армию к Флоренции. Франческо Мария делла Ровере неохотно подчинился, да и то лишь после попытки выжать из города 200 тысяч дукатов в качестве залога, что флорентийцы не заключат сепаратного соглашения с императором. Гвиччардини и Макиавелли прибыли во Флоренцию 22 апреля, и их глазам предстала полная неразбериха. Флорентийцев втянули в дорогостоящую и ненавистную войну, а недовольство режимом Медичи росло с каждым днем. 26 апреля, когда войско империи приближалось к городу, во Флоренции вспыхнуло восстание: толпы людей бросились на правительственную площадь с требованием раздать им оружие и сменить режим. Порядок восстановили лишь своевременно подоспевшие солдаты герцога Урбино и обещание правительства объявить амнистию для всех, кто был замешан в мятеже.

Гвиччардини раздражала некомпетентность кардинала Пассерини, до предела обострившая ситуацию. Но все же делла Ровере успел прибыть вовремя, поскольку 20 апреля войска императора вступили во владения Флоренции. Не сумев взять крепость Пиеве Санто-Стефано, они двинулись дальше на юг и спустя два дня приблизились к Ареццо, оказавшись на расстоянии пушечного выстрела от Флоренции. Аннуа сумел добраться до лагеря Бурбона и прибыть во Флоренцию для передачи требования императора: немедленно выплатить 300 тысяч дукатов в обмен на отступление.

К счастью для Флоренции, находившаяся неподалеку армия герцога Урбино и недавно укрепленные крепостные стены вынудили Бурбона пересмотреть свои планы. Так, после нескольких довольно бестолковых попыток овладеть Ангьяри и Борго-Сансеполькро имперская армия направилась на юго-запад к Сиене. Там ради ускорения продвижения им пришлось оставить артиллерию, затем войска империи захватили дорогу Виа Кассия с одной лишь целью — овладеть Римом. Франческо Мария делла Ровере двигался следом, соблюдая дистанцию и практически не вступая в боевое соприкосновение с противником. В сущности, стратегия герцога была по-своему логичной, поскольку лишь немногие верили, что изнуренная армия, да вдобавок без артиллерии, способна взять приступом такой город, как Рим. Но имперской армии суждено было послужить подтверждением

давней аксиомы Макиавелли о том, что Фортуна покоряется дерзким. Бурбон подошел к воротам Рима 4 мая и попросил позволить ему беспрепятственно пройти через город и двинуться дальше на Неаполь. Одной из причин того, что Франциск I даже не удосужился высылать войска, несмотря на свои многочисленные попытки вытянуть из понтифика деньги, было его намерение завоевать Южную Италию. Каков бы ни был исход, кампания Бурбона играла на руку королю Франции: если армия Габсбурга потерпит поражение или рассеется, одним врагом станет меньше; если же падет Рим, императорское войско будет слишком поглощено мародерством, чтобы думать о дальнейшей борьбе.

Климент VII оказался в одиночестве по той простой причине, что его нерешительность и непоследовательностьне вызывали у союзников ничего, кроме глубочайшего недоверия. Хуже того, папа пренебрег древней максимой: Si Vis pacet para bellum («Хочешь мира — готовься к войне»). Отказавшись собирать деньги, подобно своим предшественникам, он предпочитал не торговать кардинальскими мантиями и в итоге остался без гроша. Без армии, без денег, беспомощно взирая на то, как войска императора подступают к Риму, Климент в панике собрал все имевшиеся в городе силы, какие только смог, состоявшие в основном из местных новобранцев. Он пытался обратиться к римским богачам дать ему деньги в долг и все-таки продал три кардинальских титула по 40 тысяч дукатов каждый.

Однако денег было слишком мало, да и время для принятия мер вышло. Получив отказ на требование предоставления свободного прохода через город, утром 6 мая войска императора пошли на штурм Рима. Бурбон погиб в первой же атаке, но его солдаты хлынули через городские стены. Клименту VII удалось скрыться в замке Святого Ангела, тогда как швейцарские гвардейцы погибли все до единого в судьбоносном арьергардном бою. То, что последовало за штурмом, можно назвать лишь чудовищным кошмаром: никем не контролируемые солдаты имперской армии предались безудержному насилию, грабежам и убийствам. Спастись не удалось никому — женщин всех возрастов, больных и калек, даже монахинь вытаскивали из монастырей на улицы и принуждали утолять солдатскую похоть, мужчин подвергали пыткам в надежде выведать у них, где спрятаны ценности, или просто ради забавы. Тех, кто пытался оказать сопротивление, убивали на месте: бесчисленные тела устилали землю, повсюду были разбросаны реликвии, документы и утварь.

Гвиччардини насчитал около 4 тысяч погибших во время

осады и за первые часы разграбления Рима. Религия и политическая принадлежность едва ли что-нибудь значили для обезумевшей солдатни. Испанские и итальянские католики вместе с немецкими лютеранами без разбора грабили церкви и дома даже тех, кто поддерживал Габсбурга, а все оставшееся досталось крестьянам Колонны. Действительно, в те времена говорили, что «германцы ужасны, итальянцы и того хуже, а испанцы хуже всех».

Общая сумма награбленного достигала чудовищной цифры в миллион дукатов, включая деньги, полученные в качестве выкупа и в результате вымогательств. Дворец Колонны, где укрылись тысячи горожан, не тронули, и не только потому, что он был надежно обороняем, но и потому, что засевшие там готовы были уплатить за сохранение жизни огромные суммы. Вместе с теми, кому посчастливилось попасть в замок Святого Ангела, немало людей удалось перетащить через стены в плетеных корзинах. С бастионов крепости Климент VII, утратив всякую надежду на утешение, наблюдал за резней внизу, герцог Урбино, который задержал наступление, чтобы силой сменить власть в Перудже, прибыл в окрестности Рима лишь спустя несколько дней. После вялой попытки вызволить папу он решил, что город уже не спасти, и благоразумно отошел на север.

Макиавелли находился в голове колонны войск Лиги, чтобы выбрать место для постоя, и поэтому не видел того, что творилось во Флоренции 11 мая, когда туда добралась весть о разграблении Рима. Кардинал Пассерини собрал необходимые войска для удержания контроля над городом, но уже очень скоро убедился, что его покинули все, даже те, кто до последнего момента считал себя сторонником Медичи. Ненависть флорентийцев к Клименту VII достигла кульминации, флорентийцам надоело, что к ним относились как к подданным Рима, и они были возмущены тем, что им пришлось выложить 600 тысяч дукатов на оплату войны понтифика.

16 мая совещательный комитет рекомендовал восстановить старую республиканскую конституцию, позволив Медичи остаться в городе как частным лицам. Однако Пассерини счел благоразумным уехать вместе с Ипполито и Алессандро де Медичи, чей отъезд ускорила их родственница Клариче Строцци: она крепко выругала их (так, по крайней мере, поговаривали) за то, что они превратили ее отчий дом в «стойло для мулов» — язвительный намек на их незаконное происхождение.[91] Запершись в крепости, Климент перестал обращать внимание на то, что происходило в городе, при этом прекрасно понимая, что без папской поддержки режим Медичи обречен. Он изыскал

способ сообщить во Флоренцию, прибегнув к помощи Франческо Гвиччардини, что желает, чтобы горожане по своему усмотрению «на благо города» избрали правительство. Макиавелли высмеял этот жест, заявив, что папа великодушно даровал то, что более ему не принадлежало.

Где находился в то время Никколо, неизвестно. Но 8 мая он, по-видимому, был в Витербо, где, по свидетельству Гвиччардини, ухитрился захватить в плен вражеского курьера, доставлявшего письма для Ланнуа. 22 мая Макиавелли написал Гвиччардини из порта Чивитавеккиа о том, что организует рейд для спасения понтифика и даже обсудил детали с генуэзским адмиралом Андреа Дориа. Дориа высказался довольно сдержанно, хотя в целом одобрил его. И все же генуэзец впоследствии откажется участвовать в этой затее, сославшись на якобы неотложные дела, не сдаст Чивитавеккиа имперской армии до тех пор, пока папа сполна не выплатит ему все полагавшееся, как утверждал адмирал.

К этому времени Макиавелли узнал о событиях во Флоренции, поскольку Дориа заметил, что если бы понтифик принял подобное решение годом ранее (а именно восстановить республиканские свободы), то не оказался бы в нынешнем положении. Никколо возвращался домой вместе с апостольским протонотарием Пьеро Карнесеччи (которого впоследствии казнят за ересь), и в дороге Макиавелли сопровождал вздохами новости о том, что теперь город свободен. Рассказавший об этом Джованни Батиста Бусини полагал, что Никколо угнетала мысль о том, что в свое время он служил Клименту, «ибо превыше всего ценил собственную независимость». Возможно. Однако хочется думать, что больше всего Макиавелли сокрушался над превратностями Фортуны: как и в случае с Пьеро Содерини, жизнь Никколо перевернул тот, на кого он возлагал надежды, то есть Климент VII, и кто в конечном итоге не оправдал его доверия. Вернувшись во Флоренцию, Макиавелли обнаружил, что буквально все ополчились против ближайшего окружения Медичи. Многие, кто превозносил былую власть, либо срочно сменили воззрения (в том числе Филиппо Строцци), либо затаились в ожидании. Хотя Никколо и пытался получить должность во вновь сформированном правительстве, полагая, что его недавний опыт в деле строительства оборонительных сооружений окажется ценным. 10 июня возродилась военная комиссия Десяти, и Никколо рассчитывал занять прежнюю должность. Но, несмотря на поддержку его друзей Дзаноби Буондельмонти и Луиджи Аламанни, недавно вернувшихся из изгнания, бывшие сторонники Савонаролы, задававшие тон во

Флоренции, были категорически против кандидатуры Макиавелли. Вместо него пост секретаря Десятки достался Франческо Таруджи, прежде занимавшему пост секретаря Совета Восьми.

Для Макиавелли это стало последней каплей, больше всего его поразило то, что теперь даже мудрецы древности предали его: в античных источниках не нашлось ничего подобного учиненному войском империи разграблению Рима — столь немилосердная участь постигала лишь захудалые городки.[92]

20 июня Макиавелли слег в постель с острой болью в желудке. Его знаменитые пилюли больше не помогали, и его состояние ухудшалось с каждым часом, и вскоре стало ясно, что жить ему оставалось считаные часы. Последние минуты жизни Макиавелли до сих пор остаются предметом жарких споров среди ученых, разделившихся на тех, кто утверждает, что он умер «безбожником», как Паоло Джовио, и тех, кто продолжает верить, что Никколо причастился таинств католической церкви. Джованни Батиста Бузини, который, по общему признанию, недолюбливал Никколо, заявил, что «он стал принимать эти свои пилюли, но слабел, а болезнь побеждала. Затем он припомнил свой знаменитый сон о Филиппо [Строцци], Франческо дель Неро, Якопо Нарди и других. Умер Никколо Макиавелли в муках, однако продолжая шутить». Слабительные пилюли, на которые Никколо полагался, оказались, вероятно, далеко не лучшим снадобьем в данных обстоятельствах.

Предчувствуя скорый уход, Никколо позвал своих друзей и родственников и, до конца оставаясь самим собой, пересказал им свой недавний сон. По его словам, ему привиделась группа жалких, исхудавших оборванцев, бедняков, которые, как он утверждал, были душами из рая — «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».[93] Затем он увидел других людей, преисполненных благородства, облаченных в дорогие наряды и чиновничьи платья, среди которых он узнал Платона, Плутарха, Теренция и других великих мыслителей Античности, и все они собрались обсуждать политические вопросы. Ему было сказано, что это проклятые, ибо «дружба с миром есть вражда против Бога».[94] Когда же Никколо спросили, к кому бы он хотел присоединиться, он ответил, что предпочитает оказаться в аду с благородными душами, чтобы обсуждать вопросы политики, нежели в раю среди оборванцев.

Каким бы шокирующим это ни казалось, Макиавелли в очередной раз продемонстрировал характерное для флорентийцев парадоксальное чувство юмора, прибегнув к каламбуру, ранее использованному в «Мандрагоре», и высмеяв

собственную привычку писать трактаты, обрядившись в мантию. И все же в последние годы жизни Макиавелли проявлял немалое уважение к религии, даже оставаясь закоренелым антиклерикалом, и вполне вероятно, что он все же позвал исповедника, почувствовав неминуемое приближение смерти.[95] Никколо Макиавелли скончался между 21 и 22 июня 1527 года и похоронен в фамильном склепе в церкви Санта-Кроче, не дожив до испытаний, выпавших на долю его возлюбленной Флоренции.

Эпилог
Не стесняясь в словах

Возможно, кой-кому я ненавистен, но у друзей я обрету защиту. Пускай все знают: я — Макиавелли. Что люди мне и что мне их слова? Мной восхищаются и ненавидят.

Кристофер Марло, пролог к «Мальтийскому еврею»[96]

Имя его выше всех похвал.

Надпись на гробнице Макиавелли в церкви Санта-Кроче у Флоренция

Флорентийская республика, которую Макиавелли застал незадолго до смерти, просуществовала три года, острой политической борьбой воспользовались сторонники радикальных мер. Умеренных политиков, желавших мирно договориться с императором, оттеснили республиканские консерваторы, сохранявшие полумифическую веру в альянс с Франциском I и противившиеся любому союзу с папой. После разгрома французов у Неаполя и заключения Климентом соглашения с Карлом V оставалось лишь дожидаться, пока объединенные силы империи и папства не явятся поквитаться с Флоренцией. Город героически оборонялся во время десятимесячной осады, продлившейся с октября 1529 по август 1530 года, благодаря усиленным оборонительным укреплениям — в чем есть заслуга и Макиавелли — и возрожденному ополчению, хоть и при существенной поддержке наемников. В итоге Флоренция сдалась на оговоренных условиях, после того как ее основные силы были разбиты в сражении при Гавинане (3 августа 1530 года), а главнокомандующий Малатеста Бальони перешел на сторону врага, тем самым избавив Флоренцию от ужасов разграбленного Рима. К тому времени многие горожане утратили иллюзии насчет ярых сторонников республики, правление которых привело лишь к войне, голоду, эпидемиям и непомерным налогам. После снятия осады сторонники Медичи, вопреки условиям перемирия, отдали многих своих противников под суд и предприняли шаги к тому,

чтобы республика уже больше не возродилась.

Таким образом, созванная два года спустя после осады балья приступила к радикальным конституционным реформам. Прежние органы исполнительной власти были упразднены, все кроме Совета Двенадцати Добрых Мужей (Dodici Buonomini), та же участь постигла и законодательные органы. Учредили новый совет из двухсот членов и Сенат из сорока восьми членов, избиравшихся пожизненно (в числе сенаторов оказались старые друзья Макиавелли, такие как Франческо Веттори и Франческо Гвиччардини). Наконец, балья избрала Алессандро де Медичи главой исполнительной власти и нарекла титулом герцога Флорентийской республики. Годы конституционных дебатов, политических разногласий, войны и тягот привели к тому, что флорентийцы получили куда более закрытое правительство, чем можно было себе представить и которому суждено было продержаться двести лет.

Приход к власти Козимо I де Медичи в 1537 году еще больше укрепил единоличную власть во Флоренции после того, как отгремел последний бунт республиканцев, среди которых оказались бывшие сторонники Медичи, такие как Филиппо Строцци. Козимо сосредоточил в своих руках огромную власть. Действуя при поддержке Габсбургов и реформированного ополчения, он существенно урезал полномочия и влияние двух новых советов. Медичи оставались у власти, и долгие годы флорентийские герцоги — а позднее великие герцоги Тосканские — сумели разработать систему согласия и подчинения, впоследствии снискавшую уважение их подданных и позволившую мирно править до самого угасания рода в 1737 году.

Можно лишь предполагать, какого мнения был бы Макиавелли о подобных изменениях, проживи он дольше, скажем до возвращения Медичи. Как бы он повел себя? Стал бы на сторону республики или же затаился, полностью отойдя от политической жизни? Его повышенное внимание к почестям и выгоде (honore et utile) заставляет нас подумать о том, что Никколо писал бы сочинения о том, как лучше защищать Флоренцию от врагов, и трактаты в честь республики. В конце концов, многие его друзья из числа поборников Медичи приняли новый режим. Хотя благодаря связям с Климентом VII Макиавелли имел все шансы стать подозрительной фигурой в глазах радикальных республиканцев и вполне мог закончить свои дни, подобно Франческо Гвиччардини, в добровольном изгнании в своем имении, составляя, подобно ему, адресованные самому себе «Обвинение» (Accusatoria) и «Защиту» (Difensoria).

Перебежал бы Никколо во время осады в лагерь имперских войск или остался бы в городе, чтобы разделить с жителями все тяготы войны? Стал бы он избираться в Сенат после конституционных реформ 1530–1532 годов? Дать даже умозрительный ответ весьма непросто, учитывая противоречивую натуру Никколо Макиавелли. Во-первых, отчасти по неудачному стечению обстоятельств он всю жизнь демонстрировал необъяснимую способность вставать на сторону тех, кому в конечном итоге суждено было оказаться в проигрыше. И вероятно, его безвременная кончина избавила его от дальнейших унижений. Действительно, то, что он умер, пользуясь благосклонностью Медичи, впоследствии пойдет на пользу его потомству — за исключением Лодовико, погибшего во время осады.

Бернардо избрал для себя путь чиновника и в итоге стал папским казначеем в Умбрии, Козимо I ценил его, но однажды отказал ему в должности профессора Пизанского университета лишь потому, что его прошение прибыло незадолго до начала академического года.

Гвидо, этот книгочей, вел скромную жизнь клирика. Четвертый сын Никколо, Пьеро, оказался куда более склонным ко всякого рода авантюрам и после 1530 года вступил в ряды имперской армии сражаться с османами и с тех пор в роли наемника обошел всю Европу, не раз попадая в плен к мусульманам. В 1556 году он поступил на службу к герцогу Козимо I, сделал головокружительную карьеру во флоте, став под конец жизни генерал-лейтенантом галерной флотилии. Пьеро стал одним из первых рыцарей Военно-морского Ордена Святого Стефана, Папы Римского и священномученика, основанного Козимо в 1561 году. Ранее он представил герцогу свою программу будущей военно-морской стратегии Флоренции, трактат, написанный в 1559 году, под названием «Проект герцогу Козимо де Медичи изгнания французов и испанцев из Тосканы и создания Тосканского флота» (Di segno al Duc a Cosimo de’ Medici per Cacciar di Toscana Francesi e Spagnuoli e per Instituire una Armata Toscana). Пьеро, унаследовав от отца склонность к составлению всякого рода планов, в отличие от него, отличался куда более выраженной практичностью.

Последняя дань памяти Макиавелли, во многом способствующая его очернению, связана с его друзьями и родственниками, которые пожертвовали средства на посмертное издание «Государя». Печатник Антонио Бладо издал трактат в 1532 году с дозволения понтифика, добавив им самим сочиненное посвящение. В нем Бладо восхвалял политическую

прозорливость Макиавелли, выразившуюся в умении изложить методы правления, которыми должен руководствоваться «новый государь». Позже в тот же год во Флоренции вышло в свет и второе издание книги.

Публикация «Государя» позволила широкой публике ознакомиться с этим трактатом во времена, когда многие образованные европейцы говорили по-итальянски. Тем не менее, поскольку большинство не имело представления об обстоятельствах, в которых эта книга создавалась, нескрываемое презрение Макиавелли к морали, пренебрежение ею ради достижения политических целей довольно быстро превратили его в зловещую фигуру, виновную во всех гнусностях, творимых правителями. Французский кальвинист Иннокентий Жентилле в своем труде «Рассуждения о способах доброго правления против Макиавелли» (Discours contre Machiavel), изданном в 1576 году, открыто обвинял «Государя» в том, что этот трактат вдохновил монархов династии Валуа в том числе и на резню, устроенную ими в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года в Париже: ведь королева Екатерина де Медичи была не кем-нибудь, а флорентийкой. Досталось Макиавелли и от католиков: иезуит Антонио Поссевино (всецело основываясь на работе Жентилле) вместе с Педро де Рибаденейра вовсю сочиняли ядовитые опровержения трудов Макиавелли.

Ныне всякий хитрый и коварный человек или поступок удостаивается определения «макиавеллианский», что подразумевает некое собирательное зло. «Ну, кто из вас посмеет сказать, что я не политик, не хитрец, не Макиавелль?» — произносит один из персонажей пьесы Шекспира «Виндзорские насмешницы». Бен Джонсон в пьесе «Притягательная леди» описывает главного интригана Бианта как «вылепленного из того же теста, что и Макиавелли». В пьесе Кристофера Марло «Мальтийский еврей» пролог произносит злой дух Макиавелли, который кроме прочего говорит: «Религию считаю я игрушкой / И утверждаю: нет греха, есть глупость».[97] В англоязычном мире Никколо превратился в «старого Ника» — так именуют самого дьявола. Несколько лет назад компания Avalon Hill издала настольную игру о политиках итальянского Возрождения, и, что характерно, называлась она «Макиавелли» В этой игре, чтобы победить, приходилось постоянно мошенничать.

Макиавелли вряд ли привела бы в восторг слава, которую принес ему «Государь» (хотя он, несомненно, оценил бы суммы отчислений за авторские права), и, как уже было сказано, даже при жизни он пытался выступить с критическими замечаниями, сочиняя истории, которые, по его собственным словам, были не

чем иным, как наставлением по борьбе против тиранов. В свое время, когда его поругивали за то, какими деспоты представали в той или иной его книге, он язвительно отвечал: «Я учил государей становиться тиранами, а подданных — от них избавляться». Однако в действительности, вероятнее всего, подобная мысль никогда не приходила в голову Никколо во время написания очередного «памфлета». Скорее всего, Макиавелли занимала «искушенность в событиях нынешних и знание событий древних», и он не размышлял о последствиях того, что в вышедшей из-под его пера книге блистает своим отсутствием некий моральный посыл — в конце концов, итальянские правители с давних пор вели себя «по-макиавеллиански», причем задолго до появления Макиавелли на свет.

Очевидным фактом является и усилившаяся религиозность Никколо в последние годы его жизни, в то время как при написании «Государя» в нем все еще превалирует глубокий скептицизм к метафизике, вскормленный трактатами древних классиков — в особенности Лукреция. Как оказалось, ему удалось распространить мнение о том, что его самая знаменитая книга в завуалированной форме поддерживала республиканизм, и эта выдумка благополучно просуществовала до тех пор, пока в конце XVIII века не было опубликовано его письмо к Франческо Веттори от 10 декабря 1513 года. Сложность понимания истинных мотивов Макиавелли — как и понимания его самого — коренилась и в том, что после 1558 года его труды были занесены папством в проскрипционные списки (Index Librorum Prohibit огит), доступ к которым был возможен лишь с особой санкции церковных властей. Недобрая слава Никколо была столь распространена, что нелегко было получить разрешение ознакомиться с его «Историей Флоренции». Все попытки внука Макиавелли Джулиано де Риччи реабилитировать предка оказались безрезультатными, и до самой середины XVIII века, то есть до снятия запретов, труды Макиавелли можно было найти только среди изданных за пределами католической Европы книг. Тем не менее благодаря бытовавшему тогда мнению о том, что своей книгой Никколо стремился изобличить деспотов, Макиавелли обзаводился все новыми и новыми читателями и поклонниками, большей частью в протестантских странах. Генрих, принц Уэльский и сын английского короля Якова I, однажды заявил флорентийскому послу, что признает Макиавелли одним из непререкаемых авторитетов в политике.

Вопрос о том, считать Никколо истинным республиканцем или нет, до сих пор остается открытым. Безусловно, большая часть его сочинений на первый взгляд подсказывает

положительный ответ, однако при ближайшем рассмотрении напрашивается обратный вывод. Занимая должность секретаря Десятки, Макиавелли проявил себя верным слугой своего правительства, а его желание служить Медичи после возвращения их к власти в 1512 году свидетельствует о том, что Макиавелли грезил о почестях и выгоде (honore et utile), которые мог даровать ему новый режим. И все же Макиавелли — а вместе с ним и Франческо Гвиччардини — полагал, что республиканская конституция окажется для Флоренции куда полезнее единоличной власти, хоть и последняя имеет куда более глубокие корни в этом городе.

Мировосприятие Никколо во многом определялось историей, и нет сомнений в том, что он пал жертвой античных текстов, проникнувшись убежденностью в том, что уроки прошлого можно и нужно безо всяких изменений экстраполировать в настоящее. Вот пример: при всей безусловной разумности его проекта ополчения Макиавелли потерпел фиаско, уверовав в то, что безвозмездная служба сама по себе способна привить людям гражданскую добродетель. Правители из рода Медичи после 1530 года разовьют идеи Никколо и сформируют надежную призывную армию, гарантировавшую всем желающим вступить в нее налоговые, юридические и политические льготы и привилегии и руководимую посредством эффективной системы гражданского контроля. И то, что Повязки (Bande), как стали называть Тосканское ополчение, просуществовали до второй половины XVIII века, доказывает в целом правоту идей Макиавелли при условии, что они будут избавлены от налета архаичности. Примечательно, что Никколо, считавший, что люди действуют из сугубо эгоистических интересов, непоколебимо верил в то, что патриотизм возможно насадить даже в не получающих ни гроша ломаного за службу ополченцах. Но, как мы уже не раз убеждались, Макиавелли был весьма противоречивым человеком.

Тенденция заново открывать Макиавелли, появившаяся в середине XVIII века, позволила обнаружить многоликость этого человека, хотя многие, кто изучал его биографию — как ненавистники, так и апологеты, — пытались усмотреть в его сочинениях некую логическую последовательность, которая позволила бы оправдать любое предвзятое мнение о нем. С одной стороны, король Пруссии Фридрих II — чья антимакиавеллианская позиция во многом пробудила интерес к самому Никколо, — считавший «Государя» книгой тлетворной, хотя местами, к несчастью, весьма верной. С другой стороны, Жан-Жак Руссо, повторявший избитую нелепость о том, что книга эта якобы направлена против деспотов (и при этом оба

нахваливали антипатию Никколо к католической церкви).

Первая попытка издать полное собрание сочинений Макиавелли — и в то же время восстановить его доброе имя — была предпринята во Флоренции в 1782–1783 годах. Среди тех, кто пожертвовал необходимые денежные средства, были такие фигуры, как папа Пий VI и реформатор Великий герцог Тосканский Петер Леопольд Габсбург-Лотарингский. Макиавелли превратили в представителя эпохи Просвещения, а следующее столетие наденет на него маску опередившего свое время позитивиста и итальянского националиста.

Таким его изображали ученые, среди них Оресте Томмазини и Паскуале Виллари — два фундаментальных биографа Макиавелли. Хотя мы должны быть благодарны им за то, что они, перерыв архивы, извлекли из них и опубликовали неимоверное количество сведений, пусть даже снабженных зачастую совершенно нелепыми комментариями (причем Томмазини проявил себя как исследователь, а Виллари — как историк), отчего их попытки истолковать работы Никколо в соответствии с их контекстом отдавали анахронизмом.

Эта тенденция продолжилась, невзирая на то что со второй половины XVIII века из-за недоступности полного собрания сочинений Никколо, включая частную и служебную переписку, дипломатические документы и литературные сочинения, любые попытки подвергнуть работы Макиавелли объективному анализу были сравнимы разве что с черпанием воды решетом. В XX веке Никколо превратили в предтечу гегельянских политических систем.

Бенедетто Кроче полагал, что в «Государе» Макиавелли первым отделил политику от этики, несмотря на то что Никколо вновь и вновь заявлял о необходимости «гражданской религии»[98] и свода традиций — может быть, древнеримских и языческих, но отнюдь не аморальных.

Итальянский диктатор Бенито Муссолини и вождь итальянских коммунистов Антонио Грамши основывались на постулате Кроче: первый воспринял идею Макиавелли о правителе как живом воплощении «Государства», а второй считал его предтечей коммунистической партии. Тот факт, что «Государя» можно использовать как руководство для тоталитаризма, вызвало критику ученых, таких как Лео Штраус и некоторые его последователи. И до сих пор маятник продолжает раскачиваться между различными политологами, пытающимися интерпретировать труды Макиавелли. Надо отдать «старине Нику» должное: нельзя не восхищаться макиавеллизмом подобных авторов, в том смысле, что они используют сочинения

Никколо, в особенности его «Государя», для оправдания устаревших представлений о прошлом в точности так же, как когда-то Макиавелли считал античных классиков мерилом текущих событий. Ученики превзошли учителей.

Самая заметная попытка отвести Никколо надлежащее место была предпринята Роберто Ридольфи. Флорентиец, аристократ, потомок Макиавелли и кропотливый ученый лучше других разбирался в психодинамике развития личности, которая помогла точнее понять жизнь и творчество Никколо. Главная проблема состояла не в том, что ему лично импонировал Никколо — он обожал его и потому организовал едва ли не крестовый поход во имя реабилитации его имени, вступая в полемику со своим предшественником (главным объектом ненависти Роберто Ридольфи был Томмазини), а также современниками. Защищая собственное видение «подлинного» Макиавелли, Ридольфи нередко предпочитал в упор не замечать факты, которые он считал порочащими репутацию Никколо. Кроме того, будучи человеком верующим, Ридольфи яростно доказывал, что флорентийский секретарь — далеко не атеист — в действительности всю жизнь оставался добрым христианином, несмотря на множество пороков (неприятие Савонаролы, другого героя Ридольфи, во внимание не принималось, потому что в те годы Никколо еще не достиг интеллектуальной зрелости).

Сила трудов Ридольфи, не считая множества впервые обнаруженных доказательств, заключается в его понимании того, что Макиавелли обладал особым флорентийским характером, встречающимся и по сей день, и что его улыбка отражала не столько присущий ему цинизм, сколько цинизм его родного города. Теперь Макиавелли хотя бы стали воспринимать как человека, даже если Ридольфи продолжал видеть в нем гения, хотя мифы отличаются завидным долгожительством и так просто не исчезают — периодически появляются издания «Государя» с допотопными и набившими оскомину комментариями. И авторы и издатели не прочь чуть заработать за счет «старины Ника», причем без особых усилий.

Несмотря на известность — куда более широкую, чем самого Макиавелли, — «Государь» ни в коем случае не является главным трудом Никколо, поскольку это место по праву занимают его пьесы. «Мандрагору» и «Клицию» также можно рассматривать как пример развития его идей и житейских воззрений и представлений о человечестве, менявшихся с течением лет от весьма пессимистичных до несколько более обнадеживающих. Однако не следует забывать, что изначально обе пьесы были написаны для флорентийской публики и все сочинения

Макиавелли, в сущности, связаны с Флоренцией.

Действительно, Никколо временами мог быть неистовым патриотом, хотя это не всегда относилось к Италии в целом, о чем свидетельствует его работа «Рассуждение, или Диалог о нашем языке» (Discorso o dialogo sulla nostra lingua), датировка которой не установлена, на страницах которой разворачивается воображаемый диалог Никколо с флорентийским поэтом XIII века Данте Алигьери, в котором Макиавелли обвиняет автора «Божественной комедии» в дурном обращении со своими согражданами. Диалог задуман с целью вновь подтвердить верховенство флорентийского языка, в особенности изюминку повседневной речи, в отличие от более формальной тосканской речи литераторов. С той же целью однажды на вопрос одного венецианца о попытках ученого Пьетро Бембо обучать тосканцев флорентийскому языку Никколо саркастически заметил: «Я отвечу вам так же, как вы ответили бы флорентийцу, которые пытается учить венецианцев венецианскому».

Флорентийское происхождение и знакомство с трудами классических авторов означало бесспорное умение Макиавелли разбираться в людях и житейских ситуациях, зачастую замутнявшееся свойственным ему провинциализмом и в то же время некоторой склонностью отвлеченно воспринимать действительность. К тому же его высокое мнение о собственных талантах вкупе с довольно резкой манерой высказывать свое мнение доставили ему немало неприятностей. После отставки в 1512 году убежденность Никколо в том, что его знаний и опыта вполне достаточно, чтобы положительно зарекомендовать себя в глазах нового правительства, подвигло его принять сначала деспотическое, а затем так называемое демократическое решение политических проблем Флоренции. В действительности «Государь» и «Рассуждения» писались для весьма своеобразного правителя, чем никак нельзя пренебречь, объясняя противоречивость мышления Макиавелли. В особенности после возвращения Никколо выработал в себе склонность подстраивать свои мысли и сочинения под желания людей или то, что он принимал за их желания, неизменно ради почестей и выгоды (honore et utile). Увы, но Макиавелли оказался не слишком удачлив в этой игре и сумел вернуться в политику лишь благодаря содействию могущественных покровителей, не только наслаждавшихся его обществом и остроумием, но и ценившим его таланты. Куда лучше более поздних авторов они понимали все присущие Макиавелли слабости и огрехи, зачастую их шокировавшие или даже задевавшие за живое; они мирились с ними, временами хохотали над его эскападами, считая его

прежде всего не гением в политике или литературе, а попросту умным, образованным, веселым и занятным человеком, флорентийцем до мозга костей.

notes

Примечания

1

Игра слов. В английском языке словосочетание Old Nick («старина Ник») является эвфемизмом слова «дьявол». Предположительно оно закрепилось в языке как аллюзия на имя Макиавелли (см. эпилог). (Примеч. перев.)

2

Сер — принятое в Италии того времени обращение к нотариусам. (Примеч. перев.)

3

Второе название Приората. (Примеч. перев.)

4

Господин, почетное звание знатных граждан Флоренции, а также судей, почетных докторов медицины и юриспруденции. (Примеч. перев.)

5

Тем не менее до сего дня флорентийцы уверены, что ждать из Пистойи не стоит ничего, кроме двух вещей: проституток и плохой погоды; к тому же аббревиатура «PT», обозначающая транспорт из этого городка, расшифровывают не иначе как puttane e temporali, то есть «блудницы и ненастье». (Примеч. авт.)

6

Древнеримский писатель, филолог, философ и теоретик музыки, живший в V веке н. э. (Примеч. перев.)

7

Великий итальянский гуманист и историк (1392–1463). (Примеч. перев.)

8

Представители шестнадцати районов (знамен) Флоренции. (Примеч. перев.)

9

Совет Ста — по сути, выборный сенат. Совет Семидесяти обладал функциями правительства; при нем были созданы два комитета: Совет Восьми (отвечал за внешнюю политику и ведение войн) и Совет Двенадцати Добрых Мужей (ведал финансово-кредитной и торговой политикой, вопросами внутренних дел и юстиции). (Примеч. перев.)

10

Бенефиций — некая собственность, передаваемая в пожизненное пользование на условии несения службы. (Примеч. перев.)

11

В некоторых источниках им соответствуют старшие и младшие цехи, а принадлежавшие к ним ремесленники назывались соответственно «жирным народом» и «тощим народом». (Примеч. перев.)

12

То есть выходцам из народа, простолюдинам. (Примеч. перев.)

13

Гостия — лепешка из пресного пшеничного теста; используется католиками и лютеранами во время таинства евхаристии. (Примеч. перев.)

14

Однажды во время всеобщих выборов каноник флорентийского собора — большой ученый и тому же человек набожный и весьма разумный — сказал мне: «Надеюсь, коммунисты проиграют». Помолчав, он затем с кривой ухмылкой добавил: «Иначе священники первыми заключат с ними сделку». Затем хлопнул себя по губам и тихо рассмеялся: «Ой, что это я ляпнул?!» (Примеч. авт.)

Курсив мой. (Примеч. авт.)

16

Сады Ручеллаи (Orti Oricellarii) — центр философских и литературных бесед флорентийской молодежи, расположенный в имении мецената, ученого-историка и любителя литературы, друга Макиавелли Бернардо Ручеллаи (1495–1520). (Примеч. перев.)

17

Даже житие флорентийского святого Филиппа Нери изобилует остротами и шутками, хотя и лишено характерной для флорентийцев сальности. Способность святого Филиппа менять врожденный характер милосердием — само по себе чудо. (Примеч. авт.)

18

Достоверность этого случая остается сомнительной, поскольку Макиавелли упоминал об этом первым, и ни в одном современном ему источнике, описывающем события после убийства Риарио, ничего подобного не встречается. Конечно, есть вероятность, что Никколо услышал эту историю из уст самой Катарины, потому как последние годы она прожила во Флоренции. (Примеч. авт.)

19

Лимб — в католицизме область между Раем и Адом, где пребывают души некрещеных младенцев и праведников, умерших до пришествия Христа. (Примеч. перев.)

20

Monte delle Doti (um. букв, «гора приданого») — общественная касса, состоявшая из вкладов родителей, копивших на приданое дочерям. Вклад замораживался на пятнадцать лет, а по истечении срока выплачивался в пятикратном размере. (Примеч. перев.)

21

В середине 1960-х годов один старожил из нашего загородного имения в Кьянти вспоминал, как мой дед приезжал в карете, запряженной четверкой лошадей, и говорил, что в те времена «на господ было любо-дорого посмотреть»(Allora si che I signori davano soddisfazione). (Примеч. авт.)

22

Короткая, плотно облегающая фигуру куртка до пояса с длинными рукавами или без них на стеганой ватной подкладке. (Примеч. перев.)

23

Порт на адриатическом побережье Италии. (Примеч. перев.)

Здесь маккия (заросли кустарников и низких деревьев, обычно вечнозеленых, в прибрежных местах, характерные для побережья Средиземного моря). (Примеч. перев.)

25

Во Флоренции аналогом американской угрозы «я тебя убью» — хотя и не в вежливом обществе — считается фраза «я тебя поимею» (Vinculo). Бьяджо Буонаккорси использовал ее в письме Никколо (cazo Vinculo), когда из-за равнодушия супруга Мариетта кипела от злости. (Примеч. авт.)

26

В те времена оставшиеся без отцов дети до наступления совершеннолетия попадали под юрисдикцию Попечительского совета (Ufficiali dei Pupilli). Отец мог назначить опекуна, чтобы в случае своей безвременной кончины тот представлял интересы детей в делах с Попечительским советом, и опекун обычно, но не всегда выбирался из числа родственников-мужчин. В частности, один из соседей Макиавелли, Аодовико Каппони, опекуном своих отпрысков назначил жену, а не одного из своих братьев (ACRF, III [B], Lodovico Capponi e figli, f. 2 r). Тот факт, что Макиавелли назначил опекуном Мариетту, служит убедительным доказательством его доверия супруге. (Примеч. авт.)

27

На гербе Медичи изображались аптекарские пилюли-шары (palle). По одной из версий, один из родоначальников клана был врачом (medico) при дворе Карла Великого. (Примеч. перев.)

28

Дословно «Десятка свободы и мира»; комиссия состояла из десяти членов. Макиавелли стал ее секретарем в июле 1498 года. (Примеч. перев.)

29

Копье — средневековая тактическая единица (численность войска измеряли в копьях), состоявшая из рыцаря с оруженосцами и сержантами и иногда наемниками. (Примеч. перев.)

30

Большинство авторов утверждает, что встреча состоялась 9 октября, когда заговорщики заключили союз против Борджиа. Однако в инструкциях флорентийской Синьории, предназначенных Макиавелли и датированных 5 октября, ясно говорится о «заседании совета Орсини и прочих участников в Маджоне». Очевидно, Чезаре имел хорошую сеть осведомителей, или заговорщики просто действовали неосмотрительно. Как сказали бы римляне, «когда боги хотят наказать человека, они прежде лишают его рассудка», что любивший классику Никколо бы подтвердил. (Примеч. авт.)

31

Дон Мигель де Корелла — Дон Микелотто, как называли его флорентийцы — был каталонцем и одним из главных офицеров Борджиа и задушил немало врагов своего предводителя. (Примеч. авт.)

32

Не будем забывать, что Чезаре действовал на основании законных полномочий, как герцог Романьи и главнокомандующий папской армии. Казнив Вителли, Эуфредуччи и Орсини, он предал в руки правосудия лишь нескольких мятежных врагов Святейшего Престола. Но и сами не были агнцами божьими. Например, Эуфредуччи захватил Фермо, вырезав семью родного дяди. (Примеч. авт.)

33

Симония — продажа и покупка церковных должностей или духовного сана в Средние века; святокупство. (Примеч. перев.)

34

Любопытно, что словам Макиавелли до сих пор вторят жалобы сегодняшних флорентийцев. Они недовольны тем, что городом правят лавочники (bottegai), которых волнует только ежедневная прибыль и которые позволяют международным корпорациям разрушать культурное своеобразие Флоренции, превращая город в этакий Диснейленд а-ля Ренессанс. (Примеч. авт.)

Здесь — казна коммуны (Примеч. перев.)

36

Хроники о «трудах Италии за десять лет», написанные Никколо за пятнадцать дней. (Примеч. перев.)

37

Сатира Макиавелли, обличающая Александра VI, становится еще язвительнее, если вспомнить отрывок из Евангелия от Луки, в котором Мария соглашается стать матерью Христа со словами: «Се, Раба Господня» (ecce ancilla Domini). (Примеч. авт.)

38

Форли жаловал семейству Риариро папа римский Сикст IV в 1480 году, сместив правивший ранее клан Орделаффи. (Примеч. авт.)

39

Это выражение относится к некоему Сесто Кайо Баччелли, который родился спустя несколько лет после смерти Макиавелли и прославился тем, что предсказывал очевидное. Тех, кто крепок задним умом, флорентийцы сравнивают с «астрологом из Броцци, который определял рога на ощупь, а дерьмо по запаху» (far cote lo Strolago di Brozzi, che riconosceva I pruni al tatto e la merda dal puzzo). (Примеч. авт.)

40

До возникновения современной почтовой службы отправка писем была делом весьма затратным. Зачастую люди скорее доверяли свою корреспонденцию тем, кто направлялся в город адресата, нежели — как заметил некто — «этим убийцам почтовой службы» (questi assassini delleposte). ASF, MP, 3901, nnf (Кристофоро Бронзини, Рим — Демиурго Ламбарди, Флоренция, 10 мая, 1624 г.) (Примеч. авт.)

41

Макиавелли обращался на «ты» только к своим детям и в других случаях, даже в отношении ближайших друзей, неизменно употреблял форму «вы». Тем не менее с помощью формы «ты» можно было подчеркнуть разницу в социальном положении, например, обращаясь к человеку ниже рангом, или в случае, когда правительственный орган обращался к чиновнику. Туччи, хотя он и был одним из приоров, писал не от имени правительства (даже если ему так хотелось) и потому стал легкой мишенью для насмешек тех, кто, подобно Макиавелли, открыто пренебрегая условностями, все же трепетно относился к своему социальному и должностному положению. (Примеч. авт.)

42

Довольно много внимания уделяется участию в проекте Леонардо да Винчи, хотя переписка Макиавелли того времени едва ли что-либо проясняет. Синьория наняла Леонардо, чтобы он расписал одну из стен зала Большого Совета огромной фреской «Битва при Ангияри». Вероятно, хотя и не доподлинно, упоминания Античности в записях Леонардо, связанных с фреской (которую художник так и не закончил), подтверждают участие в проекте Макиавелли. (Примеч. авт.)

43

Родственник Пьеро, Франческо дель Неро, был женат на одной из сестер Мариетты Макиавелли. Как мы увидим, в дальнейшем связь с кланом дель Неро сыграет в жизни Никколо весьма важную роль. (Примеч. авт.)

44

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (в исторических документах — Аниций Манлий Северин), теоретик музыки, христианский теолог, (ок. 480–524) — римский государственный деятель, философ-неоплатоник. (Примеч. перев.)

45

По-итальянски bandiere означает «знамя»; видимо, в данном контексте употребление этого слова объясняется тем, что каждая рота ополчения имела собственное знамя. (Примеч. перев.)

46

Ключи Святого Петра — христианская реликвия, один из знаков папского величия; по библейскому преданию, ключи Царствия Небесного (Мф., 16:18–19). Меч Святого Петра — христианская реликвия, отождествляемая с мечом, которым, согласно Евангелиям, апостол Петр во время пленения Христа отсек ухо рабу первосвященника Мал-ху. (Примеч. перев.)

47

Во веки веков (лат.) (Примеч. перев.)

48

Орден служителей Девы Марии (сервиты) — католический монашеский орден, один из исторически нищенствующих орденов; основан в 1233 году во Флоренции. Базилика Сантиссима-Аннунциата (лат. Santissima Annunziata — Святое Благовещение) является духовным центром ордена. (Примеч. перев.)

49

Формально Максимилиан получил титул избранного императора только в 1508 году на правах римского короля и предполагаемого наследника престола. Однако в те времена его обычно называли просто императором. (Примеч. авт.)

50

Берлингоццо (um. berlingozzo) — сладкий крендель, который во Флоренции пекли во время карнавала. Однако в те времена глагол berlingare означал «болтать попусту». (Примеч. авт.)

51

Флорентийцы посмеивались над преувеличенно абсурдным отношением немцев к социальному положению и соответствующим атрибутам. Франко Саккетти рассказывает такой случай: один немецкий рыцарь вызвал на дуэль флорентийца, потому что оба носили на шлемах одинаковые плюмажи. Флорентиец вышел из положения, выгодно продав свой плюмаж немцу, «который был так горд, словно захватил целый город». (Примеч. авт.)

52

Строцци начали возводить свой палаццо в конце 1480-х годов, но после тяжелого экономического кризиса, поразившего Флоренцию в те годы, строительство затянулось еще несколько десятилетий. Савонарола обрушивался с кафедры на тех, кто «строил дома из золота, серебра и крови бедняков», откровенно намекая на архитектурное предприятие Строцци. (Примеч. авт.)

53

С XV века семьи Каппони, особенно ветвь Гульельмо, и Содерини боролись за политическое влияние в квартале Зеленого Дракона, что в районе Санто-Спирито. К тому же, по некоторым свидетельствам, дед Гульельмо, вероятно, обманул Содерини, присвоив себе наследство знаменитого политика Никколо да Уццано (ум. 1433). Непрерывные столкновения двух кланов могли привести к тому, что Томмазо Содерини хранил верность Медичи, а его сын Пьеро пренебрег флорентийской аристократией, став на сторону граждан из средних слоев. (Примеч. авт.)

Временный запрет на богослужения по всей стране; одна из форм церковного наказания, налагавшегося папой римским или епископом. (Примеч. перев.)

55

Проведитор — официальное лицо, надзиравшее за действиями кондотьеров на службе Венецианской республики. (Примеч. перев.)

Биретта — традиционный головной убор католических священнослужителей. (Примеч. перев.)

57

Служба Хранителей Закона, созданная в 1429 году, не допускала на государственные посты граждан, не имевших права избираться, и преследовала тех, кто злоупотреблял властными полномочиями. (Примеч. перев.)

58

К тому времени отлучение от церкви стало неэффективной мерой, поскольку большинство итальянцев считали его всего лишь политическим рычагом в руках папы (знаменитый кондотьер Никколо Пиччинино сравнил отлучение со щекоткой). Некоторые знатные семейства даже несколько щеголевато гордились тем, что когда-то стали жертвами церковной цензуры. Один флорентийский аристократ как-то сказал мне: «Если бы за отлучение от церкви давали колокольню, владения нашей семьи были бы больше самого Рима». (Примеч. авт.)

59

Концелиаризм — богословская концепция в католицизме, основная идея которой состоит в приоритете собора над решениями папы римского. (Примеч. перев.)

60

Апостольская Галликанская церковь — французско-католическая церковь, имеющая самоуправление, в отличие от римско-католической. «Прагматическая санкция» Карла VII (XV в.) установила галликанство как официальную религию Франции. (Примеч. перев.)

61

Немногие знают, что папой и императором (во времена Священной Римской империи) мог быть избран любой не запятнавший себя ересью зрелый мужчина-католик в здравом уме и твёрдой памяти. (Примеч. авт.)

62

Дубровник (Рагуза) — крупный морской порт на Адриатическом побережье Балкан, столица Дубровницкой республики, с 1458 года являвшейся вассалом Османской империи. (Примеч. перев.)

Евангелие от Матфея, 3:12. (Примеч. перев.)

64

Пытка на дыбе (во Флоренции ее называли lafune, то есть веревка) состояла в том, что руки жертвы связывали за спиной, а затем за руки поднимали над землей. Иногда человека резко встряхивали: отпускали веревку и останавливали, не дав ему коснуться земли, тем самым причиняя боль и нанося увечья в зависимости от высоты падения. Но зачастую веревку спускали всего на несколько дюймов, чтобы лишь усилить мучения. (Примеч. авт.)

65

«Черные» (Neri) — члены братства Санта-Мария делла Кроче аль Темпио, в чьи обязанности входило сопровождение смертников. Их прозвали так из-за темного облачения и капюшонов, полностью скрывавших лицо. (Примеч. авт.)

Роберто Ридольфи относит поэму к этому периоду. Другие комментаторы датировали ее 1522–1524 годами, полагая, что под «новым пастырем», упомянутым Макиавелли, подразумевался папа Адриан VI либо Климент VII. Также они утверждали, что османы стали гораздо опаснее после того, как в 1517 году Селим I завоевал Египет, а его сын, Сулейман I, напал на Родос. Однако Юлий II никогда не забывал о своем намерении организовать крестовый поход против турок, который также обсуждался на латеранском соборе. Исходя из этого, а также из обстоятельств биографии Макиавелли, я склонен согласиться с датировкой Ридольфи. (Примеч. авт.)

67

В народе считали, что всех арестованных в связи с заговором Босколи — Каппони казнят. (Примеч. авт.)

68

Временами тот факт, что флорентийцы при всей их ограниченности за века создали столь прекрасное искусство, представляется настоящим чудом. Но в те времена, надо признать, при всех недостатках флорентийцы в большинстве своем имели хороший вкус. (Примеч. авт.)

69

Марио Мартелли установил, что книга была написана рукой Буонаккорси, и датировал ее примерно 1494 годом, логично рассудив, что после этой даты Бьяджо ни за что не стал бы переписывать поэзию Медичи. Также Мартелли исключил период после 1512 года, поскольку двумя годами ранее Боттичелли умер. На основе этих рассуждений историк решил, что, во-первых, в молодости Макиавелли входил в круг приближенных Медичи и, во-вторых, что Никколо и Бьяджо были знакомы еще до работы в канцелярии. Однако главная ошибка Мартелли заключается в том, что любые рисунки, неоконченные рукописи и прочие бумаги можно было купить у старьевщиков (rigattieri), которым наследники нередко продавали имущество покойных. Со стороны Буонаккорси было бы разумно просто выкупить для личных нужд что-нибудь из вещей Боттичелли. (Примеч. авт.)

70

Джованбаттиста Гвиччардини был правителем Прато, когда город захватили испанцы. Его пленили, и ему пришлось заплатить за освобождение огромный выкуп. И Макиавелли указывает на то, что Гвиччардини считал его виновным в своих несчастьях. (Примеч. авт.)

71

Перевод Е. М. Солоновича.

72

В оригинале — Impacciabottega и Impacciacasa, причем в данном контексте глагол Impacciare означает «затруднять, мешать». (Примеч. авт.)

73

В оригинале — focone, что я перевел как «жаровня», хотя это слово также означает запальное отверстие аркебузы или пушки. Джорджио Инглезе задается вопросом: подразумевал ли Макиавелли под этим нечто сексуальное? (Примеч. авт.)

Дословно «закрывать хлев, когда бык уж сбежал». (Примеч. перев.)

75

Перевод Н. Б. Томашевского.

Евангелие от Матфея, 3:17 (Примеч. перев.)

77

В том же письме Макиавелли говорит о поездке во Фландрию или хотя бы в Венецию на карнавал. Это путешествие он планировал с друзьями по садам Ручеллаи. Почему речь идет о Фландрии, остается одной из множества непостижимых загадок жизни Никколо. (Примеч. авт.)

78

Подразумевается полемика между доминиканцем Иоганном Тецелем и августинцем Мартином Лютером, когда Тецель выступил с критикой знаменитых «Тезисов» Лютера. (Примеч. перев.)

79

Доменико да Понцо — доверенное лицо правителя Милана во Флоренции, противник Савонаролы (брата Джироламо); Фра Альберто — предположительно герой одной из новелл «Декамерона» (IV, 2) Боккаччо; Альберто да Орвьето известен тем, что предлагал Александру VI заманить Савонаролу в Рим. (Примеч. перев.)

Евангелие от Иоанна, 12:8. (Примеч. перев.)

81

Выражения «тридцать тысяч дьяволов» и «трясется зад» — аллюзии на комическую рыцарскую поэму Луиджи Пульчи «Моргайте», одну из любимых Макиавелли. (Примеч. авт.)

82

Веттори цитирует «Энеиду» Вергилия (XII, 438): «Ты же о нас не забудь, и, когда созреешь годами, пусть побуждает тебя подражать высоким примерам мысль, что Эней — твой отец и что брат твоей матери — Гектор» (перевод С. Ошерова). (Примеч. авт.)

83

Существуют две версии этого письма. Первая — черновик (неотправленный), который содержал специфические замечания о приватной жизни Никколо и Веттори, и Франческо, вероятно, из осторожности не стал включать их в окончательную версию, которая здесь цитируется. (Примеч. авт.)

Дело в том, что в итальянском языке слово «дом» — la casa — женского рода. (Примеч. перев.)

85

Не следует рассматривать это высказывание как националистическое, в чем, однако, некоторые биографы Макиавелли хотели бы нас убедить. Никколо и его современники считали Италию скорее культурной и духовной наследницей Древнего Рима, нежели единым политическим образованием. Под словом «варвары» по ту сторону Альп подразумевались лишь враги итальянской цивилизации, угрожающие независимости ее многочисленных государств. (Примеч. авт.)

86

В действительности Франческо Мария делла Ровере был всего лишь генерал-капитаном венецианской армии, но занял пост командующего за отсутствием иных кандидатур, поскольку на тот момент был самым опытным военачальником из аристократов. Постоянная нерешительность делла Ровере в ходе кампании, кроме прочего, могла быть продиктована неопределенностью его статуса. (Примеч. авт.)

87

Жители Сиены издавна считались безрассудными предположительно потому, что пили воду из фонтана Радости, расположенного на главной городской площади. (Примеч. авт.)

88

Согласно распространенной легенде, «лютеранин» Фрундсберг возил с собой петлю, свитую из золотой веревки, на которой собирался повесить папу римского, и еще несколько веревок из алого шелка — для кардиналов. В действительности эти «благочестивые» намерения хотел осуществить один из его помощников. Также не стоит забывать, что лютеранство в те времена воспринималось не как особое революционное явление, а как очередное движение, борющееся с церковной коррупцией. Так или иначе, в уроках жестокого обращения с духовенством итальянцы не нуждались. В частности, когда был раскрыт заговор Пацци, флорентийцы вздернули на виселице архиепископа Пизанского. (Примеч. авт.)

Начало 50-го псалма (лат.). (Примеч. перев.)

Таков привычный перевод, поскольку оригинальный текст на этом месте поврежден. Единственные буквы, которые можно различить, — «р» и «st», и это навело Джорджио Инглезе и прочих комментаторов на мысль, что вместо слова «душа» Макиавелли мог написать «Христос», но Джулиано де Риччи, желающий восстановить репутацию Макиавелли, мог счесть это излишним. Даже если Инглезе прав — и справедливости ради отметим, что, по его утверждению, «st» в данном случае можно представить как «многая добрая воля» (molta buona Vol-anta), — то для флорентийского уха такое обращение Макиавелли со вторым участником Святой Троицы не кажется ни скандальным, ни необычным. Во Флоренции можно услышать такие выражения, как «Ты хочешь быть самим Христом» (Ti garbafare II Cristo), при обращении к кому-то, кто слишком важничает; «И Христу не исправить» (Non c'eCristi) — о неразрешимой ситуации; «Упасть Иисусом» (Battereun Cristo) — упасть ничком, расставив руки в стороны. (Примеч. авт.)

91

Ипполито был внебрачным сыном Джулиано де Медичи, а Алессандро — ребенком Лоренцо, рожденным от чернокожей женщины. Во Флоренции побочных детей называли мулами. (Примеч. перев.)

92

Сходное недоумение по поводу этого ужасного события можно обнаружить в записях Луиджи Гвиччардини и Франческо Веттори. (Примеч. авт.)

93

Евангелие от Матфея, 5:3. (Примеч. перев.)

Послание Иакова, 4:4. (Примеч. перев.)

Об этом мы узнаем из письма предположительно его сына Пьеро, адресованного его родственнику Франческо Нелли. Подлинность этого послания все еще вызывает сомнения некоторых ученых — главным образом по графологическим причинам. Даже если его написал не Пьеро Макиавелли, письмо кажется честным, судя по последнему параграфу, где сказано, что Никколо оставил семью в «крайней нужде». Следует добавить, что те, кто усматривает несоответствие между непочтительностью Макиавелли к религии и его крайней религиозностью, упускают из виду то, что такое отношение широко распространено во Флоренции до сих пор. (Примеч. авт.)

Перевод В. Рождественского.

Перевод В. Рождественского.

98

Понятие американской социологии, выдвинутое в 1966 году социологом Р. Беллой [Bellah, Robert N.]. Это понятие охватывает веру в «американский образ жизни» [American way of life], преклонение перед его «иконами» (например, флагом), ритуалами (например, клятвой верности [pledge of allegiance]) и «святыми» (Джордж Вашингтон [Washington, George], Авраам Линкольн [Lincoln, Abraham] и др.). По мнению автора, «гражданская религия» вполне гармонирует с религиозными убеждениями как таковыми, дает обществу объединяющие идеалы и формирует политическую культуру. Эта концепция, восходящая к трудам французских просветителей, получила поддержку некоторых философов, однако другими подвергалась резкой критике. (Примеч. перев.)